

ГРАНИ

23

1954

Год издания IX

Выходит 4 раза в год

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

№ 23

1954

«ПОСЕВ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И СТИХИ

В. Свен	
Бунт на корабле	3
Л. Алексеева	
Стихи	20
А. Франк	
Героические рассказы	23
Анатолий Дар	
Солнце всё же светит (роман)	32
А. Касим	
Стихи	68

ОЧЕРКИ ЗАРУБЕЖЬЯ

Федор Пульман	
Сердце Фландрии	71
А. Крамаровский	
На святой земле	79

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Л. Дувинг	
Великая скорбь	89

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Д. М. Кленовский	
Казненные молчанием	105
Н. Тарасова	
Об источниках живой воды	113
Г. Забежинский	
Критическое о критиках	131
Н. Татищев	
О современной французской мысли	136

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Р. Плетнев — Книга о Чехове. О. Анстей — Лесные глаза. В. Арсеньев — Время веры. М. Самойлов — О книге Л. Аллена. Л. Р. — Настоящие книги. Н. Майер — О журнале «Возрождение». Н. Тарасова — Отзывы читателей.

Обложка Н. Никол

Бунт на корабле

От автора

Автор серьезно убежден, что описываемые здесь события развернулись бы несколько иначе, если бы в один июньский день капитан полярного корабля «Полус» не записал в состав своей команды этого сомнительного боцмана.

Но оплошность была допущена: боцман попал на «Полус». Значение этого промаха капитан понял очень скоро. Сколько раз, готовясь к отплытию в неизведанную область льдов, он мрачно рассматривал громадную карту и с поздним сожалением качал головой.

У него даже возникала мысль просто-напросто выпнать боцмана. Но и этого он уже не мог сделать: боцман был посвящен в планы и знал все тайны маршрута. Человек богатого житейского опыта, капитан понимал, что этот бездельник-боцман будет мстить, и тогда всё, созданное таким трудом, рухнет, и мечты об экспедиции придется похоронить.

Конечно, боцман способен на всё. Что он темная личность и скандалист, об этом правдиво свидетельствовали синяки и ссадины, вечно украшавшие локти и колени его ног. А свежий синяк у левого глаза? А эти пухлые щеки и хитро улыбающиеся яркорозовые губы?

Выход у капитана был только один: преодолеть все препятствия, подчинить своей воле команду, безбоязненно устремиться вперед и достичь цели...

Это был единственно правильный выход. И капитан без оглядки, с пол-

ной верой в себя, пошел по этому тяжелому, но удивительно светлому пути своей мечты...

1.

Было бы ошибкой смотреть на этого девятилетнего мальчика просто как на Юрку. Ошибкой и оскорблением. Потому что Юрки уже давно не было. Вместо него в нашу повесть решительно вошел смуглый, крепкий и знаменитый путешественник, охотник, следопыт, прославленный капитан и обладатель настоящего одноствольного ружья 32 калибра.

Самым потрясающим в биографии бесстрашного капитана было, понятно, ружье и его небывалый калибр. 32! Это не шутка! К тому же Юрка точно знал, что у его отца ружье шестнадцатого калибра, а у охотника Викстера (которому Юрка в душе совсем чуть-чуть завидовал) калибр вообще ерундовский, какой-то там двенадцатый.

С таким ружьем нигде не пропадешь. Этому все верили. Неприятное исключение составлял только юркин брат, Томка. Тряся своими пухлыми щеками, он осмеливался выражать сомнение:

— А почему оно такое маленькое?

— Как маленькое? Его нарочно уменьшили, чтобы калибр получился больше...

Но безмозглый скептик не сдавался:

— А почему...

— Почему, почему? — передразни-

вал Юрка. — Ты всё равно не поймешь!

— Поцэму? — с недоверием и обидой спрашивал Томка.

— Потому... — Юрка пренебрежительно махал рукой и отворачивался. — Потому что ты в огнестрельном оружии не разбираешься... Ты еще маленький...

Стрела намека попала в самое сердце! Томка не переносил вечного, позорного упрека, что ему только пять лет с хвостиком. Самое горькое заключалось именно в этом хвостике, противно напоминающем фокс-терьера Чарли, у которого черный обрубок хвоста шевелился, как томкин палец в зимней варежке. Чтобы поскорее протнать неприятную мысль о Чарли, Томка басом сказал:

— Я всё понимаю... только поцэму-то в калибрах нет...

— Ну, — покровительственно объяснял Юрка. — Это же так просто. Что больше: 32 или 12?

Томка математическими выкладками не интересовался, вполне резонно думая, что самые сложные коммерческие операции можно ограничить знанием счета в пределах числа пальцев на двух руках. Но представление о каких-то более сложных вычислениях уже копошилось в его подсознании и заставляло быть осторожным в тех случаях, когда требовалось выйти за границы таких понятных и уютных десяти. И теперь, боясь подвоха, Томка слепка засопел и решил ограничиться вопросом:

— А тебе зацэм?

Чтобы переманить Томку на свою сторону, Юрка важно произнес:

— Понимаешь... я с тобой говорю, как со взрослым...

Это понравилось Томке. Он сразу почувствовал себя взрослым: слова Юрки зачеркивали пять лет с хвостиком. Но осторожный человек и вечный скептик, Томка и на этот раз решил выждать, как будут развиваться события.

— Слушай: 32 почти в три раза больше, чем 12... Понял?

Не желая раскрывать свои карты, Томка применил дипломатическое

«ну», которое можно было толковать по-разному.

— Так вот, — с гордостью объяснял Юрка, — если дядя Викстер из своего двенадцатого калибра убил медведя, то из тридцать второго можно свободно убить слона... Понял?

Довод своей непреложной логикой мог рассеять любые сомнения. Но тут был Томка, человек себе на уме, который обладал способностью своими внешне наивными и глупыми вопросами разрушить вполне обоснованные положения.

— А поцэму слона? Ведь дядя Викстер убил медведя? А поцэму...

Юрке захотелось треснуть своему брату по башке. Но он воздержался, во-первых, потому что недалеко находилась мама, всегда, неизвестно из каких соображений, становящаяся на сторону Томки, а во-вторых, и это самое главное, потому что Томка своими сплетнями мог испортить репутацию ружья.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Юрка. — 32 в два с половиной раза больше 12... Так?

Хитрый Томка опять ловко отделался «ну»...

— Нет, ты скажи: так?

Томка не сдавался и надул щеки. Так он поступал, когда у него зарождалась какая-либо комбинация.

— Нет, ты скажи: так?

Комбинация оформилась. Томкины щеки опали и он сказал:

— А дашь покатаь цорный мяцък?

Эта торговля принимала обидный для Юрки характер. Он даже отвернулся и хотел уйти, но, вспомнив о ружье, посмотрел на Томку и, подумав, сказал:

— Дам... А скажи: так?

Из-за черного мячика стоило рискнуть. К тому же черный мячик можно было спрятать в траву и сказать, что он потерялся. А потом найти и играть еще целый день.

— Так... — недоверчиво протянул Томка.

— Ну вот видишь! — обрадовался Юрка. — Если тридцать второй ка-

либр больше двенадцатого в два с половиной раза, и если дядя Викстер из своего двенадцатого убил медведя, то я из тридцать второго могу убить два с половиной медведя. Понял?

Нарисованная картина была настолько убедительна, что Томка почти честно ответил:

— Понял...

И только позже, завладев мячом, сомнение вновь начало тревожить Томку. Предварительно спрятав черный мячик, он разыскал брата и спросил:

— Почему бывает половина медведя?

— Какая половина? — растерялся Юрка.

— А та, которую можно убить из твоего калибра...

2.

Как бы там ни было, но даже скептик Томка в душе признал, что Юрка человек не обыкновенный. И ружье у него замечательное. Наконец, дело дошло до того, что Томка, незаметно для себя, подчинился воле брата и за него готов был подраться с любым. К тому же у Юрки обнаружилась настоящая борода.

— Почему борода? — начал было сомневающийся Томка, но Юрка раскрыл книжку и показал великих путешественников Севера: все они были бородатыми.

— И у меня борода...

Это чрезвычайно заинтересовало Томку. К своему удивлению, он и на самом деле увидел, что у Юрки действительно растет какой-то пух. Правда, был он золотистый и очень напоминал цыпленка, но всё же... тут Томка в испуге развел руки и тревожно спросил:

— Что ты теперь будешь делать? А вдруг мама узнает?

— Не узнает, — снисходительно улыбнулся Юрка. — Но ты должен молчать... И свято хранить тайну...

Торжественность момента немедленно оценил Томка. Причастие к тайне как бы снимало позорное прошлое с пятью годами с хвостиком. Те-

перь об этом никто не посмеет заикнуться, и, чтобы окончательно отрезать пути к обидным намекам, Томка важно произнес:

— Да... как настоящий мужчина...

Собственно, в эту минуту и была допущена та ошибка, последствия которой бросили тень на всю последующую жизнь Юрки. Ошибка заключалась в том, что Юрка поддался обаянию слов Томки: «как настоящий мужчина» и легкомысленно открыл ему много тайн.

Прежде всего, Юрка сознался, что он не Юрка, а известный, прославленный путешественник, исследователь полярных льдов, знаменитый охотник, обладатель ружья такого калибра, перед которым все эти хваленые «винчестеры» и гроша ломаного не стоят.

Томка выслушал признание хладнокровно. Он даже не вздрогнул, как будто бы давно уже подозревал кое-что. Это мужественное самообладание обрадовало Юрку и он покровительственно похлопал брата по плечу.

— Из тебя тоже может выйти следопыт...

Будущий следопыт внимательно посмотрел в глаза Юрке, что-то быстро сообразил, моментально надул щеки и сказал:

— Знаешь, черный мячик навсегда мой?

Слова эти потрясли Юрку, открыв перед ним глубину кровавого. Узнать чужие секреты и потом требовать такой замечательный черный мячик? Это надо было предвидеть раньше. Сейчас — поздно. Спорить и ссориться нельзя.

— Да... Но ты дай слово, что никому не признаешься, что я не Юрка...

Томка и здесь оказался настоящим мужчиной. Он дал слово твердо хранить тайну. На всякий случай Юрка его припугнул, что при малейшем намеке на предательство черный мячик будет отобран. Услышав об этом, Томка тут же спрятал мячик в карман, в душе решив, подальше от греха, хранить его не в комнате, а в беседке.

Шли дни, и никто в доме не знал,

что за стол садится знаменитый путешественник, что спать укладывается полярный исследователь и что за книжкой размышляет великий охотник. Только одному Томке было всё известно. Но страх лишиться замечательного мячика крепко связывал болтливый язык.

Правда, был однажды случай, когда он чуть-чуть не проговорился. С ужасом наблюдая, как папа непочтительно кричит на Юрку, Томка представил себе жуткую картину: великий следопыт сжимает суровые брови, хватает свои калибры и... Томка закрыл глаза и прижался к отцу, чтобы своим телом защитить его, предупредить, что Юрки здесь давно нет, что тут, перед ними, прозный завоеватель Севера. Признание готово было вырваться, но Томка заметил повелевающий взгляд Юрки. Значение этого взгляда было понятно: так мог смотреть капитан, требуя безмолвного подчинения.

3.

Потому ли, что Юрке одному было трудно справиться с подготовкой к такой сложной экспедиции, или, может быть, его широкая натура требовала дружбы, но Юрка всё больше и больше доверялся и, наконец, открылся перед Томкой во всём своём величии.

Эта географическая карта занимала почти весь стол. И Юрка показал пораженному Томке: вот здесь Припять, тут наш дом, а сверху, чуть наискосок, Северный полюс, мечта человечества.

Мечта человечества была не совсем понятна, но так как Юрка собирался туда перебраться, у Томки немедленно возникли очень сложные замыслы. Рассматривая таинственную карту, Томка засопел. Хитрец, он даже слегка надул щеки, но сразу не мог решить, какую выгоду можно извлечь из переселения Юрки на Полюс. Вихрь мыслей мешал сосредоточиться. Комбинации, одна ярче другой, вспыхивали и гасли и, наконец, уступили место невиданной красоте со-

вершенно нового крокета. Томка с облегчением вздохнул, поняв, что среди трозных льдов Севера Юрке этот крокет не только не нужен, но и будет мешать.

— Это только на карте близко, — объяснял Юрка. — А ехать придется дней... пять или больше...

— Всего? — с сожалением протянул Томка, но тут же с надеждой спросил: — А ты назад не вернешься?

И вот здесь Юрка сообразил, что ему страшно нужен боцман, человек опытный, твердый, честный, на которого можно положиться и доверить присмотр за кораблём. Признавшись в этом, он предложил Томке должность боцмана. Зная характер Томки, Юрка в награду за службу сразу же дарил ему половину Северного полюса.

Предложение было заманчивое. Любой немедленно согласился бы. Но опытный Томка, весьма обрадованный перспективой без труда забастовать половину Северного полюса, ловко использовал безвыходное положение капитана.

— Половину Полюсного севера и новый крокет...

— Зачем тебе крокет, раз ты боцман? — с возмущением сказал Юрка. — Хватит с тебя и Полюса!...

— Не хватит... — и чтобы окончательно убедить капитана, Томка сфантазировал: — Я видел боцмана с крокетом...

Пойти на такую громадную жертву Юрка не мог и предложил вариант компенсации: половина Северного полюса и коньки. Томка мрачно сопел. Тогда Юрка добавил перочинный ножик в футлярышке, и соглашение было заключено.

Томка довольно пыхтел: за всю его жизнь это была первая во всех отношениях выгодная сделка, принесшая сразу и коньки и ножик в замечательном сафьянном футляре. Половину Северного полюса Томка считал приобретением незначительным, так, вроде упаковки к вещам.

Приятно было и звание боцмана, сразу поставившее Томку в категорию людей, известных всему миру и край-

не необходимых человечеству.

Сознание, что без него вообще нельзя не только делить Северный полюс, но даже и найти его, вскружило голову и испортило характер Томки. Он видел, что Юрка трудится, делает какие-то запасы, точит столовый нож, собирает веревки, но палец о палец не ударил, чтобы помочь ему в этом. Свою должность боцмана он воспринял как некий наследственный, почетный пост и целыми днями гонял по двору мяч. Даже таинственные намёки Юрки, что приближается срок выхода экспедиции, он пропускал мимо ушей, попутно намекая на крокет.

Иногда Томка забирался в беседку и примерял коньки. Они были велики, но Томка утешался, что к зиме у него нога вырастет. Радовал и прекрасный перочинный ножик. Когда же мама обнаружила порезанный палец и отобрала ножик, Томка с неожиданной решительностью пришёл к Юрке:

— Боцман всегда с ножом... Поцэму я нет?

Юрка, конечно, понимал, что никакого боцмана Томка не видел, но общая тайна уже связывала их и заставляла действовать заодно. Юрка выпросил у мамы нож, передал его Томке и посоветовал прятать подальше. Нож Томка спрятал и тут же начал подговариваться, что у одного боцмана он заметил мешок, очень напоминающий юркин рюкзак.

Тут Томка явно пересолтил. Выведенный из терпения, Юрка решил обуздать аппетиты своего боцмана и, вызвав его в густоту сиреневых кустов, прямо и откровенно заявил:

— Боцман служит и подчиняется капитану. Сопротивление бесполезно. Поэтому ты должен собственной кровью подписать обязательство. Или возвращай все мои вещи. Понятно? Подпишешь?

Томка, так или иначе, уже давно связал свою судьбу с этим знаменитым мореплавателем. Какое-то письменное соглашение дела не меняет. Служить, так служить!

— Хорошо, — со вздохом сказал

Томка. — И чтоб новый крокет был мой!

Сказав это, Томка решил при первом же удобном случае выщипать еще и цветные карандаши...

4.

Это был замечательный документ! Из него Томка совершенно определенно узнал, что он обязан беспрекословно подчиняться капитану «во всякое время дня и ночи», под страхом лишиться боцманского звания с немедленной конфискацией мяча, коньков, ножика и крокета. Боцманское звание не особенно беспокоило Томку, но пункт о прекрасных вещах, которые он уже привык считать своими, встревожил не на шутку. Она даже пытался пустить в ход свое «поцэму», но капитан резко оборвал и спросил, угодно ли боцману подписаться собственной кровью на этом контракте.

Обстановка была такая, что пришлось согласиться. Но он тут же начал надувать щеки, и это встревожило Юрку. Опыт долголетней совместной жизни показывал, что вслед за надуванием щек у Томки неизбежно возникали очень сложные комбинации.

— Хорошо, — со вздохом согласился боцман. — Но у меня нет крови, а резать не хочу...

Предчувствие не обмануло Юрку. Этот пройдоха-боцман, из милости принятый на корабль «Полюс», оказался изворотливым. Боясь очутиться в дураках, Юрка ткнул пальцем в заживающую царапину, резонно заметив, что при честном отношении к делу оттуда можно извлечь каплю крови. Но Томка хладнокровно ответил:

— Оно уже засохло, — и торопливо прикрыл рукой сбитый локоть, нагло показывая, что на эту тему он не желает больше разговаривать.

Создавалось запутанное положение. Юрка попробовал было взять хитростью, соблазняя Томку взлезть на старую вишню. Бестия боцман сразу же разгадал коварные планы капитана.

— Поцэму? Это чтоб я оборвался? Не хочу...

И Томка, который недавно раза по три в день рвал штанишки, лазая по деревьям, стал вдруг примерным мальчиком и даже начал проповедовать послушание маме.

— А раз мама говорит, чтоб не лезть, знаешь...

Юрке стало совершенно ясно, что теперь Томка, увиливая от контракта, будет остерегаться и ограничится возней с вполне безопасным мячиком. Перспектива была мрачная. Юрка видел замыслы своего бодмана, хитрость которого прозвучала провалом так хорошо подготовленного плана. Правда, оставалась смутная надежда, что этот презренный комбинатор расквасит себе нос. Раньше это случалось довольно часто. И Юрка решил не спускать глаз с Томки.

На этот раз судьба благоприветствовала знаменитому капитану. Не прошло и двадцати минут, как бодман, оставив мяч, бросился догонять кошку. Это его и погубило: на повороте тропинки он сам себе наступил на пятку и полетел кубарем. С воинственным кличем ринулся Юрка и вмиг очутился над Томкой.

— Вставай!

Томка не хотел подниматься. Хныкая, он шмурыгал носом, всячески выкручивался, явно выгадывая время. Но Юрка был настойчив и пришлось подчиниться.

— Идем в беседку, — тревожно шептал капитан. — Скорей! Да ты не стирай кровь, пусть капает...

Юрка торжествовал. Наконец-то мечта близка к осуществлению! Этот изворотливый бодман в его руках. Но взглянув на Томку, сердце braveго следопыта ёкнуло: спокойствие Томки показалось подозрительным.

Желая поскорее всё закончить и не дать возможности бодману очухаться, Юрка втолкнул его в беседку и моментально выгнал из кармана контракт и огрызок карандаша.

— Вымажь кровью карандаш и напиши свое имя, — решительно приказал капитан.

Томка взял карандаш, повертел его в руках и равнодушно вернул Юрке:

— Это чтоб Томку написать? Я могу папу и маму и то печатными буквами...

Вот она — катастрофа. Сердце не обмануло. Юрка видел себя на краю гибели. Он ненавидел этого скользкого, увертливого толстяка, который, к тому же, улыбается над безнадежным положением того, кто...

— Ах, так! — не выдержал Юрка. Схватив контракт, он приклеил его к томику носу. — Тут твоя кровь! — с вдохновением изобретателя воскликнул знаменитый путешественник. — Это еще лучше подписи. Вроде печати...

А Томка сплоскал. Он упустил момент, когда можно было схватить и порвать этот важный документ. Теперь уже поздно. Окровавленная бумага, отдающая его жизнь в руки Юрке, бумага, в которой была заключена судьба ножа, коньков, крокета, уже находилась в глубоком кармане штанов великого северного путешественника...

5.

Вечером в кабинете врача Владимира Севастьяновича Желтого было уютно. Развалившись на диване, хозяин открыл толстую общую тетрадь, на обложке которой было написано: «Корабельный журнал полярного судна «Полос». Год 1924».

— Галочка, — обратился врач к своей жене, Ане Ивановне. — Налей Викстеру еще рюмку коньяку... И не обижайся, если твой младший сын Томка под пером великого путешественника будет выглядеть не особенно важно...

Закурив папиросу, Владимир Севастьянович начал листать страницы «Корабельного журнала».

— 11 июня... Да, о тридцать втором калибре уже прочитано... Так. Так. Ага... 15 июня. Тут свежая запись: «Когда этот хвостун Викстер узнает, что я нахожусь на Северном полюсе, он с горя напьется. А то противно слушать, как он говорит об охоте. И всегда медведь. А это вопрос, может, медведя убил еще дед Тит, а

Викстер выманил у него шкуру. А ружье двенадцатого калибра. Поэтому он с такой завистью смотрит на мои калибры. Он тоже кое-что понимает...

Владимир Севастьянович взглянул на Викстера.

— Ну, как? Нравится ваш портрет? Погоди, дальше не то будет...

— 19 июня: «Томка знает, что я давно уже не Юрка, а путешественник и охотник, не такой, как Викстер. А он уже молчит о медведе. Стыдно стало. А Томка обещал никому не говорить, кто я. За это пришлось отдать черный мячик. Жалко. После Северного полюса обязательно отберу. Пусть не думает...»

— 20 июня: «Не понимаю, зачем Викстеру карта? Когда я у него спросил, где мы живем, то он даже не сразу нашел. А когда нашел, то чтобы опять не потерять, нарисовал кружок синим карандашом. Также охотник! А где Северный полюс, я сам прочитал, и спросил, как это далеко. А он и не знал. Сначала засмеялся, а потом говорит: «Дня три надо ехать. А может и больше...» А я думаю, что не меньше пяти. Но я ему об этом не сказал. Пускай себе думает, что это близко».

— 22 июня: «И мама тоже. Не умеет воспитывать детей. Тогда не надо и разводить. Разве можно, чтоб Томка такой жадный. Мне пришлось взять Томку боцманом. Он скандалист и хитрый, но зачем такой жадный, это невозможно. Томке я дал половину Северного полюса, а он потребовал и мой новый крокет и говорит, что дешевле не согласен. Говорит, что каждый боцман имеет крокет. Но я крокет не отдал, мне и самому пригодится. Я ему дал коньки, а он потребовал перочинный ножик, который с футляром. Пришлось дать. Но это ничего. Потом отберу. Довольно этому жадному и Северного полюса. А всё мама виновата».

— Ну-с, на этом пока заканчивает запись... Идем ужинать...

— Нет, нет, — воскликнула Анна Ианнуарьевна. — Там еще что-то... Прочитай!

— Ммм, — промычал Владимир Се-

вастьянович. — А, пустяки, не стоит, — и хотел захлопнуть «Корабельный журнал».

Анна Ианнуарьевна запротестовала: — Читать, так всё читать!

— Ну... «А всё мама виновата... Да хорош и папа. Ему бы только в преферанс играть да пиво пить. Нет, чтобы присмотреть за сыном. Также пьяницей будет»... Ну, вот и всё: довольны? Всем досталось... А теперь, Викстер, отнесем «Корабельный журнал» в тайный склад северного мореплавателя, а потом... выпьем пивка...

6.

С тех пор, как кровью было скреплено обязательство, боцман несколько исправился. Он даже не заикнулся о цветных карандашах, когда капитан потребовал, чтобы те семьдесят копеек, которые лежали в томкиной копилке, были пересыпаны в общую корабельную кассу.

Подготовка экспедиции близилась к завершению. Всё нужное для путешествия было перенесено в укромное место, в камни среди густых ореховых кустов, занявших небольшой овражек в конце сада.

Однажды капитан свистком вызвал боцмана. Томка понял, что случилось нечто необыкновенное: вид у капитана был торжественный.

— Надо проверить наши запасы. Идем! Нам никто не помешает...

И на самом деле, время было выбрано очень удачное. Папа и Викстер играли в карты, а мама ушла в гости. Дома оставались только кухарка и фокстерьер, но они не представляли никакой опасности.

В кустах было темно и тихо. Даже тропинка к этому тайному хранилищу не была протоптана.

Из небольшой пещеры, вырытой среди камней, извлекли все запасы. Вот они — сухари. Вот рыболовные крючки и четыре патрона знаменитого тридцать второго калибра. Бутылка лимонаду. Тяжелый серебряный столовый нож, отточенный на кирпиче. Одежало и рюкзак. А в самом низу — коньки, перочинный нож, крокет и, наконец, цветные карандаши.

— А цветные карандаши как сюда попали? — гневно спросил капитан.

Бойдман смутился и покраснел.

— А это твои... которые мои, — запутался в объяснениях Томка.

Капитан с презрением оглядел потерявшегося бойдмана и молча сунул карандаши в карман. Потом повелительно указал пальцем на крокет и коньки:

— Немедленно унести в беседку!

Стараясь избавиться от стыда за незаконно присвоенные карандаши, Томка схватил запретные вещи и убежал, в душе радуясь, что капитан разрешил оставить мячик и перочинный ножик. Бойдману казалось, что в том, отдаленном, весьма смутно представляемом путешествии, мячику и ножу будет отведено значительное место.

Проверка кассы корабля показала, что в распоряжении экспедиции очень крупные средства. Даже после покупки новой лески и крючков специально для ловли китов, в наличии осталось один рубль и пятьдесят копеек.

— Здорово! — сказал Юрка.

Томка дипломатично воздержался от одобрения, потому что не особенно отчетливо представлял себе грандиозность суммы. Он привык считать гривенники, которые очень удобно обмениваются на халву. При этом он всегда искренне удивлялся наивности людей: берут маленький гривенник и дают великолепный кусок вкусной халвы. Предполагая тут какую-то роковую ошибку, Томка каждый раз, совершив эту выгодную для себя сделку, спешил уйти из магазина, правильно рассуждая, что всяк человек сам отвечает за свои собственные промахи. Вмещиваясь в них у Томки не было никакого желания.

Все эти соображения возникли и сейчас. Человек трезвого опыта, Томка знал, что хранить гривенники не имеет смысла. Тем более, что они обладают противной способностью теряться. Учитывая всё это, оборотистый Томка предложил:

— Знаешь что? На все гривенники купим халвы!

Юрке даже обидно стало: почему такие гениальные коммерческие идеи

возникли у этого глупого толстяка? Если бы он не впутался, сам Юрка мог бы предложить то же самое. Поэтому сразу согласиться с мнением Томки было несколько неудобно.

— А что же мы будем делать с халвой?

— Что? — переспросил Томка, уже почувствовавший сладость во рту. — Как что? А торговать?

— Как торговать?

— Оцэнь обыкновенно... — Тут Томка вдохновенно закатил глаза. — Тебе захочется, ты у меня купишь... Потом я у тебя... А корабль идёт...

Опять у этого хитреца замечательный план! Чтобы оставить за собой последнее слово, Юрка сказал:

— А халву сложим в жестяную банку из-под икры...

7.

У Юрки есть папа и мама. Очень часто он думал о том, что если бы случилось какое-либо несчастье, землетрясение, например, он бросился бы спасать папу и маму, он бы свою жизнь отдал, вынося их из-под падающих скал. Вот до чего он любил папу и маму.

К охотнику Викстеру у Юрки были совсем другие отношения. Папа и мама... да... Это те, кого надо просто любить и жалеть, смотреть, чтобы с ними ничего не случилось, думать о том, что они станут старенькими и будут нуждаться в юркиной ласке... Викстер! О, это совсем другое. Викстер — это всё. Он больше любви. С ним можно стать рядом. С ним можно броситься на спасение потибающих, ночевать в лесу и на берегу реки. С ним можно ловить рыбу... Это — Викстер! Юрка сам видел, как стреляет этот Викстер. Конечно, это Викстер убил медведя, и совсем он этим не хвастается. Наоборот, он просто кладет свою руку на плечо Юрки. И рука эта очень уютная. У мамы, конечно, рука маленькая, красивая и пальчики ласковые. К таким пальчикам хорошо прижаться щекой... Но идти далеко, смотреть в глаза опасности, грудью встречать врага, для этого надо чувствовать руку Викстера.

И вот перед этим Викстером нужно было скрывать свое настоящее лицо. Это было тяжело. В особенности было очень тяжело, когда Юрка сидел с Викстером у костра, смотрел в звездное небо и слушал, без конца слушал удивительные истории.

Иногда ему казалось, что вдали раздается грузный и мерный шаг мамонта и вот-вот, еще немножко, и из темноты выглянут желтоватые бивни диковского животного. Юрке не страшно, но на всякий случай он придвигается поближе к Викстеру и трогает рукой свое собственное ружье тридцать второго калибра.

Викстер подбрасывает сосновые ветки. Костер вспыхивает. Гаснут таинственные шорохи и прекращается тяжелый топот.

Викстер гладит блестящую в свете огня шерсть своего любимого гончего Каниса. И начинает рассказывать, как в человеческую пещеру впервые прибилась собака и улетлась у костра. Собака была первым зверем, на шерсть которого положил руку человек. Собака и человек стали друзьями...

Потом из леса пришла в шалаш кошка... Как она пришла, как завоевала сердце женщины своим уютным и теплым мурлыканьем, и как родилась идущая из глубины веков вражда между кошкой и собакой, обо всем этом говорил Викстер. И Юрка видел прошлое и понимал его.

— Юрочка, — говорил Викстер, — мальчик мой Юрочка... Может быть и не совсем так всё это произошло, но я так вижу... Это моя фантазия, порожденная лесом и костром, нашим небом и звездами и вот этой ночью... Мне так хочется видеть...

— Викстер, Викстер! — прижимаюсь к охотнику, шепчет Юрка. — Это и на самом деле так было...

— Откуда ты это знаешь, дорогой мой мальчик?

Юрочка не может объяснить. Но он верит своим словам, он смотрит на черные ели, на древний костёр, поднимает голову к звездам, и всё, то давнее прошлое, кажется ему такой же реальностью, как и корабль «Полнос»,

и предстоящее путешествие, и хитрый боцман, и корабельный журнал, и таинственная жизнь Севера.

А главное — сны. Он их вспоминает и в них видит подтверждение всему, о чем говорит Викстер. Но он не может рассказать об этом. Яркость сновидений выше его сил. И утомленный воздухом, блеском огня, шорохом волн и таинственными видениями, он закрывает глаза и уходит в мир невидимых простым глазом красок...

Утром он просыпается с ощущением некогда лежавшей на нем чьей-то теплой руки и кем-то сказанных ласковых слов: «Мой мальчик, Юрочка... Великий капитан и следопыт...»

Чья это могла быть рука? Кто мог сказать такие слова?

И Юрочка пристально рассматривает лицо спящего охотника. Оно спокойно и скрывает тайну...

8.

Из-за леса выплывали грозовые тучи, подкрадывались к солнцу, иногда останавливались, как будто ожидая отстающих.

Игра на небе была очень интересной. За этой игрой наблюдали Юрка и Томка и не заметили, как к ним подошел Викстер.

— Проза идет... Вы не боитесь грозы, ребята?

Томка поехал и ответил:

— Боюсь... оно стреляет...

Юрка покосился на брата и промолчал: трусость боцмана была ему известна.

— У нас что! — продолжал охотник Викстер. — А вот на Северном полюсе, это, брат... Океан гудит, ледяные горы лезут и лезут... Седые волны дышат холодом... Ветер свистит... Беда капитану, захваченному штормом среди океана...

Томка в ужасе прижал свои ручки к пухлым щекам и прошептал:

— А... а боцману тоже беда?

— И боцману, брат, беда... Океан, он, брат, не разбирает, где тут капитан, где боцман...

— А... а почему не разбирает?

— Ну потому... по разному... По-

тому что капитан должен знать, куда и когда ехать... Сначала, брат, посмотри на барометр. Хорошая погода — езжай... А если переменная да к шторму — сиди дома...

Неожиданно обстановка осложнилась. Ужасы, которые могли встретиться впереди, смутили даже Юрку. Попадаться впросак не хотелось.

— А через барометр, — спросил Юрка, — видно, какая погода?

— Не через, а по барометру видно... А разве ты не знаешь, Юрка, что такое барометр?

Если бы здесь не было этого глупого боцмана, Юрка откровенно признался бы, что в барометрах он еще слабо разбирается. Но при Томке...

— Это который, — вмешался Томка, — подмышку суют для здоровья...

Юрку сильно покорила догадливость Томки, этого труса, боящегося даже прозы. Но Викстер рассмеялся:

— Нет, Томка, ты ошибся... Идемте, я вам покажу барометр...

Аппарат был очень интересный и понравился Томке.

— Не цасы, а со стрелкой. И погоду угадывают...

— Вот видишь, Юрка, — объяснял Викстер. — Стрелка перешла «переменно» и идет на «грозу»...

Юрка был потрясен открытием. Вот чего не хватает для успеха экспедиции!

— А можно, — спросил он нерешительно, — купить такой барометр?

— А зачем покупать? Приходи и смотри...

Нет, это Юрку не устраивало. Как бы угадав мысли своего капитана, Томка важно заметил:

— Нам оно оцнь нужно...

— Ну, — сказал Викстер, — «оно» стоит очень дорого. Даже если продать все ваши вещи, и тогда денег не хватит...

— И крокет? — с испугом спросил Томка. — Не хочу...

— Подожди! Юрка, знаешь что? — воскликнул Викстер. — У меня есть вторая, я тебе его подарю...

Сложный вопрос разрешился очень благополучно. Барометр был повешен в беседке.

Раньше всех в доме просыпался Юрка. Быстренько одевшись, он сразу же мчался к таинственному аппарату и внимательно его изучал. Следом за ним появлялся и любопытный Томка.

— Ну, что?

— Переменно...

Томка не совсем ясно представлял себе это «переменно», но чувствовал, что барометр внес путаницу в жизнь экспедиции. К лучшему это или к худшему, такими вопросами он не занимался, всецело положившись на капитана.

А Юрка впервые в своей жизни понял, что в этом мире не всё так просто. Просто было несколько дней назад. И даже путешествие на Север являлось делом обычным и легким. Вот карта, вот синий кружок (это мы!), вон там, вверх и немного вправо, Северный полюс. Всё естественно. А барометр, о существовании которого Юрка раньше и не знал, взял и нанес резкий удар, и под ударом рухнули твердо сложившиеся представления. Оказывается, ехать можно не только имея хорошего боцмана (а разве Томка боцман?). Нужно нечто другое, зависящее от барометра. И получилось, что судьба экспедиции непонятным образом подчинялась капризам этого странного механизма, который по своему усмотрению может двинуть стрелку в любую сторону.

Даже Томка, не умея читать, скоро приспособился к тонкостям барометра. Очень часто, зажав подмышкой мячик, он вытягивался на цыпочках, хмурил брови, неодобрительно шевелил губами, а потом мчался к Юрке и трагически шептал:

— Опять непременно... И что б это значило?

Между прочим, Томка радовался приобретению барометра и, в глубине души, одобрял поведение этого сложного аппарата. Постепенно он начал приходить к убеждению, что барометр вообще не способен сдвинуться с «переменно», и принимал это обстоятельство, как освобождение от своих сложных боцманских обязанностей. Наконец, дело дошло до того, что Том-

ка перестал думать об экспедиции, с утра до вечера околачиваясь на крокетной площадке.

А Юрка был наполнен тревогой. Он проник в тайные мысли своего ботмана и страшился часа, когда вся команда корабля вдруг выйдет из повиновения. К тому же первые сигналы бедствия уже были: два или три раза ботман не явился на долго и резко верещавший свисток.

Этому надо было положить предел. И вот капитан грубо приволок ботмана в беседку и потребовал объяснения. Ботман нагло хлопал длинными ресницами и безбожно врал:

— Я ничего не слышал...

Тогда Юрка решил применить свое право сильного и в отсутствие Томки унес с площадки крокет и спрятал его в укромное место. Но вернувшийся ботман устроил пронзительный рёв, и Юрка еле успел втянуть его в кусты, чтобы случайно не услышала мама. Здесь, наедине с этим пройдохой, Юрка напомнил ему о кровью скрепленном обязательстве. Но ботман сделал крутые глаза и начал надувать щеки. Почувствовав неладное, Юрка решил сразу же погасить недовольство в команде и вернул Томке крокет. Собрав дужки, шары и молотки, ботман сел на них и вдруг дерзко потребовал:

— А что ты хотел забрать крокет, дай мне цветные карандаши...

— Все? — испуганно прошептал Юрка.

Ботман подумал и милостиво сказал:

— Пока... цэтыры...

9.

Нужны были героические меры, чтобы не рухнуло всё дело экспедиции. Юрка, как никто, понимал, что при сложившихся обстоятельствах промедление смерти подобно.

И на самом деле: уже пришлось изпод самого низа запасов вытащить мяч и перочинный нож. И отдать этому шантажисту. Чтобы не лишиться помощника, чтобы предотвратить настоящий бунт, пришлось пожертвовать цветными карандашами.

Капитан понимал, что всё это — только отсрочка. Это в особенности стало ясно, когда он увидел неожиданно появившегося перед собой Томку. Пройдоха принес новенький гривенник и потребовал кусок халвы.

Капитан горячо доказывал, что это неприкосновенные запасы, предназначенные для торговли в пути. Ничего не помогало. Томка своей убийственной логикой и хитростью убедил капитана, что, в сущности, всё равно, кому будет продана халва: важно получить гривенник, то-есть произвести торговый оборот и положить наличные денежки в карман. Всё было ясно: сегодня Томка покупает и платит Юрке... завтра Юрка покупает и платит Томке... Халва принадлежит кораблю «Полнос». Кораблю принадлежит касса. Капитан и ботман — корабельные. Следовательно...

Доводы были изумительно красноречивые. Первая торговая сделка на полярном корабле «Полнос» состоялась. Поступил первый гривенник. Завязывая его в носовой платок, Юрка с презрением посмотрел вслед уходящему бездельнику, уже успевшему вымазать халвой даже уши.

Под вечер, роясь в карманах, Юрка машинально вытащил платок и с удивлением посмотрел на узелок. Он успел забыть, что в нем хранится торговый гривенник. Развязав узел, Юрка увидел монетку и вдруг почувствовал во рту аромат и вкус халвы. Он немедленно разыскал Томку, и вторая за этот день торговая операция завершилась. На этот раз гривенник получил ботман, и так как у него не было кармана и носового платка, то, боясь потерять кассу корабля «Полнос», он тут же вернул гривенник капитану и взамен взял порцию халвы.

Почти весь следующий день участники экспедиции просидели в кустах. Они торговали. Гривенник переходил из рук в руки. Наконец, уже перед самым обедом, Томка, еле дыша, протянул гривенник Юрке. Капитан машинально принял и в недоумении остановился:

— Всё...

— Цэво всё?

— Халвы больше нет...

— Поцэму? А привенник взял?

Юрка попытался всучить боцману монетку, но тот поднял визг, заодно выпребая крошки халвы из пустой уже коробки. Боцман считал себя обманутым и потребовал остальные цветные карандаши.

За обедом Томка ничего не ел, икал и хлопал глазами. Потом его стошнило. У боцмана поднялась температура и, засыпая под ласковой рукой матери, он бредил половиной Северного полюса и «непременной» погодой.

Но уже на следующее утро Томка был здоров. И вот тут, наконец-то, коварная стрелка вздрогнула и стала медленно передвигаться на «ясно». Первым это заметил Юрка. Поймав Томку, он рассказал о предстоящем переломе в их жизни, о том, что теперь перед ними сияние будущего и что корабль «Полюс» сможет выйти в плавание.

Это известие Томка выслушал без энтузиазма. Почти всё имущество Юрки уже принадлежало ловкому боцману. Мелькнула заманчивая мысль, что неплохо было бы сохранить эти вещи, а самому никуда не ездить. Конечно, у Юрки еще оставался замечательный рюкзак, и жалко, если он затеряется на Севере.

Был такой момент, когда Томка начал надувать щеки, чтобы предложить следующую комбинацию: пусть Юрка забирает себе томкину половину Северного полюса, а Томка ограничится только коньками, карандашами, крокетом, мячом, ножом и... рюкзаком. И Томка остается дома. Но быстро оценив несерьезность такого предложения, боцман вздохнул и попытался отвертеться от экспедиции под благовидным предлогом, что ему вчера мама ставила термометр для здоровья.

Но Юрка, в порыве отчаяния, рискнул всем: выезд экспедиции 3 июля. Ему известно, что в этот вечер Викстер и папа приглашены к доктору Абрамову, а мама, по обыкновению, засидится у соседей. Кухарка будет спать и...

Капитан полярного корабля «Полюс» готов идти на новые жертвы.

Капитан корабля Юрий Владимирович Жолтый дает письменную гарантию боцману этого же корабля, Томке Владимировичу Жолтому, что, помимо половины Северного полюса, он вручает боцману все острова, которые...

— Не хочу острова... Рюкзак и привенник, — потребовал боцман.

Капитан растерялся от такой дерзости. Он готов был пустить в ход кулаки, но вспомнив, до чего визгливо орет этот шантажист, взял себя в руки. В голосе капитана зазвучала сталь.

— Хорошо... Острова. Рюкзак. Привенник. Экспедиция отправляется вечером 3 июля. Ни днем позже. Согласен?

Несмотря на то, что все его условия были приняты, боцман долго сопел. Перебрав в уме всё имущество Юрки, придя к полному убеждению, что после потери рюкзака его родной брат остается несчастным нищим, Томка глубоко вздохнул и ответил:

— Согласен...

Получив рюкзак и привенник, боцман начал выбираться из кустов по направлению к беседке. Капитан, после глубокого мрачного размышления, медленно вынул «Корабельный журнал» и начал писать. Иногда он покусывал карандаш...

10.

В кабинете были те же: Владимир Севастьянович, Анна Ианнуарьевна и охотник Викстер.

Поставив настольную лампу поближе, доктор опять раскрыл «Корабельный журнал».

— Посмотрим, — сказал он, — насколько продвинулось у них дело... И так...

— 22 июня... было... Ага!

— 23 июня: «Боцман в моих руках. Но какой он хитрый. И если надувает щеки, обязательно обманет. У папы тоже такая привычка. Надувает, надувает щеки, а потом как закричит. Он ужасно боялся кровью расплываться. Говорит: «Крови нет». А когда расквасил нос, говорит: неграмотный. И на самом деле не умеет. А ма-

ма тоже слепая. У нее Томка всё умища. Ха. Ха. Но ничего, он носом печать поставил. Теперь он в моих руках. Хотя и пришлось отдать крокет. Посмотрим. После Северного полюса пусть надувается».

25 июня: «Закуплена халва. Будем торговаться. Это удивительно, но выдумал Томка. Он очень напоминает папу. Папа торгуется в карты. Торговался, говорит, бешено. Без двух. Вот и Томка то же. Халву сложили в банку. Дала Фекла Ивановна. Почему нельзя взять с собой Викстера?»

26 июня: «Томка — трус. Викстер, кажется, пробовал попасть на Северный полюс. Да где ему! А теперь напуган, рассказывает: «У Полярного Круга океан гудит, ледяные горы лезут и лезут, седые волны выше дома, а ветер свистит». Даже страшно слушать! И холодно. Вот бы сознаться Викстеру. С ним бы не страшно. А Томка перепугался. Хорошо, что я знаю, при какой погоде надо ехать. Чтоб на барометре «ясно». А Томка — оболтус, говорит, что барометр это котрый подмышку для здоровья. Смешно.»

28 июня: «Опять додумался этот оболтус. Начали торговать халвой. И откуда у Томки этот привенник? У мамы выклянчил. А день прошел незаметно. Всё торговали и торговали. Оказывается, торговать невыгодно. Почему-то выручили только один привенник. А продали целую банку. Привенник пришлось отдать Томке. И цветные карандаши. Зато его тошнило халвой. Еще бы.»

29 июня: «На Северном полюсе льды и переменны. Ехать нельзя. Слежу за боцманом. Пришлось кой-чем пожертвовать.»

30 июня: «Ура! На Северном полюсе стрелка идет на «ясно». На корабле не всё спокойно. Пришлось отдать рюкзак и привенник. Пусть. День выезда — 3 июля. Дома никого не будет. 3 июля! 3 июля! 3 июля! Если бы Викстер! Вот бы с ним. А потом вернулись бы и я отобрал бы все свои вещи. 3 июля!»

Владимир Севастьянович торжест-

венно закрыл «Корабельный журнал».

— Итак, — сказал он, — историческая дата: 3 июня полярный корабль «Полюс» при капитане Юрии Владимировиче Жолтом и при боцмане Томке Владимировиче Жолтом отправляется в далекое путешествие... Что вы на это скажете, друг и покровитель Юрки, вы — охотник Викстер?

— Мы, — ответил Викстер, — вместе с заслуженным деятелем медицины, отцом знаменитых полярных путешественников, должны подумать и исторический день 3 июля превратить в такой яркий праздник, чтобы и у капитана и у боцмана на веки-вечные сохранилась теплая память об этой дате, об отце, маме и... и обо мне, охотнике Викстере... Потому что... Потому что... Нет, не надо, а то мне придется смахивать слезу... Вот, знаете, Анна Ианнуарьевна, мы с улыбкой читаем этот «Корабельный журнал», и смешно немножко... и тревожно... Но как это хорошо! Хорошо иметь таких сыновей, Владимир Севастьянович! А всё-таки... Юрку я вам создал. Он ваш сын, но вот такой, вот этот Юрочка, ведущий записи в «Корабельном журнале», этот Юрочка — мой!

В кабинете было тепло и радостно. Были подняты бокалы с вином за здоровье и счастье знаменитых полярных путешественников, готовящихся отплыть в неизвестность на своем призрачном корабле «Полюс»...

11.

Хорошо, тщательно была изучена дорожка, по которой 3 июня 1924 года знаменитый капитан, в сопровождении боцмана, решительным шагом спустится с крутого берега Припяти, уверенно взойдет на борт корабля «Полюс» и бесстрашно ринется на встречу будущему.

Великому следопыту стоило замуриться, и дорога к кораблю во всех подробнейших мелочах вырисовывалась ясно, до каждого буторка и впадины.

Сад. Овражек с орешниками. Под-

готовленный пролом в изгороди. Дальше — поворот направо и у дикой яблони узенькая тропинка. Тропинка уводит всё дальше и дальше и, наконец, за спиной остается город, дом, где папа и мама, где охотник Викстер... Еще немного, и сухой пенёк. Потом — поворот, которым начинается подъем к крутому берегу... Тишина... Ночь...

И вот впереди лунными бликами мигнула черная вода. Осторожней! Тут обрыв. У обрыва большой серый камень. От камня уже почти незаметная тропочка среди березок, тропочка... это последнее, что соединяет прошлое с будущим... Настоящее капитан «Полноса» безжалостно зачеркнул... Если думать о настоящем... нет, о настоящем ему нельзя думать... Идти прямо, из прошлого в будущее...

Так представлял себе Юрка вечер 3 июля... Этот вечер пришел удивительно неожиданно. Еще вчера он казался очень далеким, таким далеким, что и приблизиться к нему трудно. И вот он здесь, вопросительно ожидающий.

Широко открытыми глазами смотрел Юрка в темноту ночи и слушал тишину. Тишина была наполнена грохотом сердца. Это не был грохот страха. Это было удивление перед самим собой и перед тем, что удалось ему создать. А созданное было прекрасно. И этот мощный корабль, и неизвестное будущее, во имя которого зачеркивалось настоящее, и боцман, который спал в своей кровати и тихо посапывал, и звездная ночь... всё это облекалось в реальные, осязаемые формы... Оставалось только пойти, взять руль, свистнуть, и корабль наполнится жизнью, ветер ударит в послушные паруса и заскрипит снасти. Потому что пришел капитан...

Юрка быстро поднялся и ему нестерпимо захотелось крикнуть громовым голосом:

— Боцман!

Но этого он не сделал: это придет позже... И потому он потихоньку нащупал кровать Томки, наклонился

к нему и долго смотрел на пухлые щечки своего брата.

— Томка... пора... — прошептал Юрка. — Вставай...

Томка облизал губы, чмокнул, пробормотал сквозь сон: «Непременная погода», и вдруг нырнул под одеяло. Подождав немного, Юрка приподнял одеяло и рассмотрел, что боцман продолжает спать, держась ручонками за подушку.

— Том... вставай!

Юрка начал беспокоиться, что Томку не удастся разбудить. А вдруг Томка испугается и начнет плакать? Но к удивлению Юрки Томка сел, спросил: «Что?» и безропотно позволил себя одеть.

Только когда всё было готово и они вышли в сад, Томка заволновался и спросил:

— А почему темно?

Юрка понял, что Томка всё это время был во власти сна и только теперь, на свежем воздухе ночи, пришел в себя. Но он не заплакал. Наоборот. Ему даже понравилась эта необычная прогулка, хотя он и сказал:

— Чтоб не страшно, возьми меня за руку...

И они пошли...

Сад... Овражек... Орешники. Здесь маленькая остановка... Ружье и мешок...

— А мячик? — тоном заговорщика спросил Томка.

— Всё здесь... в рюкзаке...

— То-то... — одобрительно прошептал боцман.

Протискиваясь в подготовленный пролом в изгороди, Юрка обо что-то твердое задел ружьем. Путешественники замерли. Юрке показалось, что этот стук разбудит весь город... Ничего. Вдали полаяла собака и замолкла.

Юрка поразился, насколько обесформилась, изменилась ночью так хорошо знакомая днем дорожка. Он даже боялся, что потеряет направление, заблудится и никогда не попадет на корабль. Но чем дальше они двигались, тем больше привыкал глаз и, наконец, стал узнавать все приметы на пути к «Полносу». Вот и поворот.

— Знаешь что? — вдруг произнес боцман. — Расстегни мне штанишки...

Юрка вздрогнул от неожиданности: он удивился, что рядом с ним кто-то идёт. До сих пор, с момента выхода из сада, он был так погружен в свою личную жизнь, в свои наблюдения, в свои важные мысли, что происходившее вокруг могло быть только бледной тенью его переживаний.

После короткой остановки, они двинулись дальше.

— Юрка, тебе страшно? — спросил боцман.

— А тебе?

— Мне тоже нет... только держи меня покрепче... Скоро?

— Сейчас... молчи...

Некоторое время они шли в молчании.

— Знаешь что? — опять спросил Томка. — Цтоб после Полярного севера сразу домой... а то мама. А ты ножики взял?

— Взял... Чшшш...

Теперь они шагали медленно. Впереди был подъём, дальше обрыв к воде... и там, где-то, покачиваясь на волнах, корабль... Мгновение торжества приближалось.

Вдруг Юрка остановился.

— Слышишь?

Томка ничего не расслышал, но поспешил прижаться к Юрке. Потом осторожно спросил:

— Цэво?

Постояли... Всё спокойно... Сонные звездочки ласково моргали...

Но сделав еще несколько десятков шагов к обрыву, они ясно различили голоса, идущие оттуда, от воды. Голоса были грубые и такие ненужные в эту тихую ночь.

Подойдя к обрыву и взглянув вниз, они увидели страшную картину. Зрелище было таким потрясающим, что пришлось сразу же спрятаться за камень: на берегу, у самой воды, горело неисчислимое количество костров. В свете костров иногда мелькали силуэты людей. Ислись песни, крики, дикий хохот, сопровождаемый звоном разбиваемого стекла.

Широко открытыми глазами смотрел Юрка с высоты обрыва: дикая

оргия происходила около его корабля, около «Полюса».

— Что?

Но Юрка не ответил. Он и не мог ответить, не мог рассказать этому храброму боцману, что происходит там, невдалеке, около воды. Разве можно было объяснить, что какие-то шираты, проведая о снаряжении экспедиции, под покровом ночи напали и завладели кораблём, а теперь празднуют свою победу.

Пиратов было очень много. Силуэты на фоне костров мелькали и мелькали.

— Что? — спросил опять Томка, стараясь разобраться в тайне этой ночи.

И Юрка заплакал. Бедный, знаменитый капитан! О, если бы с ним был охотник Викстер! Но его не было... А что может сделать один человек, пусть даже с ружьем тридцать второго калибра, против шайки морских разбойников? Это была бы безумная затея...

Оргия победителей продолжалась. Бесстыдный хохот, песни и крики оскверняли чистоту берега, от которого должен был отплыть корабль светлой мечты.

Вдруг тонкая огненная нитка поднялась к небу и высоко в воздухе задрожали зеленые, синие и золотые искры. Разорвалась ракета. Зрелище было удивительное.

— Что там? Смотри... — в восторге воскликнул боцман.

Юрке было всё понятно: пираты бросали вызов другим пиратам. И он не ошибся. Несколькo в стороне новым водопадом разноцветных искр рассыпалась другая ракета. Вызов был принят!

А еще через мгновение на берегу началось нечто невыразимое. Множество людей боролось, бегало, кричало. В азарте схватки затаптывались костры, взлетали головешки и, вычертив огненную линию, с шипением падали в воду.

Потом загревели выстрелы. Гром битвы продолжался долго. Наконец, наступила тишина.

И это было понятно Юрке: бой за-

кончился, и победители убирали трупы, прятали следы преступления...

Потом, как будто оттолкнувшись от воды, сюда, к обрыву, на котором лежали капитан и боцман, понеслись слова чужой, неизвестной песни, которую, может быть, пели на Летучем Голландце...

Юрка и Том, пораженные всем происходящим, слились с камнями. Они не замечали времени, не видели, что из-за леса поднимается громадная луна. Воздух посветлел, и в лунной дорожке, протянутой по воде, ярко вырисовалось серебряное изогнутое крыло громадной птицы: это был парус на корабле «Полюс». Корабль оторвался от берега. Крыло становилось всё меньше и меньше... А когда корабль готовился покинуть серебряную лунную дорожку, на его борту опять загремели выстрелы...

Опытный капитан вздрогнул, тронул плечо успевшего задремать боцмана и мрачно сказал:

— Ага... Я так и знал: бунт на корабле...

Послесловие

Рассказ о том, как два мальчика собирались найти и поделить Северный полюс, закончен. Но автор считает нужным добавить к нему несколько строк...

Много-много лет назад в альманахе «Зори» появился рассказ «Юрка». Рассказ этот потом кочевал по издательствам, но — до поры кувшин воду носит, и за автора уцепились злые критики. Такого Юрки не может быть: автор его выдумал. Юрки, стоящего вне комсомола, не должно быть. Охотник Викстер — тоже выдуманный. В «Юрке» за занимательностью, за фантастикой рассказов у костра, за увлекающим юношей сюжетом — стоит чуждый современности автор, искажающий образ советского мальчика, будущего строителя и т. д.

Через какое-то время появился сборник «Осенние новеллы»... Среди новелл были «Дикое солнце», «Канис», «Льдинки»...

Вновь ухватились критики и нача-

ли трепать новеллы как собака тряпку. Ко всему прочему, у самого автора обнаружили какой-то эгоцентризм, заодно вспомнили «Юрку», а образ Юрки под другим именем обнаружили в «Диком солнце»...

А Юрка на самом деле существовал...

Совсем не повторяя рассказ «Юрка», автор взял свою старую юркину тему и написал «Бунт на корабле». И так как действующие лица этого «Бунта» не вымышлены, а сам Юрка был другом автора (маленьким по летам, но большим по чувству), то и понадобилось это послесловие, хотя бы как крохотная свечечка у алтаря Родины...

Вот он, Юрка, знаменитый капитан и следопыт... Томка... ну, Томке было «пять лет с хвостиком»... И автор как живого видит и сейчас этого карапуза, с хитро надувающимися щечками и острыми огоньками в глазах, защищенных громадными, пушистыми ресницами.

Не менее реальным был и их отец — Владимир Севастьянович Жолтый, доктор медицины, известный врач-терапевт, до и в первые годы революции первый ассистент знаменитого киевского профессора Образцова. В. С. Жолтый умер в тридцатых годах; вслед за ним трагически погибла и его жена, мать Юрки и Томки, Анна Ианнуарьевна...

В 1933 году Юрка оканчивал десятый класс. Осенью того года автор виделся с ним в последний раз. Вспоминали прошлое. Поворили о Юрочке, капитане, жестом богача бросившего брату щедрый подарок: половину Северного полюса со всеми прилегающими к нему островами. Переживали «Бунт на корабле» и вот тут уже семнадцатилетний Юрка откровенно признался, что он до сих пор не может понять, как тогда, в 1924 году, два человека (его отец и охотник Викстер) смогли на берегу реки Припять поднять такой шум, грохот, устроить такую перепалку и «оргию» у костров.

— Мне и сейчас кажется, — сказал Юрка, — что во всем этом долж-

но было принимать участие человек пятнадцать...

Распрощались, надеясь на новую встречу... И встреча... не состоялась... Теперь между автором и Юркой легло много лет...

Недавно Московское радио в «Слушайте передачу по Советскому Союзу» сообщило, что группа кораблей Северного Морского Пути совершила очередную удачную экспедицию. В

числе капитанов полярного плавания называли имя Юрия Владимировича Жолтого.

И вот, вернувшись памятью в прошлое, здесь, среди гор и лесов Таунуса, автор восстановил образ девятилетнего Юрочки, творца своего собственного призрачного корабля «Полюс»...

Франкфурт-Майн, 1953.

СТИХИ

* *
*

От родников Твоих ни капли нет во мне —
Питают кровь мою давно другие страны,
И Ты — лишь быстрый вздох в моем рассветном сне,
Лишь тонкий, белый шрам переболевшей раны.

Но, может быть, не так? И это Ты зовешь
И под ноги бежишь, как вечная дорога,
И мне переступить ревниво не даешь
Чужого равнодушного порога? ..

ИЗ НЬЮ-ЙОРКСКОГО АЛЬБОМА

1.

Под скамьей пустая бутылка,
И лицо в немых руках.
Всё, что сердцем владело пылко —
Вдохновение и страсть и страх —
Отошло, — чтоб в тени прохладной
Он разглядывать мутно мог
Голубей доверчиво жадных
У его неспешащих ног.

2

Три китайчонка — личики чуть намечены
И прямые черные волосы в скобку —
Нашли на улице таз искалеченный
И от бисквитов большую коробку.
Влезли и, узко мерцая глазками,
Смеются и в гонг ударяют яро, —
Плывут за океан за драконьими сказками
От заплеванного тротуара.

3

Злой локоть оттиснул прочь,
В напоре сжатые челюсти ...
Трясет железная ночь
Толпу в её дикой прелести.

И где уж нам не позабыть,
Как небо зарей румянится.
Здесь жизнь земную любить
Умеют — дети да пьяницы.

СЕВАСТОПОЛЬ

1.

Чуть стихами — магической палочкой —
Трону в памяти спящую былъ,
Рыбный ветер над солнечной балочкой
Пронесет беловатую пыль.

И тутим, сухоногим кузнечиком
Зазвенит по обрыву трава,
И за детским коричневым плечиком
Будет влажно мерцать синева.

Было, есть — для души одинаково, —
Даже, может быть, сердцу слышней
Хруст и шорох раздавленных раковин
Под ребячьей сандалей моей.

2

На колени просилась к няне,
Прижималась к ней присмирив, —
Потому что в ночном бурьяне
Притаился и смотрит — лев...

Светляков проплывали искры,
Что глаза. А над срезом крыши
Заметавшись, грозила быстро
Злым крылом летучая мышь.

И русалий хохот лягушек
Шевелил безлунную ночь,
Словно их зеленые души
Улетали с хохотом прочь...

...Пахла няня кофе и ситцем,
А ладонь, как терка, была.
Даже страхом легко томиться
Под оградой её тепла.

* * *

*

Да, безнадежность — утешенье,
Покой и легкость. Что терять?
Лишь сердца теплое биенье,
В руках послушная тетрадь —

И целый мир цветёт покорно
В моем распахнутом окне,
И зреет, и роняет зерна,
И песнями растёт во мне.

* * *

Свежий луг и тёплый ветер,
И шмели на стебельках —
Что мне делать в утра эти
С книгой пасмурной в руках?

Что бумажные страницы,
Если нынче я могу
Божьей грамоте учиться
На нескошенном лугу?

Тайной азбуккой цветенья
Раскрывается трава.
Вот еще, еще мгновенье —
И прочту её слова.

* * *

Замкнулся день благословенным кругом
Земных своих чудес:
Всё розовее облако над лугом
И всё чернее лес.

Кто, райским пламенем над ночью рея,
Зовёт и ждёт меня?
«Уйди от ночи, поднимись скорее
До моего огня!»

Но на плечи прохладные ладони
Мне сумерки кладут:
«Нет, не уйдешь, не убежишь погони,
«Мы тут, мы — тут!»

* * *

На песке рисую тростью
Дым витым столбом.
Полно быть смущенной гостьей, —
Где-то есть мой дом...

Или только боль разлуки
В долгом забытии?
Никогда в родные руки
Не вложить свои?...

Пусто, пусто в мире новом,
Где одни бредём, —
На песке лишь нарисован
Наш ненужный дом.

Героические рассказы

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

В мирное время городок Н. славился своими целебными ваннами, а ныне — как центр сопротивления немецким оккупантам. Не будучи французом, я любил эту страну, где молодые и не совсем молодые люди готовы были пожертвовать жизнью, чтобы выбить немцев из «прекрасной Франции», и охотно изображали из себя героев, что было не трудно, так как недостатка в терпком красном вине и французской водке, мар, не чувствовалось. Я искренне считал гитлеровское нашествие несчастьем и поэтому всецело разделял с непокорными французами невзгоды их и заботы. Весной 1944-го года я вступил в ряды сопротивления.

Высоко в горах собралось нас сорок семь бойцов. У нас было тринадцать ружей. Пистолет, а не винтовок, так как из них четыре были охотничьи двухстволки, одно монтекристо, пять карабинов и три винтовки. Не менее великолепно обстояло дело с боеприпасами. У меня лично было четырнадцать патронов, из которых три я расстрелял при учебной стрельбе.

Моя винтовка была системы «Спит-файер 303», которую отняли у одного глупого фермера, жестоко избив его при этом: чужак не понимал, что борьба требует жертв. Винтовка была старая, заржавленная, с прицельным измерением на ярды, а не на метры, что смущало меня и моих соратников. Когда дошла моя очередь стрелять в цель, я усомнился в пригодности это-

го оружия и спросил моего начальника, бывшего жандарма, как опытного стрелка, не хотел бы он выстрелить первым. Жандарм внимательно осмотрел винтовку и спокойно сказал, что он не сумасшедший, чтобы стрелять из этой «штуки», так как при первом же выстреле стрелку в лучшем случае оторвет руку. Получив такое ободряющее заверение, я решил, что если напропачкованное несчастье случится, можно будет в крайности стрелять из револьвера оставшейся левой рукой, и выстрелил. Руку мне не оторвало, но я прослыл «головорезом».

С большими трудностями мне удалось купить на черном рынке итальянские военные сапоги. Я был страшно горд. Ровно через шесть дней это изделие гордых потомков железных легионов Юлия Цезаря стало трещать по всем швам (в буквальном смысле этого понятия). Еще через два дня подошва правого сапога отстала, и я с ужасом заметил, что сапог, глядя на меня, ухмыляется, как бы говоря: «Тоже мне — воляка!». Посредством сложной системы бичевки мне на некоторое время удалось победить этот сарказм...

Весь наш «полк» жил в домишке, в мирное время служившем убежищем для лыжников. Было так тесно, что многие из нас по очереди спали сидя, а один чужак, бывший художник и поэт, уверял, что лучше всего отдыхает, когда спит стоя. Он спал стоя дня три, а на четвертый — лег и прохрапел двое суток.

Место, где мы располагались, было в семи километрах от селения с торжественным названием *Bout du Monde**)

Днем и ночью мы расставляли часовых и охраняли свою «штаб-квартиру» с двух сторон, откуда только были возможны подходы к нашей вершине.

В одну довольно теплую ночь со стороны *Bout du Monde* прибежал с дрожжащими губами часовой и срывающимся фальцетом заявил, что кто-то приближается с огнями. Огонь-де «двигается!». Хотя мы всегда ожидали немцев, готовые «победить или умереть», но сообщение это произвело удручающее впечатление. Начальник лагеря — жандарм со звучной фамилией Шульц, уверявший, что у него болят зубы и поэтому пивший днем и ночью мар, распорядился приготовиться к спешному отступлению, так как, по рассказу часового, шла на нас большая немецкая сила. Зная из печального опыта товарищей, что немцы в плен не брали, бойцы с лихорадочной быстротой обвешались рюкзаками, ранцами, котелками и, дрожа — видимо от холода, традиционно задрапировались, как наполеоновская великая армия, в одеяла. Начальник хрипло вызвал добровольцев на разведку, не упомянув на этот раз ни об «идеалах Франции», ни о «беспощадной борьбе с бошами», но основательно хлебнув из бутылки, которую затем бережно сунул в задний карман.

Поднялись два брата-близнеца. Жан косил глазами вправо, а Пьер — влево. Когда один из братьев говорил с кем-нибудь, очень часто отвечал не тот, к кому он обращался, а сосед, полагая, что смотрят на него. Встал также Бубуль, мальчик лет пятнадцати, сын адвоката. Этот лелеял две мечты: одну, что он один перебьет «сто немцев», а вторую — что у него будут большие усы. В то время у него уже пробивался легкий пушок на верхней губе, который он нежно гладил, тщетно пытаясь при этом кашлять басом. Его любили, а над усами подсмеивались, уверяя, что голубиный помет, если его класть на ночь

под губу, очень способствует растительности, и часто ссылаясь при этом на Буденного. Матрос Рожэ, сорока двух лет, самый старший из нас, не говоря ни слова, снял со стены свой карабин. Рыжий бретонец Эмиль, повар (плохой) и хвастунишка, удивил всех желанием участвовать в «деле». Так как я слыл головорезом, делать было нечего, — шестым пошел я.

Ночь была: темная, безлунная, и только звезды равнодушно мерцали в невероятной высоте, как всегда в горах.

Еще метров двести — и, обойдя нечто вроде болота, мы действительно увидели мерцающие огни. Шульц остановился, раскатисто закричал: — *Qui est la?* — Ответа не последовало.

— Отвечайте, или мы будем стрелять!..

Опять молчание.

— Пли — скомандовал он. Раздался залп... Огни продолжали мерцать.

— В штыхы! — заревел Шульц.

Штыков у нас не было, но мы побежали, подняв ружья наперевес, в атаку. Бежать надо было по неровной почве, и мы проваливались по колено в жидкую слякоть и дышали, как боксеры, испытывая одновременно неприязнь и нежную любовь друг к другу... Забрызганные грязью до плеч, мы кое-как добежали до неприятеля. И тогда свирепые звуки, которые мы издавали, замерли. Мы увидели, что «вражеские огни» были только светящимися на пнях гнилушками.

Сознаюсь, мне было очень страшно, пока я бежал, ожидая разящей пули эсэсовца, но теперь я негромко выругался по-русски и не потому, что вдруг ощутил всем телом счастье безопасности, а — потому, что мой итальянский сапог окончательно и бесстыдно разинул пасть почти до каблука и, освободившись от всех веревочных уз, злорадно издевался над моим «боевым крещением». На мгновение мне показалось даже, что я слышу его смех. И, чтобы заглушить его, я сам захохотал как можно

*) Конец мира.

промче, и ко мне присоединилась вся разведка. А наш начальник вытаскил свою заветную бутылку и, отхлебнув сам, передал её с неожиданно мелким, катящимся смешком. Мы пили и смеялись. Сапог смутился, замолчал. И я его скрутил снова: на этот раз — ремнем от штанов.

ДВА ФЕРДИНАНДА

Горы, горы, горы...

Хотя и весна, но нам холодно, нам — французским маки.

Сорок шесть французов и я. В хижине очень тесно. Кто лежит, кто сидит, некоторые стоят. В два часа ночи моя очередь идти на дежурство.

В запасе четыре часа. Мне повезло — я лежу, но мне не спится.

Не спится также моему соседу, Морису, плотному и сильному нормандцу, лет сорока. Этот невысокий брюнет переживает душевную драму. В сороковом году он попал в плен и, пробывши два года в лагере, был переведен на сельскохозяйственные работы в Восточную Пруссию. Там в Германии Морис полюбил девушку. Отец её был поляк, мать немка. Девушка работала на том же хуторе, что и он. Все они относились хорошо к нему, и в сорок третьем году помогли ему бежать. Он часто рассказывал мне, я бы сказал — с сентиментальной нежностью, о своей жизни в Германии. Большую роль, конечно, играла в его воспоминаниях эта русая полунемка. В ряды сопротивления он попал раньше меня, в конце сорок третьего года.

Как я уже сказал, нам не спалось и мы шопотом переговаривались: футбол, девушки, различные способы удобрения, авиация, часовые механизмы, лыжный спорт, музыкальные коробки, телеграф и, между прочим, наша жизнь в данный момент... Я относился к Морису с любовью, как к мягкому, всегда дружелюбному человеку, и с уважением — зная, что у него уже большой боевой опыт. Мне непременно хотелось услышать от него о самом знаменательном моменте в его боевой жизни. Я ждал, что он мне расскажет, при каких обстоя-

тельствах он попал в плен, или свои подпольные похождения в рядах сопротивления.

Не тут-то было!

— Самое тяжелое воспоминание у меня связано с Фердинандом. Фердинанд — немец, которого мы взяли в плен зимой сорок третьего года. Ему тогда было 18 лет. Жил он у нас около трех месяцев, и все привыкли к нему и даже полюбили его. Живя в Германии — продолжал Морис — я научился понимать и кое-как говорить по-немецки, но мне трудно было освоить его баварский диалект. Всё же, путая слова, запинаясь, я, в конце концов, узнал кое-что о его жизни. Родился он в северной Баварии, высоко в горах. Родители — зажиточные крестьяне. Было у него два брата, оба на восточном фронте, и сестра. Сестра была значительно старше его. Он часто показывал мне её фотографию. Она вышла за инженера и у нее трое детей. Двое сыновей и дочь. Из последних писем Фердинанд знал, что она работает сестрой милосердия в Ганновере. Из всей семьи он, повидимому, больше всего любил её. Фердинанд жил с нами, делая с нами наши радости и невзгоды. Днем он колол дрова, носил воду, мыл посуду, убирал домик, где мы жили, одним словом — делал всё, что делали мы сами. Единственно, в чём он не принимал участия, — это в набеге на немцев. Вначале его сторожили, а позднее он пользовался совершенной свободой. Да, Фердинанда определенно все любили. На второй день Рождества ему исполнилось девятнадцать лет...

В этом месте рассказа Мориса я увидел вдруг чью-то ногу на своей груди. Я осторожно снял любительницу путешествий и водрузил на место. Владелец её заворочался и что-то промывчал во сне. Это был молодой инженер-горняк из Савойи.

— Ну, что же дальше было с Фердинандом? — обратился я к Морису, но, прежде, чем Морис раскрыл рот, горняк внезапно спросил нормальным голосом:

— Какой это Фердинанд?

— Фердинанд-немец, — ответил ему Морис.

— Ах, немец, а я думал другой Фердинанд. Знаешь? Тот... ну, ты же знаешь, о ком я говорю!

— Знаю, знаю, — неохотно отозвался Морис.

— Другой Фердинанд? — заинтересовался я.

— Другой Фердинанд был чех, и был один из нас. Ему было года пять-десять два-три; он был рыжеват, с лицом, изъеденным оспой, и большим мясистым носом. Ох, этот Фердинанд! Он как раз сыграл роль в жизни... или скорее, в смерти Фердинанда-немца. Или — вернее — мог бы сыграть... Видишь ли... — другим каким-то голосом продолжал Морис — он любил две вещи, любил страстно, как любят женщину...

— Какие же это две вещи?

— Природу и расстрел... Да, он любил смотреть на восход солнца, любил звезды, деревья, словом всё, что относилось к природе. Но, кроме того, он жадно любил расстреливать. Ни один расстрел не обходился без него. Когда осужденного привязывали к столбу или к дереву, когда раздавалась команда — Становись! — Фердинанд обыкновенно уже стрелял. Метил он всегда в одно место: в нижнюю часть живота. Пока несчастный корчился в муках, остальные шесть или семь бойцов неспеша заряжали винтовки. Заряжал с ними заодно и Фердинанд. Потом казнь завершалась...

Да, так вот рождение Фердинанда-немца мы справили весело. Из соседней деревни пришли знакомые, были также девушки. Одна из девушек испекла ему сладкий пирог. Мы со своей стороны подарили ему, что могли. Кто пачку папирос, кто перочинный нож, кто носки и т. д. Под гармонику даже танцевали друг с другом. Фердинанд громко хохотал, был весел, но не хмелел и к общему удовольствию протанцовал баварский танец...

В конце января стали мы замечать резкую перемену в Фердинанде. Ходил он опустив голову, мало разговаривал, даже иногда плакал. На наши

вопросы отмалчивался. А в начале февраля ушел за дровами и не вернулся...

К вечеру подняли тревогу. Через три дня он был пойман и приговорен к расстрелу. Хотя он уверял, что никого из своих не видел, было решено, что место нахождения лагеря в опасности и нужно спешно перебраться. Но сначала должна была состояться казнь. Все наши ребята, кроме Фердинанда-чеха, отказались от этой грязной работы. Вызвали бойцов из соседней группы. Фердинанд-немец попросил нас исполнить его последнюю просьбу: написал письмо своим родителям и сестре, в котором хвалил нас, описал свой побег и приговор маки. Писал он также, что не боится умереть и заклинал не осуждать нас. Его привязали к дереву, он просил не завязывать ему глаза...

Те из нас, которые имели мужество присутствовать при его последних минутах, — плакали. Плакал и я. И мне не стыдно в этом признаться. Мы с ужасом думали, что другой Фердинанд будет развлекаться своим садистическим приемом. Когда раздалась команда — «Становись», — я сделал вид, что поскользнулся, и сбил чеха с ног. Падая и бранясь, он выпронил винтовку, и немного погодя я с облегчением услышал залп. Фердинанд-немец, как нам показалось, даже ранен не был. Он стоял так же прямо, закинув голову. Потом дротнул, дротнул вторично и начал медленно сползать вдоль ствола. Когда к нему подошли, он был уже мертв...

Морис замолчал.

— Ну а письмо-то его отправили в деревню?

— Нет, знаешь, решили не отправлять. Сожгли.

— Сволочи! — процедил я сквозь зубы.

— Да, сволочи, — не поняв, сказал Вэнсан-горняк, оказывается больше уже не засыпавший. — Все немцы сволочи...

Ни Морис, ни я ему не ответили.

Минут через двадцать я встал и, взявши винтовку и ручную гранату,

пошел на пост. Сменив часового, я ходил взад и вперед, и мысли мои были далеко от лагеря. Незаметно пробежали два часа, но не хотелось возвращаться в хижину. Отослав спать обрадованную смену, я остался на посту до утра.

Нарушая правила, закурил. Закурил не обычную смесь кукурузных листьев и сухого конского навоза, а настоящую французскую папиросу, мою последнюю.

Над горами светлело, разгоралось. Близился торжественный восход, а из ума не шел Фердинанд... оба Фердинанда.

ПОЛОН

Ранней осенью 1944 года 7-ая американская армия быстро продвигалась от южного французского побережья к границе Германии. Мой товарищ Уольтер Иогансен, высокий блондин шведского происхождения, пригласил меня в очередную продовольственную «вылазку».

В мирное время Иогансен был фермером в маленьком городке штата Нью-Йорк, Женева, а в военное — одним из трех водителей машин нашего противотанкового взвода. В этих продовольственных вылазках я был обычно переводчиком: американцы терпеть не могли свои пресные консервы и охотно меняли банку бифштекса, слив или апельсинового сока на одно настоящее куриное яйцо; я же проживал во Франции около восьми лет и знал язык.

Мы взяли небольшой грузовик, подъехали к кухонному складу и до отказа набили его всевозможными кухонными консервами. Сержант, пожелав нам счастливой мены и предвкушая французскую водку — мар, до которой был большой охотник и которую я часто доставал в этих рейсах, посоветовал вернуться к часу, так как, по слухам, мы должны были двигаться дальше. Около девяти утра, решив, что у нас много времени в запасе и мысленно послав сержанта ко всем чертям, мы выехали в самом хорошем расположении духа. Обогнув лес, смело двинулись по большаку к

соседней деревне. Пишу «смело», так как мы считали, что неприятель находится от нас на весьма почтительном расстоянии. Нужно сказать, что местное население по своему облику сильно напоминало немцев — высокие ростом, что довольно редко встречается у французов, по большей части блондины со своим странным для меня произношением, они не внушали доверия. Нам велено было останавливать подозрительных и требовать документы: боялись шпионов, наблюдателей и саботажа.

Проблуждав некоторое время по деревне, казавшейся пустынной, мы остановились и спросили мальчика лет одиннадцати, выглядывавшего из-за кучи щебня, не знает ли он, кто хочет получить американские консервы в обмен на яйца, спиртные напитки и кур. Мальчик не успел ответить, как мы были окружены толпой детей, высыпавшей неизвестно откуда; некоторые сразу залезли на грузовик и уже хватали руками консервы.

— Грузовик заминирован и может взорваться в любую минуту, если влезть на него с неправильной стороны, — сказал я, чтобы спасти наши запасы.

— А какая сторона правильная?

Я ответил, что это военная тайна. Слова явно произвели впечатление. Поставив двух «часовых» из детской толпы, мы направились к приземистому дому, на который нам дети указали, очевидно, местного кулака. «Часовые» были страшно горды оказанным им доверием и, несмотря на отсутствие у них смертобойного оружия (одному дана была простреленная каска, другому — холостые патроны), заверили меня, что будут защищать грузовик до последней капли крови.

В доме нас подозрительно и недружелюбно встретил высокий старик. Одет он был очень неопрятно, а бороду, вероятно, не расчесывал уже несколько месяцев. Выслушав причину нашего визита, он объявил, что ничем помочь нам не может, так как, отступая, немцы у него забрали все дочиста: он беден теперь, как церковная мышь. Зная психологию француз-

ского фермера, я вряд ли прогадал, сказав, что мы постараемся жестоко проучить немцев и за прекрасную Францию, и лично за него. Дав ему папирос и несколько банок с консервами, мы сделали вид, что уходим.

— Подождите! — окликнул он нас тогда. — Куда же вы? Выпейте со мной стаканчик вина. У меня, кажется, еще есть последняя бутылка.

Мы уселись у круглого стола.

— Мари, принеси вина!

Вошла Мари, его дочь, девушка выше среднего роста, блондинка с завидным румянцем на щеках. При виде её Уольтер заехал на стуле, и мне показалось, что он даже стал облизываться, как кот. Мы оба встали и приветствовали её, поднеся руку к каске. Она сверкнула на нас сахарными зубами...

Бутылку распили. Мари принесла еще одну, потом еще одну. Потом на столе появились мар, коньяк и сидр домашнего производства. Взяв у старика объемистую корзину, я попросил Уольтера принести из машины консервов. Мари, как хозяйка дома, поставила на стол жареную утку, свиной студень, маринованные грибы. За ними теснились бутылки, бутылки... Бедный Уольтер что-то мычал Мари по-американски, думая, что говорит по-французски.

Потом появилось невероятное количество людей — какие-то Роже, Морисы, Жаны, Эмили, Шарли, Адлены и т. д. Вся эта публика оказалась «кузенами» старика.

Нужно сказать, что у французов «кузены» доходят до Адама и Евы, а настоящие двоюродные братья-сестры называются «кузен жермен».

Всё дальнейшее проходило как бы в тумане: «кузены» рассказывали свои военные похождения 1914 года, показывали свои раны, демонстрировали штыковые приемы против врага и пили, пили, пили... Надо ли говорить, что все речи обращались к нам?

Помню, я несколько раз объяснял им, что мы, собственно говоря, приехали с целью обменять консервы на продукты. Роже, Морисы, Жаны, Эмили, Шарли и Адлены, выслушав

эти объяснения, куда-то уходили и потом опять появлялись, таинственно похлопывая то Уольтера, то меня по плечу. Стало смеркаться (может быть был пасмурный день) — и я вдруг вспомнил о нашем сержанте и решительно встал.

— До свиданья, — «Ноев Ковчег», — твердил Уольтер, маша своей каской Мари. Он почти падал, а я, как ни странно, чувствовал себя свежехоньким. Выдав «часовым» по десяти банок консервов и спихнув остальное содержимое грузовика «кузенам» прямо на мостовую: гора преизрядная, — я сел за руль, так как Уольтер, восхваляя во всеуслышание красоту Мари, размахивал уже двумя (и моей также) касками.

Под нестройные крики дружбы и приглашений двинулись мы в обратный путь. Выехав за деревню, я остановился в недоумении: куда ехать? Мне казалось, что проехав километров пять и свернув потом налево, мы выедем как раз к нашей части. Уольтер промывчал свое особое мнение. Он, заплетаясь языком, объявил, что так как мы опаздываем, то чем ехать километров пять в объезд, нам проще сократить путь через картофельные поля напрямиком. Мне это показалось тоже логичным. Круто повернув налево, я въехал на картошку.

Мы подсказывали на бороздах, проваливались куда-то и опять подсказывали, однако, наш грузовик был, по видимому, вездеходом. Издалека какие-то люди в гражданской одежде кричали и, кажется, грозили нам...

Было очень темно. Начал накрапывать дождик. Наконец, выехали мы на какую-то дорогу. Через несколько минут я увидел идущую нам навстречу фигуру. Я остановился и, как можно вежливее, спросил, как проехать в наше местечко. Фигура выслушала мой французский вопрос и ответила на ломаном французском языке, что не понимает. Потом, посмотревши внимательно на меня, фигура произнесла: „Mensch, du bist doch ja ganz besoffen!“ Только после того, как я сознался уже на берлинском диалекте (вот когда пригодилось это знание),

что действительно выпил, я заметил, что передо мной был очень молоденький немец, который пока что не понимал, что мы ему враги. Еще раз довольно дружелюбно поглядев на меня, он сказал: — в местечке, куда вы собираетесь ехать, кажется, стоят американцы.

— Ну что вы! — быстро возразил я.

— Как хотите, — сказал он, — у меня есть часа два времени, могу вас туда провести.

Сообразив, что если мне удастся доставить этого немецкого мальчика к нам в лагерь, я этим сильно уменьшу вину нашего опоздания, я быстро согласился. Сказавши, что я пьян, как фортепьян, и не могу управлять машиной, я уступил ему руль, и мы двинулись дальше. Уольтер блаженно храпел в углу кабинки — я набросил на него брезент.

Немец вел машину смело и уверенно, но темнота поглощала всё его внимание. Он несколько раз заводил разговор, в какой немецкой дивизии я состою, но мне всегда удавалось переменить тему.

Наконец мы вкатили в нашу деревню (до нее оказалось километров десять). Часовых не было, или они не обратили на нас внимания. Подъезжая к нашей освещенной палатке, я сильно волновался, чтобы немец в последнюю минуту не подвел, не сбежал бы. Но он и не подозревал подвоха. На шум нашей машины из палатки вышло несколько человек, в том числе наш сержант. Перешагнув через мирно спавшего Уольтера, я выскочил из кабинки.

— Что за чорт! — начал было сержант и замолк, увидев немца. Немец некоторое время смотрел на него в недоумении, я видел, как он несколько раз вопросительно моргнул, потом схватился было за кобуру, но сержант перехватил его правую руку и успокаивающе сказал:

— It's all right, boy, you'll be O. K.

Немца куда-то увели. Тогда сержант взглянул на меня. Он не знал, как себя вести, но на всякий случай, чтобы не подорвать своего авторите-

та перед подчиненными, накричал на меня.

Меня мучила совесть... Нет, не за то, что я опоздал, а за то, что неожиданно и как-то нечестно взял в плен немецкого мальчика. С другой стороны, я знал, что он, благодаря этому полону, спасся, будет цел и сыт и после войны вернется к своим родным. Уольтера вынесли из кабины, положили на землю, и он продолжал мирно спать. Я зашел в палатку, выпил крепкого кофе, и кто-то — кажется сержант или лейтенант — что-то у меня спрашивали, я что-то отвечал, а затем незаметно для себя заснул там же...

На утро томила страшная жажда. Выпив несколько кружек воды, я начал умываться, когда ко мне подошел сержант: — Тебя и Уольтера к девяти часам утра вызывает полковой командир. Побрейся и good luck to you.

В половине девятого подъехал джип с двумя полицейскими, которых в тылу звали «подснежниками» за их белые каски, и мы с Уольтером, дрожа и нервно зевая, тронулись в путь, столь отличный от вчерашнего.

Командир полка находился в десяти километрах от нашего местечка. Вход на ферму, где была штаб-квартира, охранялся тоже двумя здоровенными подснежниками, которые лениво жевали резину. Они равнодушно впустили нас без эскорта, и через минуту мы очутились лицом к лицу с командиром. Это был человек лет сорока двух-трех, с усталыми глазами, ладно сложенный, расположенный к полноте. Дверь за нами захлопнулась. Мы стояли ни живы ни мертвы, вытянувшись в струнку. В течение нескольких секунд командир ел нас глазами, не произнося ни слова. Затем, очень медленно, сев за стол, сказал: „Well“.

Мы молчали. Вдруг он стукнул по столу и закричал: «Да вы знаете, чем грозит вам ваша дурацкая отлучка в военное время?»

Мы молчали. Он опять впился в нас взглядом. Потом, взяв со стола лист бумаги, начал что-то громко читать. Кажется, это был чей-то рапорт. Кто-

то доносил: «... такой-то дивизии... полка... сентября 1944 г. капрал Уольтер Иогансен... и русский пулеметчик-переводчик с разрешения их сержанта в девять часов утра выехали в соседнюю деревню для получения военных сведений у местного населения. Капрал Иогансен, как один из шоферов взвода, управлял грузовиком. Отпущенное этим двум солдатам на разведку время предполагало их отсутствие около четырех часов. В девять часов вечера появился их грузовик, управляемый немецким лейтенантом Хуго фон Клуте такой-то немецкой дивизии. Капрал Иогансен мертвецки пьян, а русский еле держался на ногах. Грузовик был обрызган кровью».

При слове «кровью» командир вновь испытующе посмотрел на нас. «Кровь! — подумал я. — Откуда же кровь?» В моей трещащей голове с бешеной скоростью неслись мысли, одна другой романтичнее, я бы даже сказал: торжественнее. Очевидно, возвращаясь из деревни, мы попали в засаду. Десять, нет — двадцать, нет — пятьдесят немцев из-за прикрытия открыли ураганный огонь. Но мы с Уольтером перебили всех и взяли в плен их лейтенанта. Да, но чья же это кровь? Мы подорвались на mine, машину перевернуло... Но кто же тогда мог поставить её на колёса? Немцы, что-ли? Что за чушь... — Кровь! — Может быть, Уольтер ранен? Или я? Стоя смирно, руки по швам, я ощущал свои бедра. Кажется, ничего. Бедро, как бедро. Локтями я попытался ощупать ребра. Благодаря американскому пайку, их трудно было найти, но всё же мне показалось, что я чувствую одно или два ребра. Как будто и они были в порядке. Я с опаской покосился на Уольтера. Он стоял так же как и я, вытянувшись в струнку и слегка покачивался, как бы от сильного ветра. — Ага, подумал я, он контужен... Впрочем нет, покачивание скорее от угощения кузенов... — Тут мысли мои были прерваны голосом командира, продолжавшего чтение: «Примечание: при осмотре грузовика в нем нашли: — од-

ного теленка, двух свиней, восемь гусей, четырнадцать уток, две дюжины кур и некоторое количество вина и спиртных напитков. Кровь оказалась вином, вылившимся из разбитой бутылки...»

— По моим сведениям, — сухо сказал командир, — винной батарее хватило бы на неделю для победной выпивки роты солдат. Даже американской роты... — Положив донесение на стол, он на мгновение задумался и неожиданно улыбнувшись, произнес: «Ладно». Потом, пошарив под столом, достал бутылку американского виски.

— На этот раз пронесло, но впредь... Немецкий лейтенант оказал нам и вам тоже большую услугу... За что вы хотели бы выпить?

Уольтер ответил было трафаретом: за победу, мол, идеалов над тиранией, но командир поморщился.

— Нет, не то — это мы знаем. А за что бы вам особенно хотелось сейчас выпить, очень хотелось бы, одним словом...?

Уольтер нахмурился, надулся и мне казалось, что я даже слышу, как он думает. «За Мари!» — ответил он, наконец, покраснев.

Полковник чокнулся с ним и объяснил, что хотя и не знает Мари, но думает, что это стоящий тост.

Пришла моя очередь. Зная, что слова о победе и мире его не удовлетворяют, я молчал и бессмысленно улыбался: — Знаете что? — произнес полковник, — выпьем за картофельные поля!

— Ну да, — объяснил он в ответ на наши вопросительные взгляды, — за картофельные поля, которые сокращают путь, — и подмигнул.

Мы оживленно выпили, потом выпили за крестьян, потом за деревню, потом еще и еще...

Возвращаясь в часть, мы упрашивали подснежников вторить: мы орали «Лили Марлен».

Когда мы соскочили с джипа, раздался залп, другой, третий...

Сквозь деревья увидели мы десятка два наших товарищей, стрелявших вверх. «Самолеты», мелькнуло у меня в голове. Но почему все стоят во

весь рост, без всякого прикрытия, а не бегут врассыпную, как мы обыкновенно поступали? Вот сейчас услышу я страшный, нарастающий визг пикирующего самолета. Сейчас, как сорвавшиеся цепные псы, залают пулеметы. Почему мне не страшно? Потому что я герой, или, может, это просто действие виски? Тут к нам подбежали бойцы. Они каким-то образом уже знали о результате нашего дела. Это был салют в нашу честь. Нас окружили, каждый считал своим долгом похлопать нас по плечу. Не знаю, как Уольтеру, но мне основательно намяли бока, а плечи горели, как будто

я провел целый день на пляже французской Ривьеры.

Потом нас усадили на ящики с боеприпасами и взводный с сержантом прислуживали нам. Нас поили, потом кормили, потом опять кормили, поили, поили, поили... В большую солдатскую кружку наливалось вино, мар, спирт, коньяк. Словом — «коктейль».

Потом... если бы все пушки нашей и вражеской артиллерии оказались в десяти шагах от нас и совместно вели ураганный огонь, я очень сомневаюсь, что они смогли бы разбудить двух спящих солдат.

СОЛНЦЕ ВСЕ ЖЕ СВЕТИТ

Р О М А Н

Часть вторая Б Л О К А Д А

14.

Две сестры

Занятия прекратились — временно, как сказал директор. Но «ударная работа» в Доме техники продолжалась с «большим патриотическим подъемом». Дмитрия и Сашу администратор обычно погонял с грузовой машиной — грузчиками. Он так и сказал.

— Я прикрепляю вас к машине.

— Еще один крепостник нашелся, — ругался Саша, — мало таких было и есть на Руси! — но в кузов прыгнул охотно: назвался, мол, груздем.

Из двора Дома вывозили всякий хлам, а в Дом везли горючее, баллоны с кислородом, бутылки со спиртом, смазывающие масла и прочую промышленную снедь. Иногда — о, это бывало так редко, — с величайшими предосторожностями возили ящики с конфетами и печеньем для служащих Дома.

Взволнованные пружинки выпускали драгоценную ношу из дрожащих рук — и падали ящики, и лопались с треском по швам, и высыпалось из них. Что высыпалось — расовывалось по карманам. Потом ящики забивались, уже дома — в Доме. Попадая в район обстрела, машину бросали на производ снарядов.

— Вот, допустим, попали осколки или даже снаряд в ящик с конфетами. Что тогда? — спрашивал Саша шофера.

— Я понимаю, на что вы намекаете, — отвечал шофер, — брать

конфеты горстями — этого нам мало: мы хотим целыми ящиками списывать их за счёт Адольфа. Но я не позволю этого, потому что с этим нельзя шутить. И вправду накаркаем снарядик на свою полтову.

— Что за предрассудки, — возмущался Дмитрий, — темный вы человек, дядя Миша.

На многих улицах и проспектах еще с лета устроенные баррикады-завалы мешали движению. В узких проходах, оставленных для трамвайных линий, автомобили то и дело попадали в «пробки». Поэтому, где удавалось вырваться на простор, шофер отводил душу, давая полный газ. Но однажды на широкой набережной Обводного канала, где можно было «газовать с ветерком», он резко затормозил напротив Балтийского вокзала.

Через площадь напрямик бежала девушка. Дмитрий едва её узнал. Это была Тамара. Она как будто выросла, да еще была в высоких милиционерских валенках и мужском полушубке. От быстрого бега и волнения она не могла говорить, но бледное похудевшее её личико сияло. Шофер во-время вылез из кабины, чтобы подхватить её на лету, сказать ласково:

— Ишь какая ласточка к нам прилетела, — и посадить в кузов. Саша растопырил руки, больше растопырил глаза: влюбился с лету — скажет он потом, но она даже не взглянула на него.

— Какой хороший дядя шофер, — начала она, никому не дав опомнить-

ся, запыхавшись, речитативом, — я еще на углу вас заметила, на повороте, и побежала следом, и кричала, как резанная, а вы совсем не слышите, словно оглохли.

— От твоего же крика, наверно... Немудрено и...

Но она «осадила» Сашу:

— Вы давно со мной на «ты»? На мой взгляд, мы с вами не знакомы.

— Я — Саша.

— А я — Маша. Так вот, что я хотела сказать? И как не стыдно, Митя? Столько дней глаз не кажешь. Я и в Институт бегала, а он уже сгорел. Пришла домой сама не своя...

— Значит будешь чья-то! — многозначительно заметил Саша. — Мы же можем спорить только от любви и любопытства.

— Ха, «чья-то». Лишь бы не ваша! На чём я остановилась? — Она озабоченно топталась в своих метровых валенках, что-то хотела сказать, но не решалась.

— Что умолкла, красавица? — спросил Дмитрий.

— И никакая я не красавица, а только я хочу сказать, что мы очень тебя любим и хотим, чтобы ты к нам пришел. Я хочу, чтобы си-час-же.

— Но это невозможно. Я же работаю.

— Нет. Именно си-час-же. А то опять не придешь. Знаем мы вашего брата! — и она умоляюще посмотрела на шофера.

Хороший дядя шофер согласился:

— Иди уж, чего там, только послезавтра приходи.

— Но мне кажется, дяденька, послезавтра же праздник?

— Какой еще праздник? — мрачно спросил Саша.

— Октябрьский, вот какой.

— А-а...

— Вот вам и а-а-а? Приходите к нам в гости.

— Обязательно! — вскричал Саша. — Меня тоже можно полюбить. Меня нужно полюбить именно такой красавице, как ты-вы. Специально приеду. Дядя Митя, подать блокнот. Адрес. Фам-имя. Год-рожд. Что-о? 1925? Ма-

ма, купи мне гроб. Я старею на почве недоедания...

*

Дмитрий едва поспевал за Тамарой. Три месяца полуголода давали себя знать. Тамара, в высоких милиционерских валенках, оскользаясь на ходу, летела, как на крыльях. И болтала без умолку.

— И не стыдно тебе, Митя, так почти навсегда — забыть о нас, бедных сиротах?

— Да на окопах же пропадали...

— И неправда. Ваши окопы давно уже немцы забрали.

— Новые копали.

— Только не вы. И вообще, на мой взгляд, окопы теперь никто не копает.

— А как же без окопов? Чем немцев держать?

— Да ничем. Уперлись они, как бараны, лбом в стены города и стоят. Ждут, когда мы сдадимся. А только не дождутся, басурманы.

— Смешная ты девочка. Это же татар так называли — басурманами.

— Ну не стану я разбираться. Какая разница?

— И про какие стены ты говоришь? Стен-то никаких нет. Это ты, наверно, в средневековых романах вычитала.

— Не читала я таких романов. В газетах пишут, что враг остановлен у стен города. С меня этого достаточно.

Всю дорогу она шарילה по карманам.

— Всегда так: дойду до дому, стану, как немцы у стен города, и — и хоть лбом дверь вышибай — не могу ключа найти. Митя, полапай меня, ты скорее найдешь. Ах, вот он.

В комнатах было тепло и чисто. Пол застлан половиками, окна забиты и завешены какими-то приличными дерматидами ширпотребом.

А на столе лежал кусок хлеба. О нём даже нельзя сказать, что он лежал. Он стоял — этаким краеугольным, жизнеутверждающим, с вызывающим видом — видом, вызывающим условный рефлекс безусловного голода. Как у подопытной собаки

Павлова: течет слюна (слюнки текут), и кажется, что выделяющийся желудочный сок беспечно бросается в голову — и кружится голова, и в глазах мутится.

— Как у вас тепло и уютно, — сказал Дмитрий, стараясь не смотреть туда. Отпалкиваясь от тонких стенок желудка, алчный сок, вероятно, уже бросился в голову — полную им, куском хлеба, думающую только о том, как бы его...

Тамара сказала:

— Тепло — потому что дрова воюем у соседей, а уютно — от тепла. Только дров у соседей хватит ненадолго: ни на войну, ни на нас они не рассчитывали.

Она долго что-то искала в «нерабочей» комнате, премия стульями. Потом вышла и торжественно преподнесла пачку папирос «Беломорканал»: — Твои любимые. Я это твердо знаю, — пропела она. Это были слова популярного романса.

— «Слова любви сто крат я повторю». — Это уже откуда-то со двора: побежала зачем-то к соседке.

Он закурил. Кусок хлеба не гипнотизировал его больше. Он хоть и поглядывал на него, но отстраненно. После махорки и местного краеведческого самосада папироса знаменитой фабрики имени Урицкого тоже способна была затуманить мозг, но не больше, чем на две-три минуты, и сразу же прояснить его, успокоить волны голодных мыслей так, что от них останутся только легкая зыбь, рябь, барашки на поверхности уже ясного и твердого ума, способного даже к насмешке над самим собой.

Недаром многие заядлые курильщики отдавали свои пайки за папиросы... Дмитрий, улыбаясь, так и сказал себе: «Допустим, что я променял тот кусок хлеба, что на столе, на пачку папирос, что у меня в кармане».

Он осмотрелся: убогая, полуторговская-полудеревенская обстановка полупрошлого-полунастоящего русско-го быта. Шкаф, комод, буфет, стены и потолок — всё было в трещинах.словно сама жизнь и весь уклад жизни — дали трещину. Как в торьковской предреволюционной Рос-

сии: «Потеряла кибитка колесо». Может быть и теперь. К старому возврата нет и не будет? И не надо? Россия еще не сказала своего решающего слова (в этом смысле её вековая отсталость — ей же наружу) — она еще только начинает его выговаривать.

«Я озираюсь тут, как затравленный зверь, попавший из холодного темного леса в теплую будку лесничего», — подумал Дмитрий. На полке он увидел несколько книг. «Русский чудовождь Суворов», «Севастопольская страда», «Первая любовь, или дикая собака Динго», «Что вам приснилось?» (сонник). Такой сонник и приснится многим. «Княжна Нина». Мало одной княжны Нины — «Княжна Джаваха» — того же автора — Л. Чарской. «Чарская... Черская, Тоня — вспомнил Дмитрий. — Где ты?».

Оглушительно хлопнула дверь, вбежала Тамара.

— О чём задумался, детина? Не побежать ли мне к сестре, не сказать ли, что ты у нас? Или, как говорят, пусть это будет для нее су-приз.

— Да, пусть будет сюрприз.

— Вот и хорошо. Всё равно ты останешься у нас навсегда.

«Кудахватила: навсегда... Тут хоть бы дал Бог блокаду пережить», — думал он.

— А я вот щи разогрею вчерашние. — звенела Тамара над плитой. — Раньше я боялась одна дома сидеть, ходила в одну столовую обедать, но два часа ждать — две минуты есть, — это мне не понравилось.

— А щи-то из чего?

— Знамо дело, из капусты. Я недавно килограммов восемь достала.

— Где? Каким образом?

— Где? — за Володарским мостом, и очень простым образом: за хлеб. И валенки там же, не подумайте плохо; не с милиционера сняла, а сам он снял за полкилограмма хлеба. — И она куда-то убежала, хлопнув дверью.

Дмитрий призадумался над тем, что не раз удерживало его от желания пойти к сестрам. «Подумают, специально пришел, чтоб поесть. Видно, они не голодают: Нина выгадывает на работе кусок хлеба — как раз тот,

который я и буду у них отнимать, если останусь... Но чёрт возьми, какими вкусными должны быть эти щи»...

За дверью заворковала Тамара:

— Да, милая моя, сижу целый день одна, как дурёха. Тощица-ужасть, какая.

Другая, не тамарина рука открыла дверь: мягко и легко и уверенно. Тамара, дурачась, пищала:

— Митя, родненький! Сколько лет, сколько зим! А мы тут все глаза проплакали...

Нина ничего не сказала. Зато она улыббалась какими-то радужными дольками глаз: для себя — радостно, для него — добродушно лукаво: чем бы ни оправдывался «пропащий», всё равно не поверит, но не будет сердиться.

— Здравствуй, золотистая, — сказал Дмитрий, пожимая ей руку. И сам удивился той несвойственной ему ласковости и самому этому слову — «золотистая», — словно оно было вытолчено сердцем мягкими, неуверенными толчками: не слишком ли, мол, нежно? «Сердце, сердце, что ж ты бьешься так ровно, — думал он, — ведь если быть фаталистом и верить во всякие неизбежности в жизни, так вот она, девушка, которую я должен любить. Любить — это врываться в чужую жизнь, легко или мучительно осваивать её, а то и совсем присваивать. Ворвемся, сердце? Кто сказал, что любить можно только раз? Любить можно столько, сколько позволяет судьба или её своенравный адъютант господин-случай?..»

— Ну хорошо, пусть Нина будет золотистая, а какая же я? — спросила Тамара.

— Ты — голосистая.

Завыла воздушная тревога.

— Эта еще голосистей, — заметила Нина.

Сестры устремились в «безработную» комнату, притащили оттуда узлы и сели на них, уж и когда успели. одетые, укутанные в платки.

— Чего же вы сидите? — спросил он.

— А ждем, — ответила Нина. И Тамара пояснила:

— До первой бомбы, значит, или снаряда. Как трахнет близко, вздрогнет наша хибара, и мы с ней. И пикируем в свою нору — видал траншеи во дворе? — со скоростью, еще не установленной. — Во всяком случае, дверь никогда не успеваем закрыть. Приходим обратно — холодища страшная. И снова ждем, не прилетит ли еще. Если нет — идем по соседские дрова. Это неопасно: соседи всегда крепко спят во время тревоги. И мы начинаем пить чай. Кончаем иногда через несколько часов, если снова налетит. Потом — или поругаемся для порядка, или карты на него бросим: придет или нет.

— На кого же это?

— А когда на тебя, когда на немца.

— Ты опять на «ты»? — строго спросила Нина.

— Мы — на «мы», — пора бы знать это раз и навсегда.

— Смотри, чтобы не было раз — и навсегда.

...Затрепали зенитки, умолкли сестры. Сперва едва слышный, постепенно нарастает и приближается гнетущий, надсадный рокот. Тяжело ползут по небу машины смерти. Угрожающе ворчат их моторы, иногда сбиваются с такта, словно поперхнувшись воздухом чужого неба, и снова рывками тудят еще ближе, еще неотвратимее. Кажется, может быть, и на самом деле так, что они уже над головой. Сестры истово крестятся и неистово шепчут:

— Пронеси, Господи.

Самолеты идут волнами. Несколько волн проходит по небу и по сердцу. Несколькоими волнами приливает горячая кровь к сердцу, чтобы отхлынуть от него похолодевшей.

А вот иной, свистящий, звук — один, другой, третий, — со всех сторон. Это плети ненавистного навесного артиллерийского огня взвились над городом. Это погонщики войны гонят на город новые стада снарядов. И поднимаются бессильные перед ними голубые дамокловы — на свою же голову — мечи прожекторов.

— Слава те, Господи; пока свистящие.

— Не дай Бог, колья шипящие.

«А еще хуже хрюкающие и визжащие» — думает Дмитрий. Неблизкие разрывы слегка сотрясают домишко. А над плитой реет аромат щей. Кажется, он реет и над всей этой сложной воздушной тревогой, густо пересеченной артиллерийским огнем. Он выше всего и сильнее всего.

В черных платках-шалашиком прижавшиеся друг к другу сестры так похожи на монахинь, что Дмитрий не выдержал, рассмеялся.

В редкие промежутки затишья не умещается сигнал отбоя, артиллерия методично, по снаряду в 5 - 10 минут, садит куда-то. Остервенело лают зенитки — сторожевые псы военных объектов — на потомков псов-рыцарей, летающих в небе.

Сестры шепчут совсем по-старушечьи молитвы, выученные с детства в исконно русской деревне, полузабытые. Переругиваются, поправляют друг друга:

— Как и мы отпускаем должников наших.

— Дура неумная. Надо: должником нашим.

Наконец, на небеси как-то сразу стихает. Последний, быть может, заплывавший вражеский самолет уходит из черты города. Опускается тишина, обволакивая, как паутиной, квартал за кварталом. И вот её разрывает в клочья и снова наполняет суетой радостный, чистый звук отбоя, вырывающийся из воронок радиорепродукторов.

— Снова живем! — говорит Дмитрий. — Вашему району сегодня повезло: ни одной бомбы, ни снаряда.

— Почему «вашему»? — Нина посмотрела на него с укоризной. — Митя, оставайся с нами... Мы так хорошо чувствуем себя, когда ты у нас. Не знаю, как Тамара, но я сегодня почти не боялась.

— Только сидела, как истукан, — заметила Тамара. — Но это правда, что не особенно боялась. А ведь ты делаешь так, — она широко расставила ноги, подняла руки кверху и кинулась в другую комнату с истошным воплем:

— Господи, Царица Небесная! Да где же мои лохмоточки?

— Ты забыла, как под кроватью пролежала пять часов? Ползла, будто за вещами, да так осталась там от страха.

— Так это ж была чуть ли не первая бомбежка...

— Пусть хоть последняя. Всё равно ты трусиха. Подавай-ка лучше щи на стол. Митя, так ты оставайся с нами, правда?

— Да останусь. Мне с вами тоже не страшно.

Аромат щей и сами щи приблизились к самому его носу и заставили забыть обо всем на свете, кроме голода. «Будь, что будет», — решил он. — Я только человек, который живет только один раз, а за этот один раз разве успеешь понять, зачем живешь на земле! И какой земле? — принимающей на себя столько раскаленной муки! На земле-героине, земле блокады. И вот на этой земле и проносится теплое, животворящее дуновение легкого сногшибательного щийного ветерка. И я, как изголодавшийся пес, жадно его вдыхаю. Но вдыхать мало. Это поэзия сытых — вдыхать и вздыхать. Надо жрать, чтобы не издохнуть. Именно жрать! «Кушать» — это слишком мягко и кажется не совсем по-русски, «есть» — грубее и определеннее, и чисто по-русски, но «жрать» — это по-звериному просто и жизненно...

Обжигаясь, он ел быстро. Хлеб (тот самый краугольный кусок весь достался ему) крошил в суп — так теперь все ели: нравилось, как кусочки хлеба, увеличиваясь, разбухали на глазах, но совсем раствориться им не давали, чтобы было что «подержать» зубами.

Сестры, переругиваясь, будто не замечали такого необычного у них оживления за столом. Русские женщины гораздо деликатнее и психологичнее мужчин.

После ужина (был уже час ночи) Нина распорядилась:

— Я сплю на кухне, потому что встаю рано, чтобы никого не беспо-

коить. Митя в моей комнате, Тамара — в бывшей безработной.

Когда все улеглись, снова взвыли гудки, но как-то недружно.

— Это тревога холостая, как я сама. Всё равно нипочем не встану, — сказала Тамара.

И правда, вскоре дали отбой. Дмитрий долго не мог заснуть, словно всё тело было взволновано долгожданной и неожиданной сытостью.

«Кто это из наших полуклассиков ненавидел шипящие звуки? — Батюшков. Что бы он сказал на моем месте об этих щцах? — думал он.

Вот Тургенев, очевидно, любил щи всех видов и подвидов: «Степка, хочешь щец? — писал он...»

... Скрипнула дверь и вошла Нина.

— Холодно спать одной, — шепнула она.

— Наконец-то я могу спать спокойно, — бормотала Тамара, засыпая.

Нина, прильнув к нему теплым, уже родным горячим телом, прошептала в блаженную тишинную тьму:

— Спи, дура неумная.

15.

Октябрьский праздник

Над свежее испеченными в пожарах развалинами повисли красные флаги, беспомощные в безветрии, неяркие в свинцовом небе, непраздничные в хмуром городе. На площадях слышны военные марши: репродукторы «отрывают» вздох, словно спешат вытрубить свою патриотическую форму выработки, пока с неба не грянет другая музыка.

Канун праздника. Вернее — праздник, потому что почти все празднуют сегодня, чтобы обмануть немцев: на завтра ожидаются от них гости и поздравления. Ни парада войск на Дворцовой площади, ни демонстрации не будет. Вот так и празднуют заранее. Теперь всё нужно делать лучше сегодня, чем завтра.

Рабочие получают по литру портвейна или коньяку, служащие и учащиеся по пол-литра, а все остальные стоят в очередях за пивом: пенсионеры, инвалиды, но больше старухи и

дети. Дети жуют шоколад — получили по одной плитке.

Пиво тоже по карточкам, на объявленные талоны. Те, кто раньше его не пил, теперь тоже мерзнут в очередях. Раз дают, надо брать, да можно и променять на хлеб тем, кто умеет, выпив пару литров, кое-что почувствовать и кое о чём забыть. Знатки утверждают, что качество пива насколько не ухудшилось: «Степан Разин» не подкачал. Почти все берут сразу на несколько карточек, поэтому стоят в очередях у киосков с ведрами, как у водокачек... Переругиваются. Смотрят в небо. Прислушиваются. Редкие трамваи несут в себе тоже ведрное громыханье.

Очереди за папиросами еще длиннее, чем за пивом. Стоят больше мужчины. Много военных. Раньше военным всё было без очереди. Теперь они сами понимают: все стали военными. Больше того, ленинградцы уже входили в легенду, творимую не в «Совинформбюро», а в самом народе по всей стране, в великом и огромном русском народе, чутком к мукам и подвигу.

Слухи о залитом кровью городе дошли до фронта, близкого, но всё же иного мира. Уже все знают, что в городе кула хуже, чем на передовой: голодной, безвыходной, незащитней. Безнадежный Ленинград, отрезанный немцами от Большой земли, свои хотели отрезать и от его родного фронта. С тех пор, как саночки открыли навигацию, отпуски в город фронтовикам были запрещены. Но штабные работники и военные корреспонденты, ежедневно наезжавшие в город по долгу службы, по долгу совести не могли скрыть правды от своих фронтовых товарищей.

О голоде в городе армия узнала не сразу, как не сразу пришел он сам. Скрип детских саночек, злоебный и скорбный, чудился на фронтовом снегу всем — и генералам, и солдатам. Армия содрогнулась, но осталась стоять на месте: была еще крепка, не хуже других, а духом сильнее.

Ленинград еще так недавно бывший направлением главного удара

всей войны, сдавленный теперь буль-дожьей хваткой блокады, остался как будто в стороне. Сердцем войны стала Москва — вечная соперница.

Осажденный понял: теперь не до него. Он оставлен один на произвол остервенелой немецкой артиллерии. Он оставлен один перед лицом голода и холода — врагов, страшнее немцев. Он остался один, потому что не нужен был больше командованию, а если и нужен, то лишь как стратегический тупик.

А жители были осуждены на гибель. Вот и стоят они в очередях, мерзнут, терпят. Жить-то хочется. Вот и мечутся они с Петроградской стороны на Выборгскую, с Нарвской заставы на Московскую, с Карповки на Охту, — и со всех сторон они везут и их везут — на саночках — на кладбища: Волково, Митрофаньевское, Смоленское, Преображенское, Богословское, Новодеревенское — мало ли их?..

Не нужен был больше Осажденный командованию, а может быть и самой войне, зато смерть от него не отказалась.

...На Нарвской площади праздничное оживление. Она окаймлена очередями: на случай обстрела люди жмутся к стенам домов. Ей последние дни везет: она как будто вышла из полосы обстрелов и бомбардировок.

Но это только на время. Она еще не раз зальется кровью. Путиловский завод, комбинат «Красный треугольник», Балтийский вокзал — невыгодное соседство. Впрочем настало время, когда военные объекты перестали существовать для противника: сапжисты-артиллеристы сажали куда попало, лишь бы по городу.

Из разбитых окон Дома культуры имени Горького кустиками выглядывают флажки. Красные, конечно. А рядом — потрепшему высятся Сталин. Обутлившийся, черный от копоти. Пугало? Символ неудачной войны?

Счастливицы с полными ведрами пива останавливаются, размышляют вслух:

— Ишь, дьявол, какой ловкий, уцелел, а?

— Чорт усатый!

— Он так и немцев проведет, погодите.

— Он себе и в ус не дует.

— Это ему еще возжа под хвост не попала.

— Пуцай стоит, всё одним ероем больше будет.

— И без него справимся!

Ленинградцы, сами того не замечая, привыкли говорить, что вздумается. Куда девались сексоты? Конечно, эти служилые люди остались в городе, но их «литературный материал», очевидно, не интересовал больше начальство НКВД, само значительно поредевшее с началом блокады: кто улетел в Москву, а кто и на фронт пошел. Не всё же своих стрелять, иногда нужно и немцев. В Ленинграде не было уже ни смысла, ни возможности выполнять главную галерную миссию НКВД: не самолетами же возить людей в концлагери.

О чём говорят в очередях? Вот очередные слухи и сплетни:

...Маршалы Кулик и Шапошников сброшены с десантными армиями на помощь Ленинграду. Но скептики утверждают, что Кулик попал в болото и сидит, похваливает его, а Шапошников не успеет и к шапошному разбору... Прилетал в Ленинград Сталин. Ворошилов требовал у него немедленной помощи, или сдать город, чтобы не губить ни его, ни жителей. Сталин отказал. «Ты — кавказский ишак», — сказал ему Ворошилов и дал по морде. За это незадачливого маршала и отставили от командования... Есть на Васильевском острове старушка, точно предсказывающая, какие улицы и когда будут бомбить или обстреливать. Но скептики замечают, что этой старушке верят обычно тоже только старушки. Часто можно видеть, как по всем линиям острова, как говорится, туда-сюда и обратно тихонько влекутся они с узелками, крестяся и, охая... После блокады всем жителям обязательно выдадут жалование,

считая каждый месяц блокады за год... Скоро прибавят норму выдачи хлеба — не вечно же можно жить на 250 гр. в день... Скоро бросят с самолетов сотни тысяч тонн витаминных концентратов, рыбьего жира и глюкозы... А самое главное: все-все говорят! — что к Новому Году блокада будет прорвана — и запируем на просторе!

*

Но Москва слезам не верит, а Питер — слухам.

— Как женщина, я, на мой взгляд, считаю, что все это бабы сплетни, — заявила Тамара, и Дмитрий с ней согласился. Он курил, лежа в постели по сладко-мирной, почти забытой привычке. «Как мало человеку надо», — думал он. Он хорошо выспался, но ему не хотелось вставать, чтобы не смотреть в глаза этой «женщине», определенно уже имеющей свой взгляд, как на всё в жизни, и на эту ночь в стиле «всё равно — война» или «всё равно — любовь», — он еще сам не разобрался, как следует.

— Праздничная коровка дала сегодня хороший удой. Пей, теленочек, парное молоко! — «женщина» поднесла к его кровати полное ведро пива с реверансом, взятым на прокат из «Союзкинопроката», но по-настоящему грациозным и по-тамариному лукавым. — Кроме того на сегодняшний день мы имеем следующие достижения: полтора литра коньяку и две пачки «Беломорканала». Всё это я успела достать сегодня с утра. Извиняюсь, что я твою карточку взяла без разрешения из кармана шикарных брюк — не хотела будить.

Он, наконец, встал, неохотно, словно стряхивая с себя теплые, радужные капли: от моря сновидений, солнечных и мирных.

На кухне с тихими восклицаниями «Ха!» и «Подумаешь!!» Тамара перелистывала книгу. Он спросил:

— Дитя, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.

— И опять же ты скажешь, чорт возьми, я — дитя, потому что книга вроде как детская: «Дикая любовь или первая собака Динго».

— Тамара! Не стыдно тебе так злоумышленно перевернуть? Товарищ Фраерман обидится.

— Что это еще за тип?

— Как же ты читаешь книгу и не знаешь, кто автор?

— Я никогда не интересуюсь, кто автор. Подумаешь — фрайер какой нашелся. Еврейчик, поди?

— А тебе не всё равно? Все люди есть люди. Все одинаковы и все разные.

— Да, только рядом с нами, считай по пальцам: директор шоколадной фабрики — еврей, заведующий булочной — еврей, директор Мясокомбината — еврей, наконец, директор холодильника тоже еврей. Все они толстые и не пошли на фронт. Все соседи — старые рабочие — против них выражаются.

— Ничего, вот погоди, сделаем тебя директором холодильника для охлаждения твоих антисемитских чувств.

— Холодильника! Я предпочитаю — кипятильника. А ты сам — антисемит.

— Дурочка неумненная. Дай-ка мне книгу «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского. Я еще полежу, прочитаю. А ты её читала?

— Ну, буду я такую толстую.

— Сама ты толстая, антисемитка...

После обеда пришла с работы Нина, радостная, довольная, что впереди полтора дня отдыха. Нарочно прассируя, она рассказала, что заведующий магазином Иосиф Абрамович высказал предположение, что другой Иосиф — Виссарионович — будет сегодня вечером «говорить большую течь».

Внимательно её выслушав, Тамара запрыгала на одной ноге, скандируя:

— На мой взгляд, Нина тоже анти-мес-анти-бес-анти-пессимистка.

— Уймись, стрекоза! — прикрикнула Нина. — Наш Еська всех нас, двух продавщиц и кассиршу, спас. Не хватало трех кило хлеба. Ведь за это сейчас чуть не расстрел полагается. А он сказал: «Погощаю на пегвый газ». А какой такой там первый! Третий уже... А ты всё спишь Митя?

— Культурно отдыхаю. За столько дней первый раз сплю в постели.

— Ох, что-то не верится, изменщик ты.

— Во-первых, ты говоришь тупости, — обиделся он, — во-вторых, так не говорят — «изменщик». Изменник. И это еще не большой изменник, кто изменяет своей любви. Вот когда изменяют родине...

— А родине ты можешь изменить?

— Нет, во всяком случае, не представляю себе этого.

— А разве ты еще не читал «Севастопольскую страду»? Я думаю, что её все ленинградцы должны прочесть, особенно теперь, в блокаду.

— Я перечитываю. Местами — прямо язык богов.

— Уж не знаю, какой там язык, а только написано по-русски и очень интересно, без всяких богов.

— Имеются в виду языческие боги.

— Ну и оставайся со своими богами. А мы займемся с Тамарой делом. ...Сёстры привычно «пикировались» на кухне.

— Ши такие же будут, как вчера?

— Нет, с кусочками хлеба, правда, маленькими, на мой взгляд.

— Ага, значит, с легкой вариацией.

— Да, уж варю с вариацией.

В коридоре, за дверью кто-то хотнул, сдержанно и неуверенно. Сёстры испуганно умолкли, Дмитрий встал.

— Я знаю, кто это, не бойтесь. — И он широко открыл дверь. — Знакомьтесь: мой друг...

— Александр Александрович Половский. — сказал Саша, знакомясь с Ниной. Тамаре он тряс руку добрую минуту.

— На мой взгляд, мы уже знакомы, — холодно сказала она и отошла к плитке.

Два друга стояли перед сестрами — одетые, кто во что горазд. Брюки были у обоих, как по команде, подвзаны шпатагом.

— Ну, и видик у них, на мой взгляд.

— Тамара, помолчи.

— Да, трудноовато таким, как мы,

приписным казакам, — признался Саша. — Ни родных, ни знакомых, ни лишней пары белья. Но — ничего. Разве не вся Россия — родная, хотя и мало знакомая страна? И вы, девушки, разве не родные?

Свадьба блокады нас всех переженит
и перероднит

И узами дружбы такими нас свяжет,
что будут прочнее и крепче,
Чем даже какой-нибудь там

Атлантический кабель...

Дмитрий дергал его за рукав:

— Замолчи, кобель! Опять ты со своими белыми стихами. Еще подумают — пьяный.

Сестры смеялись от души. Тамара прямо заливалась:

— Эти бе-белые стихи мне определено нравятся.

— По этому случаю выпьем. — Саша поставил на стол пол-литровую бутылку портвейна. — Простите, в нашем районе нигде нельзя достать коньяку.

Решено было не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, а завтра вряд ли. Пить так пить, гулять так гулять.

Но когда перед Сашей поставили дымящуюся тарелку знойного супа, он словно впал в забытие. Долго смотрел на него, потом что-то себе под ноги, потом на Дмитрия и спросил вялым, тихим голосом:

— Да у вас тут и обеды дают, Митя?

— Дают, ешь, знай, на здоровье.

— Но я не могу так сразу — и обедать. Я, может быть, пощусь перед праздником. Так можно и в обморок упасть. Да и совестно как-то вас обедать.

— Оставь свою совесть в покое. Угрызения совести — это одно, а вот угрызения голода — совсем другое.

Оба ели суп, затаив дыхание, поэтому даже не поперхнулись. Саша только тихонько пихал приятеля ногой под столом, а когда суп был съеден, шепнул:

— А потом что будет? Еще пожрем, что ли?

Да, они ели еще по какому-то кус-

ку какого-то мяса. Ели все вместе, не глядя друг на друга, не разговаривая. Один раз взвыла тревога и в репродукторе медленно стучал метроном. Но было тихо. Правда, только до тех пор, пока за столом не начали пить пиво и коньяк.

Через полчаса все уже весело смотрели друг на друга, болтали и пели песни. Саша пародировал экспромтом:

В Ленинградской Руси
Пой песни,
Хоть тресни,
Только есть не проси.

Или, подсев к Тамаре, мелодекламировал:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу из Ленинграда
Привезти домой подружку.

— Хочешь, я признаюсь тебе в любви, хотя Митрич и считает тебя ребенком?

Тамара мрачно — глаза клиньшиками — взглянула на Дмитрия, который пил уже пятую стопку коньяку (она считала), чокаясь только с Ниной, и сказала:

— А что касается некоторых, считающих меня ребенком, то они, на мой взгляд, глубоко заблуждаются. — И Саше: — А ты можешь сидеть рядом. И в глаза смотри. Всё равно они — пьяные.

Так и застала их речь вождя — чело века, с именем которого связывали родину пропагандными путями.

— Слушайте, слушайте, говорит Москва... ит... ква! — словно лягушка заквакала — сочувственно или в насмешку? — над санкт-петербургским болотом и над ленинградской трясиной блокады. И вдруг стало так до боли отчетливо ясно, как оторван Осажденный от Москвы, ото всей страны, и как мало её будни, дела и сражения касаются его каменного, облитого кровью сердца.

— Слушайте... ква, ква...

И они слушали. Вождь говорил со спокойным кавказским акцентом, который никого теперь не смешил, в обычном своем простоватом и железном стиле.

... «Пройдет полгода, может быть

годик — и фашистская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений»...

Только через три с половиной года после этой исторически безответственной речи Германия «лопнула» под тяжестью преступлений не только своих, но и союзников. Но в этот час ничто не мешало вождю говорить, а людям во всех странах его слушать. Только в Ленинграде этот торопливый и властный голос был заглушен еще более властным голосом войны.

Правда, ненадолго: только объявили воздушную тревогу, и не успел проквохтать микрофон, как снова включили Москву! Это было неслышанно и невероятно. Воздушная тревога, нарушая порядок и разрушая жизнь, сама никогда не была нарушенной. Стук метронома устанавливал наджизненный порядок воздушной тревоги, нарушение его грозило дезорганизацией обороны и большими жертвами.

На этот раз тревога не знала, с кем она имеет дело. Инструкции были даны заранее: в случае чего — закрыть тревогу! И её закрыли. И вождь спокойно продолжал говорить, как будто её и не бывало. Да что — её. Как будто и поражения не бывало: большое ли дело потерпеть полгода, от силы «годик»?

Речь перекрывала воздушную тревогу с навязчивостью и насилием, характерным для оратора.

Он говорил недолго и просто, но его речь казалась уже под воем самолетов и бомб растянутой и непонятной, как вечность. А многие в Ленинграде и ушли в вечность за этот вечер, потому что речь вождя была пропагандой, а бомбы действительностью. Она так же перекрывала тревогу, как рыболовная сеть «трела» озябшего цыгана. Сквозь эту цыганскую пропагандную сеть — сыпались бомбы.

... А они слушали, сидя неподвижно. Им хотелось дослушать до конца. Несколько раз близко падали бомбы, звенели и падали на пол стаканы. Саша подбирал их, наливая снова и заставляя всех пить. И они дослушали до конца.

— Победа будет за нами!

— Если она будет так далеко за нами, что её нельзя будет увидеть невооруженным глазом, — я не хочу такой победы, — сказал Саша и, облокотившись на стол, заснул.

Почти одновременно с окончанием речи прозвенел радостный — будто двум тревогам сразу — отбой.

Где-то слышались крики, горели дома и умирали люди. Как обычно.

16.

Вечная прописка

Директор, этот бывший японский шпион, всё же нашел, куда пристроить студентов, а вместе с ними и себя. Занятия продолжались в помещении Педагогического института имени Герцена, на углу Невского и набережной Мойки. Неподалеку нашли и общежитие — на улице Желябова (бывшая Конюшенная), в большом и красивом, как все дома этой улицы, доме, знаменитом тем, что в первом его этаже был театр Эстрады и миниатюр. Под общежитие отвели весь третий этаж — 6 комнат. Раньше здесь жили артисты, уехавшие на летние гастроли за несколько дней до войны. Их комнаты были полны всяких вещей и мебели в стиле незабвенной эпохи Ширпотреб. Конечно, это не Людовик XIV, XV и т. д., не Карл X, вошедший в моду после войны, но он тоже займет свое место в вечности: Ширпотреб I, II и т. д. (имеются в виду пятилетки, или по-украински п'я т и р и ч к и).

При виде всех этих дешевых картин, ковриков, подушек и даже перин, у всех разгорелись глаза. Но больше всего понравились какие-то невиданные, с красивым верхом и мягкой подшивкой — ночные туфли. Их вырывали друг у друга из рук и ходили в них на руках по комнатам.

Зеркала, шифоньерки, диваны и столы расставили в таком художественном беспорядке, что негде было повернуться.

— Когда я прохожу по нашим кулуарам, — говорил Саша, — то всегда вспоминаю картину Семирадского

«Танец среди мечей»: сколько нужно грации, чтобы пройти между всей этой фешенебельностью, набив себе синяков.

Над своей кроватью он навешал столько репродукций разностильных картин, что рябило в глазах: Шишкин и Левитан, и Пикассо.

Бас предпочел фламандцев.

— Люблю женщин, — сказал он, — голых и толстых.

Кто не работает в Доме техники, тот не изучает теперь ни «Краткого», ни долгого курсов, а рыскает по всему городу в поисках жратвы. Только на лекции профессора Пошехонова приходят все дружно. Он выздоровел сразу после Октябрьского праздника и рассказывал теперь больше о чем-нибудь «из жизни». Так обычно говорили колхозники, когда у них спрашивали, какая книга или какой кинофильм им больше понравился. Ответ всегда был неизменным: «Ндравится всё, которое из жизни». Видно, русский мужик испокон веку стоит у истоков реализма, хотя любит и сказки сказывать.

Профессор по привычке перелистывал ненужный конспект и говорил голосом, еще более тихим, чем прежде.

— Эх, бедный, — вздыхал Бас, — надо для него соображать что-нибудь, а то он нам своей истории не дочитает.

Постановили единогласно: кто что-нибудь заработает «или так сопрет», — отделять своему профессору. Стали приносить ему кто кусок хлеба, кто конфет, кто дуранды. Дуранда — прессованные отходы маслобойного производства — заменяла хлеб. Профессор было и слышать не хотел ни о каких «приношениях в ущерб своим желудкам», но потом сдался на тот довод, что «мы моложе и воспитаны не в помещичьем доме».

— Только не воруйте, — велел он, — воровать — большой грех, — и поднял кверху тонкий, как карандаш, палец, и все, опустив головы, сделали вид, что с ним согласились.

В хлопотах по устройству в своих аппаратах совсем забыли о том,

что нужно было прописаться в районном отделении милиции. Об этом напомнил дворник, почти столетний старик:

— Война-войной, детки, а порядок быть должен. И вещички тут, которые оставшись, не троньте.

Пошли, прописались. К удивлению всех, вместо обычного штампа временной прописки, в паспортах им поставили печать на постоянное место жительства. Это было то, о чём многие мечтали в мирное время. Для этого женились на вдовушках с квартирами и дачами или устраивались работать на крохотных предприятиях: лишь бы остаться в Питере.

Но теперь эту прописку называли вечной.

— Видно, нам отсюда никому не выбраться: вечная прописка! — сказал Бас, но не басом, самоуверенно чеканя слова, как обычно, а тихо, совсем, как профессор. И все молча мяли в руках паспорта-документы эпохи.

О «вещичках» дворник напомнил кстати. Порылись в шкафах и чемоданах, и то, что не пришлось впору самим, быстро «сплавили» на рынке. Рассуждали просто: зачем лежать мертвым грузом тому, что может пригодиться живым? Да и разбомбить могут — зря пропадет добро.

Где-то в развалинах домов Бас нашел помятую жестяную печурку и сплюснутые трубы к ней. Устанавливая её среди комнаты, он целый день весело тремел железом, насвистывал военные марши и напевал:

Ты, моя буржуйка,

эх, да мы с тобой...

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови,

Господи, благослави.

Буржуев в России давно нет, но «буржуйки» остались. От них зимой поторело больше домов, чем от бомбардировок. И всё же — хоть за одну струйку теплого воздуха, за один язычок пламени — кто из осажденных не был им благодарен, как говорили умирающие остряки, по сугроб жизни?

Два буржуйских венских стула легли костями в буржуйке и запылали. Бас командовал:

— Эй, вы там! Два великих молчаливника! Айда за водой! Только не на Мойку-помойку, не поленились до Невы прогуляться. И тяните не из той проруби, где топят, а дальше, из эрмитажной проруби.

Вася Чубук и Сеня Рудин, подталкивая друг друга и претя украденными в соседнем доме ведрами, поплелись вниз.

Вернулись они только через час, тяжело дыша и матерясь.

— Что лаетесь, лентяи? Не развалились, чай, по дороге? — упрекнул их Бас.

— Да я ничего. Это всё Чубук, — сказал Рудин. — Стал снег жевать — увидел кровь и чуть в обморок не упал. Думает, что из горла. А я утверждаю, что из десен, от цынки.

Чубук сел на полу у печки и глядел прямо перед собой неподвижными глазами.

— Покажи зубы! — велел ему Бас.

— Что я вам конь, что ли? — возмутился Чубук. — Отстаньте от меня. Это из горла кровь, я знаю. Зубы — как гвозди торчат, не шатаются.

— Не шатаются? Так зашатаются, если будешь у меня скулишь. Выше голову, дистрофик несчастный!

— Да, я дистрофик, — согласился Вася и покорно открыл рот. Все поочередно заглядывали ему в рот, только что не клали пальцы.

— Да, зубы ничего, вроде лошадиных, — констатировал Саша. — Вот и у меня тоже, посмотрите, — ощерясь, он показывал свои плотные, желтые зубы, поворачиваясь во все стороны. — И зачем, спрашивается, я донес их целенькими до наших дней? Чтобы теперь повесить на полку?

— Кстати о полке, что над твоей головой висит. В стиле рококо... Давай её на печку, — сказал Бас.

— Бас, а что такое дистрофия? — спросил Саша.

— Голодная болезнь. Пора бы знать.

— Пора... Чем позже бы мы об

этом узнали, тем лучше было бы.

Дмитрий второй день не вставал с постели. Два дня он дежурил в Доме техники, замещая заболевшего сторожа. На посту, в вестибюле было почти так же тридцатиградусно холодно, как и на дворе. Ни огромный туп, ни валенки не грели на голодный желудок. Застудил легкие — болезнь, называемая в народе удивительно точно: прострел.

Дмитрий читал Евангелие, найденное в чемодане знаменитого артиста, и рассуждал вслух, как это было принято во всех студенческих общежитиях:

— Сын Человеческий... Казалось бы, ничто человеческое не должно быть Ему чуждым.

Вася Чубук, согревшись у печки, хотя и тоскливо, всё же напевал:

Дывалось я на небо

Тай думку гадаю,

Чому я не сокил,

Чому не летаю?

— Потому, что хохол, — сказал Бас. — Был бы кацап, вроде нас, — был бы соколом. Да еще каким — настоящим соколом был бы!

Саша философствовал над печкой:

— Какое это нахальное, вечно неудовлетворенное животное — человек: захотелось тепла — сделал печку и развел огонь. Теперь, глядя на огонь, хочется на нем чего-нибудь поджарить, вроде котлет. Лучше спать. Успнешь — и всё забудешь, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью.

— Да, котле-еты, — с живостью поддержал Бас, — теперь я вспоминаю только котлеты — они заслоняют всё остальное — и ругаю себя за то, что ел их не больше, чем по десять штук. Какой я был идиот!

Так обычно начинались голодные монологи — рассказы на сон грядущий о том, как любили поесть в такое недавнее и далекое, теперь почти потустороннее мирное время.

— А какие она галушки закатывала — закачаешься...

— Да еще особенно, когда пол-литровочку выпьешь для профилактики...

— А она мне и говорит: «Ты, Вася, брось мне арапа заправлять»...

*

Театр Эстрады и миниатюр был открыт. У высоких дверей вестибюля с выбитыми стеклами, в афишной раме, тоже без стекла, под деревянной позолоченной буквой «Э» величиной с дуту, с маленькой «м» внутри, крупным курсивом объявлялось: «Ежедневно. Гастроли опереточного ансамбля под художественным руководством арт. Бронской».

Счастливые люди артисты! Кроме партийного руководства, у них есть еще и художественное, которое, ухищряясь и зная себе цену, частенько выходит на первый план.

О, благословенный свет рамп! Скольким миллионам русских людей заменяешь ты свет солнца Конституции!... Русский народ не только великий артист, но и великий театрал.

... Вот чопорная, в четчике не по сезону и в дохлой лисе, старушка выражает свое возмущение шипящим, как пар из чайника, шопотом:

— Как они смеют? Они опять отменили пятую симфонию! И даже не сообщают, на когда перенесли. Как будто так и надо...

Добрая половина прохожих слушает её сочувственно, некоторые знают, что речь идет о симфонии Бетховена в Филармонии.

Консерватория с залом имени Глазунова давно закрыта — с открытой, разорванной снарядами крышей. Но и Филармония, кажется, доживает свой недолгий и фантастический блокадный век. Это уже не первый раз отменяют Бетховена: не повезло и его девятой симфонии. Зато «1812 год» Чайковского слушал, затая паровое — на холоде — дыханье, переполненный зал. Немцы были под Москвой...

В Оперетте идет «Баядерка», в Театре Драмы — «Дворянское гнездо», в театре Ленсовета — «Идеальный муж». Всем известно, что один из лучших коммунистующих композиторов — Б. Асафьев — пишет на го-

лодный желудок музыку к спектаклю «Война и мир».

В позлащенную дугу «Э» с колокольчиком «м» был выпряжен весьма дружный и резвый ансамбль артистов. Оперетты пользовались особой, плотоядной любовью студентов, потому что в них, по ходу действия, всегда много едят, пьют и веселятся. Острили: «После неотрадного и миниатюрного обеда приятно пойти в театр Эстрады и миниатюр». От «делать нечего» писали в стихах и в прозе хвалебные шуточные рецензии на спектакли и преподносили их красивой и полной даме с усиками — Бронской. За это, или по-соседски, их пускали в театр бесплатно. Зал никогда не был полон, но не бывал и наполовину пуст.

Скупым, голодным светом рампы освещались худые, бледные, как маски, лица зрителей-пожирателей глазами сцены, красивых и веселых людей — таких же, как все, и совсем не таких. Они тянулись к рампе, как к алтарю. Благословенная ложь творчества преображала их.

Под скрежет ножей и вилок о пустые тарелки нарядные люди пили шампанское — невскую водичку, живую воду искусства. Веселая вдова, она же по совместительству Сильва и Марица, однажды неположенно разрыдалась за «роскошным» столом: не выдержала марки.

Кто работал, — обедал в кафе «Аврора», перешедшем в распоряжение Дома техники, остальные — в недавно открытой для студентов столовой, в помещении бывшего кинотеатра «Баррикада». И здесь, неизвестно какими судьбами, появилась своя королева-кассира Сара. Она была обворожительна, сидя на вращающемся кресле, как бабочка под стеклянным колпаком кассы-кабины.

— Иногда мне кажется, что я сижу в парикмахерской и меня стригут, — призналась она, — но всё же не меня стригут, а я стригу. — Она имела в виду талоны из продовольственных карточек.

Чаще, правда, ей совали в окошко талоны не только отрезанные собственноручно, но и подделанные простейшим способом: обыкновенным пером или тушью на узких полях карточек. Бас так и сказал ей:

— Если ничем не рискуешь, кроме своей всё равно уже раненой головки, если наши фальшивые талончики пройдут незамеченными, ничтоже сумняшеся, выручай своих ребят!

— Ах, девочки, не всё ли мне равно, что настоящие, что эти самые — фальшивые? Пока не вижу ни одной разницы, — согласилась Сара.

«Рисованием» занимались Алкаев и Чубук. Из каждой карточки выходило по 8 - 10 талонов. Не все хорошо получались, но всё же на 2 - 3 лишних обеда хватало. Обед стоил: талонами — 20 гр. крупы (всего на месяц полагалось 600), 5 гр. жира (на месяц — 200) и сколько-то копеек деньгами.

Пол-литра кипяченой воды, приправленной древесной мукой, и одна столовая ложка каши (буквально) съедались без промедления, но за столом сиживали часами. Читали, болтали, меняли друг у друга талоны на масло или наоборот, или всё это на конфеты, табак, папиросы.

Уставясь обиженными глазами в пустые тарелки, наперебой читали стихи Блока: по первой строке надо было определить: что и откуда? Это называлось Блокиадой. Сара, чиркая ножницами, подавала реплики из кассы, как из суфлерской будки. Саша не признавал Блока. Он читал только свои стихи.

— Тоже мне поэт нашелся! — Сара морщила носик. Ни Саша, ни его стихи ей не нравились. И он её не жаловал.

— Она и в самом деле считает меня циником, — жаловался он Дмитрию. — А ведь я, как ты знаешь, лирик, и тесен для меня современный мирик. В детстве я любил всё носить с напуском — и рубашечки, и штанишки. Так и все эти мои шуточки и

зубоскальства — всё это напускное, всё это помогает мне вести борьбу с моим злейшим врагом — дурацкой застенчивостью. Удел застенчивых — тень, застенок, а то и стенка. Я не хочу этого. Лучше быть хамом!

Дмитрий смеялся и разводил руками:

— Куда уж тебе, Сашенька. Это же надо уметь быть хамом. Поговорим лучше о любви. Например, что такое любовь? Я считаю, что любовь — это слепое ранение сердца (медицинский термин).

— Это тебя твоя студентка-медика научила? Она же и ранила?

— Ну, это неудачная любовь, Саша...

Бас, развалившись на стуле — на всю косяку сажень плеч, пожирал глазами пустые тарелки, кассу, заключенную в ней Сару и напевал тихонько-грустно:

Сухой бы я корочкой

пита-а-а-лась,

Да и ти-ти-ти не знала б про

любву-у...

Бас умел петь — сильным баритональным басом и умел нравиться девушкам, когда хотел. Он спрашивал:

— Слышишь, Сара? Тут некоторые рассуждают о любви... Что они понимают? В моей беспризорной практике были иногда такие счастливые дни, когда я не воровал у торговки, а сам продавал — правда, все равно ворованные конфеты. Я орал на весь базар:

Вот ирис-тянучка,

По копейке штучка!

Вот я и мечтаю о такой любви-тянучке: сладкой и долгой... Слышишь, Сара?

Сара вздыхала в кассе, как птичка в клетке.

В кафе «Аврора» не говорили о любви и обедали только за настоящие талоны («подлинники»), с «оригиналами» боялись засыпаться. Здесь только суп был «менее вода», а порция каши — тоже столовая ложка. Единственным удовольствием было пройти без очереди, как «сотрудникам». Теперь все кафе и рестораны прикреплены к различным учрежде-

ниям. Служащим выданы специальные пропуски — основные, а для их родственников — скользящие.

С утра до позднего вечера около всех кафе и ресторанов толпятся скользящие, ежась под зычными окриками швейцаров:

«Для скорбящих мест нету!»

Но все стоят, надеются: покричит-покричит, да, глядишь, и выпустит. Главное — попасть туда, а там — тепло, толкотня, плажет кухня — почти весело. Ради этого стоят часами на холоде, прижимаясь друг к другу или однообразно споря из-за очереди: «Вы здесь не стояли.» — «Вы сами не стояли». Но чаще стоят тихо, покорно, скорбно — почти неподвижной серой глыбой, с клочками пара над ней из посиневших ртов. Их пропуски и их самих так и называют: скорбящие.

Швейцары остались. Дюжие ветераны-стариканы олицетворяют прежнюю роскошь и недоступность знаменитых ресторанов, превращенных теперь в «обжорки». Швейцары еще весьма солидны и красноморды. Знаменитый Дядя Вася, швейцар в кафе «Аврора», сохранил даже свою почти адмиральскую шинель с галунами и всякими аксельбантами. Он добр: выпускает не только скорбящих причиненных, но и случайных. Поэтому кафе «Аврора» называют еще «Всех скорбящих радость».

...Только три дня прошло после Октябрьского праздника, три обыкновенных, холодных и серых дня...

10-го ноября газета «Ленинградская правда» вышла вдвое урезанным двухполосным листком. Это был исторический листок с постановлением Военного Совета — еще раз вдвое снизить норму выдачи населению хлеба.

Жданов, Полков и Кузнецов подписали смертный приговор почти половине осажденных. 125 гр. в день... Этот кусочек хлеба — для уже истощенного и измученного человека — как капля воды в пустыне. В пустыне желудка...

После войны, незадолго до своей смерти, Андрей Жданов, официаль-

ный вождь обороны Ленинграда, скажет писателю Фадееву: «Фадеев, люди мерли, как мухи, в этой бесчеловечной блокаде. Я спрашивал себя каждую минуту: «Имеем ли мы право обрекать на смерть тысячи советских граждан? Как будет нас судить история? И все же я был уверен, что история человечества не простит нам сдачи Ленинграда»...

Да, как будет судить история человечества и до того ли ему, человечеству, будет, чтобы судить, — кто знает! Конечно, история любит всякие героические кошмары, и чем они неслыханней, тем она их больше любит. История никогда не забудет 900 дней блокады Ленинграда. Но изменился ли бы ход войны, если бы город был отдан остервенелому от неудачи врагу? Надо ли было умирать трем миллионам осажденных, да еще такой — самой мучительной из смертей — голодной смертью?

С этого дня, 10-го ноября 1941 г., осажденный город, как корабль, потерявший связь с Большой землей, лег в дрейф и медленно движется неизвестным курсом к еще не открытому, невиданному человечеством — Третьему полюсу.

17.

Третий полюс

«Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, Которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны»...

Иов, 38, 32.

Еще на западе земное солнце
светит
И кровли городов в его лучах
блестят,
А здесь уж белыми крестами метит
И кличут воронов, и вороны
летят...

А. Ахматова

Воронов, правда, кличь — не кличь, — не прилетят. Давно уже над городом не видно ни одной птицы, словно все они перелетели на сторону немцев. Туда же из города, как с тонущего корабля, ушли крысы. После пожара на Бадаевских складах целыми полчищами переваливали они линию передовых окопов. Иногда,

после ночных танковых атак, поле боя покрывалось серой массой раздавленных крыс.

А теперь все покрыто снегом. На город навалилась полоса косматых метелей. Старожилы не помнили таких снежных заносов. Под городом немцы не проявляют никакой активности. В их блиндажах, занятых случайно или с отчаяния, красноармейцы находят уютную обстановку, шоколад, сигареты, портвейн, патефоны и портреты солдатских невест.

Фронт скован морозом, как и весь умирающий организм города. Бездействует и немецкая авиация, но снаряды свистят попрежнему.

Осажденный уже не похож на корабль, дрейфующий неизвестным курсом. Это огромный неподвижный ледяной остров. Вокруг — снега, тьма, тьма врагов. Сверхверхоянские холода. Да, теперь Осажденный, а не Верхоянск — мировой полюс холода. Только ли холода?

Блокада — это два кольца: огненное (орудийное) и ледяное. Но огненное не может расплавить ледяного.

Не взяли немцы город мечом. Не взяли его и огнем. Но они знают: блокада — не только два кольца, но и петля-удавка: голод...

Голод. Что такое голод? Пожалуй, никто в мире не знает, что такое любовь (не ветерок же над розами) и что такое сама жизнь, но как-то все живут и как-то любят. А вот что такое голод, знают все, хотя далеко не все испытали его по-настоящему — так, как осажденные. Голод — это когда не просто хочется есть, а хочется есть, да нечего, и твердо знаешь, что и не будет. В медицине голод и его последствия называются болезнью дистрофией. Она имеет четыре степени. Но это для ученых, только изучающих голодную болезнь, но никогда не испытывавших голода. Для голодного же достаточно и трех степеней этой самой дистрофии. Смертельна, особенно для пожилых мужчин, даже вторая степень — простая отечность и пустой, две-три недели подряд, желудок. Как это ни странно, «болезнь» была «открыта», изучена и получила

свое название в Америке — самой сытой стране мира. И опустошила эта болезнь град Петров — самый относительно сытый и блестящий город страны, забывшей о сытости и покое.

Голод, пожалуй, самое страшное из всего, что приходится переживать человеку на земле. Огромный, теряющийся в веках, божественно-фантастический путь от первобытного человека к современному голод заставляет пройти вспять за какой-нибудь месяц. Он превращает человека в зверя, не только готового на любое преступление, но и удивительно способного к нему. Родственные чувства, долг, мораль — все это отступает куда-то на задворки человеческого духа: он хочет только есть. А есть нечего. И у соседей нечего. И украсть нечего.

Голод в Ленинграде не имеет себе равных в истории мира не только по гекатомбам трупов, но и потому, что это был голод-демократ: голодали и умтирала все подряд: и коммунисты, и беспартийные, и директора заводов, и рабочие. Конечно, не имеется в виду верхушка, но где её нет? И где она по-настоящему страдала?

Маленькие или незаметные в мирное время люди и людишки — дворники, милиционеры, управляющие домами, извозчики, официантки — вдруг выросли на глазах прочих обыкновенных граждан в крупные и чрезвычайно важные фигуры. Многие из них не только выживали, но и наживались. В этом была огромная, равнодушная сила государственной «власти на местах», которая не станет переставлять пешки и садить на хлебное место дворника или извозчика — профессора, хотя он тоже с бородой. И пусть профессор умрет, а дворник будет жить. Демократизм голода. Здоровые, полные сил бонвиваны, занятые только собой, едой и сном — вымерли первые. Фантазерам, поэтам всех мастей и кистей было легче: они всегда жили в воображаемом мире и теперь уцелевали — в блокадном.

Надо иметь железное здоровье и стальную душу, чтобы устоять перед

голодом, не потерять своего человеческого достоинства.

...Голод... Всему городу хочется есть, и всему городу есть нечего.

Все вспоминают окопную картошку — сколько пропало её тогда! По всему городу ходит старая поговорка о любви и картошке, переделанная на голодный лад: «Не любовь — картошка: не выбросишь за окошко». Но это редкий проблеск голодного остроумия. Первая стадия голода, с нервной и физической взвинченностью, блеском бегающих глаз, бурным плетением словес, заиканием, жуликоватостью и преступностью, — проходит быстро и уносит с собой наиболее активно голодающих: нахалов, циников, сладострастников, грубых жизнелюбцев.

Потом люди бродят по улицам, ничего не спрашивая друг у друга, одичавшие и гордые своей осознанной обреченностью, с пустыми глазами и желудками. Постепенно в них угасает и ненависть — обычный спутник голода и народных бедствий. Ненависть — это та же энергия, лишняя трата сил.

*

С утра до ночи черная кайма очереди за хлебом. Во многих районах нет воды. Водопроводная сеть повреждена бомбардировкой, или трубы полопались от холода: вода разрывает их, замерзая. А без воды хлеба не выпечешь. Некоторые хлебопекарни сами организуют доставку воды — живым конвейером, если близко Невы или канал. Добровольцы выстраиваются цепочкой от проруби к пекарне, передают ведра с водой из рук в руки. Труднее всего «первоочерпателям»: края водяной ямы покаты и скользки. Часто ведра глухо стучаются о что-то, плавающее под льдом. Кажется — бревна. Но это трупы. Течением, или еще какой-то силой, утопленников всегда влечет к прорубям. Их не вытаскивают: в очереди всегда найдутся добровольцы-гарпунщики, — широко расставив ноги и, обычно, почему-то улыбаясь, они деловито отталкивают трупы под лед.

Откуда берутся утопленники? Сплавливают ли в проруби покойников, или это самоубийцы? Самоубийства, особенно мужчин, после 10 ноября — нередкость. Когда человек остается один на один со своим пустым желудком в четырех стенах, поросших инеем, и ни ласкового слова женщины, ни улыбки друга, — такой голый голод не всякий выдержит... Это хоть головой в прорубь.

Почти все проруби «искусственные»: сотни снарядов и бомб кромят лед в реках и каналах. По крайней мере одна треть вражеского огня не причиняет городу вреда, падая в лед, в воду. Недаром Питер стоит на воде, как грандиозная русская Венеция.

На 20-30-градусном морозе проруби быстро затягиваются, как раны клетчаткой, льдом, но «стратегически важным» у мостов и рынков не дают замерзнуть.

Потрескавшимися, заиндевевшими губами припадает Осажденный к проруби, как к чаше причастной. Кто пил эту невскую воду, тот никогда её не забудет.

... Проходят хмурые, вьюжные, холодные дни, похожие друг на друга, как кусочки пайкового хлеба в 125 граммов. Продавщицы научились отвешивать эти кусочки с аптекарской точностью. Поневоле научишься, когда за малейший провес в несколько граммов можно жестоко пострадать — не только от начальства, но и от толпы.

Женщины легче переносят голод, чем мужчины, но нет ничего страшнее толпы голодных женщин, не дай Бог пропневить их и попасть им в руки! Первое время голода милиционеры еще старались наводить порядок в очередях. Покрикивали, расталкивали и сами, конечно, норовили получить хлеб без очереди. Но вскоре у них эту охоту отбили.

... В булочную на Большом проспекте однажды ворвалась растрепанная и грязная (как почти все этой зимой) женщина и с диким воплем: «Она меня снова, стерва, обвесаила!» — бросилась на продавщицу и так

вцепилась в нее, что насилу отодрали. В давке и суете толпа «поднаперла» — и разгромила магазин в несколько минут. Заведующий и продавщицы бежали, осыпаемые, как градом, тирями, мелкими и крупными. Когда явился наряд милиции, в булочной катался клубок тел: хлеб вырывали друг у друга руками и зубами, остервенело и молча. Но стоило только милиционерам дать залп в воздух, как послышались стоны и вопли:

— Я раненая!

— И я.

— Бабоньки, что же это такое?

— Уби-и-ивцы!

— Бей их, извергов!

Двух милиционеров растерзали на клочки, остальные бежали.

Продавщицы, эти белокурые девушки за прилавком, — как кролики в клетке удава. Их движения — механические и точные, они не поднимают глаз: стыдно ли им, что они все же сыты, или они боятся загнилотизироваться глазами толпы-удава, остервенелыми и злобными или тушыми и безразличными голодными глазами?

Многие домохозяйки получают хлеб на каждого члена семьи в отдельности, чтобы дома не делить: бездушные весы точнее дрожавших рук. Проще всего, когда каждый получает свою пайку сам: муж отдельно от жены и дети — от родителей. Но не все так могут. Большинство все же предпочитает есть вместе. Такие семьи не распадались. Вместе ели, вместе и умирали.

В пустых домах находят вымершими целые квартиры и этажи. На окраинах стоят мертвые дома, полные трупов. Такие дома видны сразу: к ним нет протоптанных или расчищенных от снега дорожек; кажется, что и снегу на их крышах больше, чем на соседних. В окнах нижних этажей таких мертвых домов почти во всех районах города появились выставленные, как манекены в модных магазинах, трупы вымерших семейств: мужчины, женщина, дети. Это стало своего рода модой, введен-

ной какими-то безумцами-маньяками.

Всего безотраднее одиночкам. Некоторые так и живут — по одному в доме. Встает человек (если все еще человек) утром, и сразу же ему хочется есть. Но хлеб уже съеден за два-три дня вперед. Не всякая продащица «отпустит» на четвертый день: это запрещено. Надо хотя бы умыться. Но ближайшая прорубь не близко, да и ведра нет. Что же, можно и не умываться. Можно было и не вставать. В комнате полярный холод. Дверь снаружи обледеневаает так, что открывается с трудом. Ни света, ни радио, ни газет, ни писем. Почти все почтовые ящики сняты, но кое-где еще висят, переполненные старыми письмами, занесенные снегом... И ни паровозного гудка, ни трамвайного трезвона, ни воробьиного чирикания. Тишина. Космическое молчание.

...Стоило ли вставать? Лучше снова лечь в постель и уснуть с одной мыслью — скорбной, искренней и чистой, как слеза: чтобы больше не проснуться. Не все ли равно? Если над головой, сквозь сон и метель, вдруг просквозит снарядный свист, человек даже головы не поднимет. Не все ли равно?

Идет какая-то неделя Великого поста. Более великого поста не знает история мира. Любой святой позавидует рядовому блокадному жителю. Больше половины населения не получает ничего, кроме 125 граммов хлеба в день. Магазины пусты. Даже полагающиеся жалкие граммы сахара, жиров и крупы не выдаются. Талоны на них можно «реализовать» лишь в столовых и ресторанах, целыми днями стоя в очереди «скорбящих».

Многие теперь не работают. Заводы стоят тихие, мертвые. Редкая труба дымится.

Чудом уцелевшие, потрясенные своей тишиной, красавцы-вокзалы глядятся вдаль, в простирающуюся перед ними пустыню подъездных путей, занесенных снегом.

Пустынны заставы — ворота города. Только редкие дзоты да черные пятна от разрывов снарядов на снегу.

Пустыня весь город. Одиночные трамваи стоят на улицах и проспектах, полузанесенные снегом — там, где их, как смерть, остановил обрыв проводов или подачи тока. На перекрестках больших проспектов — баррикады из камней, мешков с песком и всякого хлама, а кое-где — трамваев и троллейбусов, нагроможденных друг на друга, как во время крушения. По всему городу — следы словно огромного крушения. Ходят военноморские патрули — как призраки 1918 года...

Над Невой целыми днями висит туман, рыхлый и плотный. Кажется, что он весом и ощутим, как вата. Крейсера вмерзли в лед. К ним можно подойти, как к домам, замкам, крепостям. Можно потрогать рукой обледенелые борта и прикоснуться к их славе и мощи, набраться сил от них. Их орудия бьют по фронту только одновременно со шквальным обстрелом города, «под шумок».

Когда артиллерийская дуэль умолкает, тишина кажется невыносимой. Она словно обволакивает мозг свинцом, пеленой, давит на сердце. Нет, уж лучше гром орудия, пламя пожаров, чем эта отравленная голодная тишина!..

А лучше всего — смерть.

Уже с четырех часов дня город затихает. Будто нет в нем ни войск, ни жителей, ни жизни. Но эта тишина — обманчива. Блокада — магический, безвыходный круг не только для осажденных, но и для врагов. Очевидно, опытные и умные немецкие разведчики побывали в городе и поняли: лучше не соваться.

И вот стоит он, как заколдованный, — Петрополь. Метели-ведьмы, метели-пряхи с воем и свистом ткут над ним для него снежный саван. Смерть настагает всюду: в постели, на лестнице, во дворе, в подворотне, в столовой, в булочной. Но чаще всего — на улице. Идет-идет прохожий — и вдруг медленно оседает, опускается в сугроб. Подойдут к нему, посмотрят — уже мертв. Без стопа, без вдоха.

Только икнет несколько раз подряд — вот и всё. В организме нет сил даже на конвульсии. Это и есть голодная смерть. Такая ненасытная смерть уносит в ноябре 10 тысяч людей в день. В декабре будет умирать 15 тысяч, в январе — 20–22 тысячи в день.

Будто и в самом деле открылись библейские хранилища, и все их «мировые запасы» холода и голода обрушились на голову Осажденного.

Или это начало конца мира — не атомный взрыв, не столкновение планет, а космическое похолодание — русский вариант Апокалипсиса?

Но нет, это еще не конец мира и не конец великого города-мученика. Это — Третий полюс. Полюс холода. Полюс голода. Полюс сверхчеловеческих мук. И над ним долгие черные ночи: белый полюс, черный флаг. Столько уже крови пролито, столько похоронено в братских могилах, столько засыпано песком и снегом, что теперь всё равно: лучше черный флаг смерти, чем белый — капитуляции!

В сугробах торчат вздетые кверху руки. Не они ли просят пощады? Но метель засыпает их, засыпает.

И саночки по всему городу скрипят, скрипят. Будто тысячи людей впали в детство, пеленают друг друга, как кукол, и катают, катают на утлых детских саночках. А те, что не впали в детство, страдают манией величия: они медленно и важно, не обращая никакого внимания на свист снарядов, идут куда-то по улицам, и их широко открытые, остановившиеся глаза не мигая смотрят сквозь метели, туманы и мглу — в вечность.

Это апокалиптяне...

На перекрестке Обводного канала и Измайловского проспекта — повисла на проводах и примерзла к трамвайному столбу оторванная рука милиционера с регулировочным жезлом. Она указывает на север. Впрочем, это всё равно — куда: всюду фронт, тьма внешняя и скрежет оружий, смерть.

18.

Конец серого котенка

Однажды Бас пришел домой поздно вечером, пьяный и веселый, каким давно не был, стал, широко расставив ноги, посреди комнаты и промгнул таким своим прежним басом, что «буржуйка» мелко задрожала жестяным эхом:

— Эврика! Вернее, никакая не «эврика», а просто спер всем на удивление и угощение, — и он осторожно поставил на стол бидон. По всей комнате, все теперь жили в одной комнате, разлился волнующий, сладковатый сивушный запах. Все восхищенно ахнули. Кого в такое время не обрадует удачливое воровство, да еще такого бесценного «продукта»?

— Где и как? — спросили коротко. Ответ Баса был так же краток:

— Где — там уже нет, а как — весьма нахально. — Он считал ниже собственного достоинства рассказывать подробно о том, как он два часа выслеживал на базаре какого-то «спикуля» с этим бидоном, пока не удалось «слямзить».

Спирт пили неразведенным, молча, только глаза блестели. Бас выбухивал удовлетворенно и снисходительно:

— Вдохновляйтесь, господа неврастеники, жрите, господа скотинины, красейте, лакмусовые лакомки — аж пока не посинеете. А где, кстати, Митыка? Опять две ночи не ночевал? И увольнительную записку не спрашивал? Снять его со спиртного довольствия. А впрочем, на всех хватит — почитай, литров десять в бибончике-бездончике.

Сапша, захмелев, дергал Баса за рукав:

— А не находишь ли ты, что наша гоп-компания — зародыш будущего, уж не знаю, как его и назвать, общества: ведь у нас все твое-мое, все наше-не наше и сами не свои.

— Да-а, — соглашался Бас, — Некрасов может спать спокойно: Коммуна-Руси жить хорошо. А наше боевое содружество напоминает мне табун лошадей, которые по тревоге всегда становятся в круг и отбиваются

задними ногами («дают задки») — от волков, сексотов и прочих неприятностей. Недаром мы остались одни — самое вольнолюбивое казачество. А где все маменькины сынки со второго и третьего курсов, не взятые в армию по маломощности? За мамины юбки попрятались? Вымерли? А мы — красуясь, трад Петров, и стой!

Перед сном, засветив копилку — фитилек в банке с керосином, играли в «очко» под будущие, увеличенные воображением, пайки хлеба. Басу, как всегда, везло — он выиграл несколько тудов, а Саша проигрывал и, ворча и злясь: — «Все равно не отдам» — первый «вылез» из игры, опустив хмельную голову: — ...уж лучше, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью... — И лег спать.

*

Дмитрий с трудом добрался до общежития. Теперь весь город ходит пешком. Редкие автомобили никому не приходится даже в голову останавливать, но кто половчее, ухитряются уцепиться за борт где-нибудь на повороте, когда шоферы тормозят. Но если не сумеешь подтянуться на руках и влезть в кузов, — дело плохо: на руках долго не провисишь, сорвешься. Но и сидя в кузове, надо не прозевать, если шофер повернет не туда, куда надо, чтобы во-время соскочить с борта на повороте. Часто шоферы не тормозят и на повороте — «газики», как необъезженные кобылицы, сбрасывают неудачливых седоков. Дмитрия сбросило где-то у Сеной площади. Потирая ушибленное колено, он дал себе слово отныне ходить пешком.

Медленно поднимаясь по темной лестнице, оскользаясь на обледневших ступеньках, он вдруг коснулся головой чего-то, висящего в воздухе. Пересиливая противную и непонятную дрожь, поднимаясь ступенькой выше, снова зацепился за что-то плечом, досадливо боднул головой тьму — и сильно ударился лбом... о сапоги. Инстинктивно он оцупал их руками, — смёрзлись вместе. При свете спички видны были дыры на подошвах...

Над лестничной площадкой висел обледеневший труп, как опромная черная сосулька. Раскачиваясь, он с тихим звоном ударялся о стену. Дмитрий едва не бросился бежать вниз, но открылась дверь и узкая полоска света, словно из далекого костра в пещере, лизнула его лицо. На пороге стоял Саша.

— Что, висельник тебя напугал? — спросил он. — Иди, не бойся, он никого не трогает.

Дмитрий подошел к своей кровати и хотел сесть, но Саша предупредил:

— Смотри, не сядь: тоже один студент, вернее — труп. Университетский. Пошел на фронт добровольцем, вернулся доучиваться, раненым и голым. Прилег на часок, а уснул вечным сном — сном победителей, сном мертвецов... Не помню, Реми де Гурмон или другой какой гурман и жизнелюбец сказал эту мертвящую фразу.

— А висельник — кто?

— Также чужой студент. Попросился переночевать, мы пустили. Спи, только есть не проси. Он и не просил. А ночью взял мой ремень и повесился на нем, негодяй. И записку, как полагается всем порядочным самоубийцам, оставил. Я ее сохранил на память, как документ эпохи. Вот, смотри.

На измятом клочке бумаги Дмитрий прочел написанное ровным, красивым почерком: «Я не хочу ждать, пока нас победят немцы и голод. Умираю непобежденным. Да здравствует Северная Пальмира! Александр Дежнев».

— И это все?

— Да, это все.

— Как жаль. Очевидно, он был поэтом: за Северную Пальмиру умирают только поэты, за город Ленина — юнцы, за Питер — рабочие.

— Да ты что же стоишь, Митрич? Садись на мою кровать, не в гостях. Хочешь, я тебе расскажу повесть о бывшем сером котенке. «Бывшем» — потому, что мы его съели. Сподобились. Зверью уподобились... Видишь: все наши спят. Храпят-то как. Словно во сне что-то берут нахрапом.

— Да ты рассказывай толком, а то мне что-то не верится.

— Хорошо. Жила-была (и есть) старушка, на третьем этаже, под вильгельмом...

— А почему не уберете его?

— Охота была — возиться. Пуццай его висит, милиционеров отпугивает. Как увидят — так в сторону. Но слушай дальше. А у старушки жил-был серенький котик. Она каждый вечер выводила его погулять на лестницу. Симпатичный такой был, пухленький, кругленький, в пятнах. Понравился он нам. Особенно мне: впрямь, как мой серенький котенок, которому я стихи писал. Первым его, конечно, заметил Бас. И пожалел он, как волк кобылу, старушку: ведь по нашим временам, чтобы такую скотинку кормить, от себя нужно последние крохи отымать. Решил он избавить ее от этой обузы. И мы все решили. Стали караулить: важно было, чтобы котик самостоятельно прогуливался, без всякой старушки. Дошла очередь до меня. Вышел я на пост, как Иван-дурак за Жар-птицей. На мое счастье старушка выпустила котика одного. Я был во всеоружии: с мешком и с палкой. Для чего палку взял, не знаю, но не для старушки, конечно. Котик, правда, был вполне серьезным и взрослым котом и к тому же благовоспитанным. Он понимал, для чего его выпускают на моцион, и сразу шел в угол.

Когда я к нему подошел, он, видимо, сразу почувствовал неладное — как-ак окрысится на меня. Хотел даже спинку выгнуть, да не мог от слабости — только шерстка дыбом встала. Я это оценил, но делать было нечего. Накрыв его мешком и пру потихоньку. Полицал он, поцарапался, да и затих. Собрались мы все вокруг него с преступными и лицемерными физиономиями. Щупаем его, по головке гладим, а он щурится, мурлычит о чем-то. Жаль скотинку.

Начали совещаться: как быть, как варить. Бас говорит — варить его целиком, как есть, в нутре — в чугуна. А Чубук, тихоня, — нет, говорит, сперва его прикокнуть надо — не зве-

ри же мы. А Бас на своем стоит. — Я, говорит, и есть на сегодняшний день зверь. Погоди, и до тебя, Чубук, очередь дойдет. Вот тебя, правда, сперва надо прикокнуть, чтоб в милицию не успел донести.

И вдруг Сеня Рудин, этот жалкий тургеневский тип, заявляет:

— Я знаю, что делать. Мой отец на бойне работал. Сперва, как правильно сказал Чубук, эту скотинку убить надо. Это совершит Бас. Затем я ее освежую, освежив, таким образом, воспоминания о детстве, отце, мамаше и прочих дальних, в смысле расстояния между нами, родственниках (каламбур мой). А шкуру выбросим.

Это меня возмутило. Как это — выбросить шкуру? Разве в ней нет питательных веществ? Это вы бросьте — выбросить. Бас меня поддержал:

— С него самого шкуру надо спустить, чтобы он тут, в такое критическое время либеральные идеи не разводил. Всё сожрём! Люди, как боги. Кто сказал? Чепуха. Люди, как звери — это звучит гордо.

И я, такой мечтательный и мяткотелый я, поощряемый такой грубой и сильной организацией, как Бас, плел нивесть что:

— Всё сожрем! С ножками, с рожками, с ручками, с перышками, с глазками...

Всё же, после продолжительных дебатов, решили шкуру пока отложить. Вот и вся повесть о Сером котенке. А вон под столом и шкура зверя. Всё остальное сожрали и напились вдоску.

— И спирт достали?

— Да. Бас где-то спер, целый бидон. На твою долю — почти два литра.

— А котенок вкусный?

— Объяденье! Как крольчатина, телятина, баранина — и вообще, как котлеты. Жаль, что ты не подоспел, а то бы тоже сподобился. Жаль, что меня рано разбудил. Ведь мы спим до обеда. А теперь мне сразу жрать хочется. Странно: кажется, ко всему человек может привыкнуть, а вот к голоду — никак.

Дмитрий достал из кармана кусок

хлеба (пайковъый), по-блокадному завернутый в тряпочку:

— Вот у нас есть и закуска. Выпьем для аппетита.

Оба сначала выпили, а потом медленно сжевали хлеб. Саша удивлялся:

— И как это ты не съел по дороге? Это же подвиг. Спасибо, дружище. И чем тебя благодарить?

— А спиртиком.

— Ну, это же наше общее. А впрочем, как теперь все говорят, после войны рассчитаемся.

— Напиши новое стихотворение серому котенку, съеденному, и посвяти его мне.

— Не смейся. Мне кажется, что конец Серого котенка — это конец и мне, как поэту. Настоящий поэт имеет право делать зло только самому себе, в чем, надо сказать, поэты всех времен и народов весьма преуспевали. Современники похитрее, но тоже хороши... Я забыл рассказать тебе самое главное: старушка ползала по всем этажам с призывным воплем: «Ва-ся! Васенька!» Мы все Чубука толкаем — откликнись, скотина! Старушка не знала, что котенка уже не Васей, а Митькой звали. Теперь у меня в животе все время что-то урчит-мурлычит: не то совесть, не то котенок... Как я рад, что ты пришел. Я тебя понимаю: трудно жить на два дома, если расстояние между ними — сто верст до небес, и все пехом.

На лестнице кто-то чертыхался тонким голосом, всхлипывая. Это была Сара.

Как она стала кассиршей — никто не знал, кроме Баса, с которым она давно уже была, как сплетничали еще в мирное время, «в состоянии романа». О том же, в каком состоянии пребывал этот роман, — сам Бас помалкивал. За несколько дней до того, как сесть в вертящееся кресло, она призналась Басу:

— Он меня соблазнил.

— Кто? — спросил Бас прозно.

— Да этот самый, как его, директор «Баррикады». Я сидела и смотрела на него и думала: еврей или великий — непобедимый, сиречь русский

народ. Он заметил мой взгляд, задумчивый и нежный, подошел и спрашивает: «Не знакомы ли вы с работой в аппарате советской торговли?» Я говорю: во-первых, я не знакома с вами, во-вторых, — с этим аппаратом, в-третьих, — я непрочь познакомиться с первым и со вторым.

— Кто ж кого соблазнил? — недоумевал Бас.

— Он же, а то кто? он же мне предложил переселиться к нему жить. Я пообещала — когда-нибудь, через некоторое время. Мне — лишь бы пожить, хоть несколько дней.

Потом кучерявого красавца-директора «Баррикады» взяли на фронт. Теперь новый директор сделал ревизию и нашел, к ужасу кассирши, что не единичные фальшивые талоны теряются в массе «правдашных», а наоборот: в массе «оригиналов» тонут «подлинники». Сара пришла предупредить:

— Меня снимают с работы, а вам всем я не советую пока появляться.

Сара то всхлипывала, то шмыгала носом со знаменитой горбинкой. Саша накинул ей на плечи одеяло.

— Замерзла, бандитка? Смотри — даже глаза твои голубые посинели от холода. Ничего, будешь жить с нами, благо, что мы спим не раздеваясь, как некий —

Город спит не раздеваясь,

Не снимая даже крыш...

Мы тебя за человека, то есть за женщину, не будем считать. Хочешь? Подай заявление о приеме в нашу коммуны. И вот, выпей стаканчик.

Выпив, Сара стала веселее. Ее матово светящееся, попрежнему красивое лицо порозовело. Глядя на нее, Дмитрий думал: «Какое счастье для мужчин, что такие красавицы иногда не сознают всей силы и власти своей красоты».

— Я хочу выпить еще. Гидальго, — так она называла Дмитрия, — наполните, пожалуйста, бокал. Я хочу быть пьяной вдых... Кто это — вдых? Печники и трубочисты. Плотники бывают пьяны вдоску, стекольщики — вдребезги, попы — до положения риз, отсюда

фамилия Ризположенский, сапожники, самые большие пьяницы, — встельку и как сапожник, а мы, студенты — как все эти работнички вселенной, вместе взятые. Правильно я говорю, гидальго?

— Одного не пойму, Донна-Сара, как это ты не испугалась висельника?

— Ах, да! Я и забыла. Я испугалась, потому и заплакала, а потом забыла. И почему не убираете?

— Если ты поселишься у нас, сразу уберем, — пообещал Саша. — А пока мы решили: пусть соберется такая трупша из трупов — мы их вместе и отправим на тот свет.

— А разве они — это самое — еще не на том?

— Кто же знает, детка моя. Все там будем, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью.

19.

Бытие

«...пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть».

— Энгельс, которого я всегда считал выше Маркса, сказал, что бытие определяет сознание. В моем детстве сознание определялось также бытием. Теперь не только сознание, но и вся жизнь определяется добытием. Чем больше мы добудем, тем дольше живы будем. Поэтому я и предлагаю Митькин проект добычи капусты в обмен на спирт принять к исполнению. С верой в наше правое дело, с надеждой на успех, под чутким руководством Алкашки, а также партии и правительства, — я ставлю на кон свой еще целый литр и вызываю на соцсоревнование по спирто-сдаче вас всех! — Бас тяжело вздохнул, — ему всё же не хотелось отдавать спирт, — сел на кровать.

И всем не хотелось, но все согласились, как с делом государственной важности. Только осторожный Вася Чубук посоветовал не рисковать всем запасом спирта, а «выделить на это дело» не больше двух литров. Все с ним охотно согласилось, а Сеня Рудин добавил:

— Тем более, что какая-то девчонка когда-то рассказала ему, Алкашке, про какие-то бараки за Володарским мостом. Может быть, их уже давно снесло, эти бараки, да и мост тоже?

— Ну, ладно, смотри, как бы тебя тут самого не снесло, — обиделся Дмитрий. На этом утреннее «производственное совещание» закончилось, а поход Дмитрия и Саши за капустой начался.

До моста дошли только в полдень и остановились в нерешительности. Очевидно, сам мост был под обстрелом: снаряды рвались близко на берегу и в реке, кромсая лед. Танковая колонна остановилась, и танки расползлись в разные стороны. Колонна машин повернула обратно. Пешеходы остановились и попрятались в подворотнях.

— Ну это часа на два зарядил! — с досадой сказал Саша, — что будем делать, Митрий? Ждать? Веером начинают крыть.

— Если веером, то в нас угодить могут. Подождем немного и двинем напропалую. Не пустыми же возвращаться.

Саша вскрикивал после каждого близкого разрыва:

— Недолет!.. Перелет!.. Избушка — дым... Барак — прах... Не наши ли, Алкашка? — Нет. Наш дальше, за поворотом шоссе. И не забудь: красные ставни.

Вскоре обстрел прекратился. По мосту прошло два десятка танков, колонна автомашин и несколько пешеходов.

Подойдя к мосту, Саша гордо посмотрел в сторону фронта, поднял руку и звонко скомандовал:

— Вперед! За капусту! За Ста... и поперхнулся.

— Богохульник. Опять хлебнул? Покажи-ка бутылку. Что же для капусты... — Дмитрий не успел договорить. Над головой с оглушительным шипением пронеслась масса раскаленного воздуха. Падая, он подумал, что ему оторвало голову. Сашу отбросило к перилам. Он поднялся, отряхнулся от ледяных осколков — ими

засыпало весь мост и перекрестился:

— Прости мне, родина, этот призмизм: капусту и прочее... Ты простишь, я знаю. Родина все прощает своим блудным сынам, если они ее любят. Митька, ты встанешь сегодня или нет?

Дмитрий еле встал, но через несколько шагов пришел в себя. Пока шли по мосту еще пять-шесть снарядов разорвалось вблизи, обдавая мелкими осколками льда. Саша ворчал, прозя кулаком в сторону фронта:

— погоди, фриц, мы тебя не такими осколками закидаем. Мы тебе до самой смерти этого не простим.

Длинный мост, но показался еще длиннее. Сходили уже по крутому спуску к берегу, как — снова недалекое, за синей полоской леса, пробочное «тук» — и лавина раскаленного воздуха, как падающая стена, придалавила всех, проходящих по мосту. Огромная, вздыбленная в небо, перекинутая через реку железобетонная дорога вся содрогнулась от удара. Но все же устояла.

Любому дипломату, кабинетному вояке, одного такого моста хватило бы на всю жизнь: пройди он по нему — ни о какой войне не помышлял бы больше.

— Да, теперь я понимаю, что такое жизнь, — вернее — жизненный путь, — сказал Саша, прикладывая снег к синей шишке на лбу и одновременно прикладываясь к бутылке: — мост, перекинутый между жизнью и смертью.

«Тамарин» барак нашли без труда: красные ставни виднелись издали. Им открыла молодая краснощекая баба лет сорока — вся будто из иного, неблокадного мира. Видно, она только что мыла посуду — от ее полных красных рук шел пар, а от всей ее крепкой и ладной стати веяло добрым и мягким постельным теплом и немножко спиртом.

— Спи-ирт? — почти пропела она. Да у нас его — хоть залейся — со всего городу нясут и нясут... Но уж привязали, так давайте. Присаживайтесь, пока, — и она улыбнулась ласково, слетка насмешливо. Посмотрела

бутылки на свет, поставила их на стол, безжалостно и небрежно смахнув с него хлебные крошки на пол. — Только тсс... — она приложила палец к губам. В соседней комнате кто-то могуче и сердито храпел. В углу на вешалке висела командирская шинель и португез. Видно, ни свист снарядов, ни близкие разрывы не беспокоили обитателей прифронтового барака. Хозяйка отпила глоток прямо из горлышка, зажмурилась.

— Вот это попробовала! Мать моя родная... И где же вы такую крепость взяли? Уж так и быть, выпьем маненичко, да закусили бы, а? Детки мои...

— Дали бы, тетенька.

На столе еще остались крошки, особенно много их было в трещинах. Саша слюнявил палец, нашлепывая на него крошки и отправляя их в рот. Дмитрий выковыривал их из трещин ногтем. Потом хозяйка поставила на стол три стакана и полную миску капусты. Глаза у «деток» заблестели, сочная капуста захрустела на зубах, и через минуту ее не стало. «Тетенька» глядела на них юмористически-смеясь сквозь слезы, ее белые тяжелые груди жарко вздымались, распростанные в старом, дырявом платье.

— Боже, как уплетают!

Выпили еще по стакану, и с первым литром было покончено. Приступая ко второму, хозяйка поставила перед ословевшими гешефтмахерами еще одну миску капусты, причитая:

— Господи, Боже мой, хлебушка-то у нас нет, как жаль.

Друзья оживленно обменивались впечатлениями:

— Так засолить капусточку могла только моя мама, изредка недовольная советской властью из-за неурожая на огороде.

— А я никогда не думал, чтобы от такой кислятинки на душе становилось так сладко-сладко...

— Я в ваши годы еще слаще была, — вдруг сказала хозяйка.

— Да вы и сейчас ничего себе, — польстил Саша.

— Себе — не вам. Сколько ж вам дать с собой? И в чём? она же потечет.

— Ничего. Потечет, потечет, да и замерзнет.

— И то правда. Ну я полезу в подвал. Кто-нибудь помог бы мне. С полпудика дам. — Саша пошел с ней. Вернулся только через полчаса, раскрасневшийся, чем-то недовольный:

— Пойди-ка ты теперь. Я устал, да и не получается у меня ничего.

— А что ж там делать? Бочки вращать?

— Да, бочку вращать...

Подвал был жилой — как комната, с буржуйкой, столом и кроватью. На ней, на пестром лоскутном одеяле сидела добрая женщина:

— Иди, иди, голубок, не бойся. Капуста подорожала нынче...

Провожала она их ласково, пригласила еще, советовала:

— Только не по мосту прите, а по низу, по льду. Я и то удивляюсь, как это вас патруль не задержал? (Ведь здесь еще с осени фронт, и с тех пор штатским типам запрещено появляться.

Пошли всё же снова по мосту под сплошным обстрелом. Падали, поднимались, шли пьяные. На том берегу их встретил военно-морской патруль, но пропустил молча: слишком уж у них был по-блокадному приличный вид: невмеру худы, вмеру оборваны. Самое страшное было позади, а мешочек с капустой давно уже стал куском льда, но согревал сердце. Саша бодро напевал:

Мы по бережку идем,

Песню Сталину поем.

Ой да ая-яй...

— Молчи, — одергивал его Дмитрий, — или опять хочешь наклепать снаряды на нашу голову? И не думай, что я тебе прощу сегодняшнюю историю. Сам влип и меня втравил.

— А что ж мне было делать, — оправдывался Саша, — она пригрозила, что если ты не придешь, не даст капусты. И вообще это тебе за мою окопную любовь. Смеется тот, кто

смеется, подумав: над чем смеется и зачем!

— Хорошо, — примирился Дмитрий, — спишется за счет войны, капусты и спирта. Пьяные все же были. Только смотри, никому не рассказывай...

Но разве мог Саша удержаться? Сначала его все коммунары слушали молча и недоверчиво, потом подняли такой веселый шум, что старушка пришла спросить, не нашли ли котенка. На радости дали ей немного капусты, предложили и спирту, но она отказалась: «Нельзя, детки: Рождественский пост».

Больше всех восхищался Бас, всегда склонный отмечать успехи других: — Вот это — добытки! Сказать-признаться, и в моей практике такого не было. И спирт сами ополовинили, и капусты достали, и с тенькой развлеклись, а главное — «явку» организовали. В другой раз я поеду один.

— Пошляки, шалопаи и хамы, — сказала Сара и, дожевывая комоч капусты, поднялась уходить. — Хотела остаться у вас ночевать, но теперь — ни за что.

Ее не удерживали — знали, что завтра все равно придет варить щи. Бас сказал ей вслед:

— Никого не бойся, кроме меня, а я так и так на тебе когда-нибудь женюсь.

Но Сара не пришла ни на следующий день, ни через неделю. Она «пропала».

Дмитрий ушел к сестрам, взяв с собой немного спирту и капусты. Еле дошел и слет. «Прострел» не давал покоя, или поход за капустой по такой «густо пересеченной местности» не прошел даром.

По утрам Тамара ходила за хлебом в сестрин магазин. Как все, стояла в очереди. Нина всегда отпускала ей хлеба вдвое больше, чем полагалось по талонам, сама же не имела права выносить из магазина ни куска.

Ели раз в день. Весь хлеб (500 грамм) Тамара «вбухивала», по ее выражению, в тюрьму, т. е. крупно крошила его в миску с теплой водой

и густо солила. Вечером пили «чай» — кипяток с солью, изредка с конфетами.

В первые дни блокады мало кто думал о том, что не станет хлеба и будут умирать с голода. Все спешили запастись солью, благо, что в магазинах ее было полно и стоила она копейки. Соли хватило на всю блокаду. Она и погубила многих. Ее ели, как хлебные зерна, пили воду, опухали.

Нина была сыта на работе, дома пила только чай, если были конфеты, (сахара в магазинах не было — весь стгорел на Бадаевских складах). Целыми днями Дмитрий и Тамара сидели дома. К ним повадился ходить управляющий домами их улицы, старый партизан Малиновский. Первый раз он пришел по долгу службы: узнать, что это за «дворянский приятель» так часто ночует у сестер, а потом, видно, понравилось. «Или учуял что своим длинным носом?» — думал Дмитрий.

Малиновский был страстный и нечистый на руку картежник, весельчак и циник. В гражданскую войну он партизанил где-то на Дальнем Востоке. С тех пор у него осталась большая шрам на щеке, буденовские усы и привычка спрашивать, ни с того, ни с сего, у всех:

— Ты за кого, душа любезный, за красных или за белых?

Осталось у него и еще немало привычек, помогших ему быстро разбогатеть в дни блокады. Он руководил бандой подчиненных ему дворников и управдомов помельче, которые прабрили пустые квартиры, отбирали продкарточки умерших и присваивали себе.

Малиновский был вечно трезен, не брит и откровенен.

— У меня мечта, — говорил он Дмитрию, — если придут немцы, открою ресторан или женское заведение, если победят наши — отдам деньги на заем пятой или десятой пятилетки. Пусть обо мне тогда в газетах пишут и читают.

Маленькие его бесцветные глазки всегда поблескивали, прячась в глу-

бине всего его мясистого, заросшего, почти безлобого лица.

— Удивляюсь я на вас, — говорил он Дмитрию с усмешкой. — У вас такая ценная приятельница-булочница, а вы ходите весь такой ободранный и весь такой голодный. Хотите, мы с вами организуем так, что и сыты будем, и пьяны, и нос в табаке. И золотишко приобретем. Полкило хлеба — золотые часы, еще полкило хлеба — еще золотые часы, и так далее. Раскошеливайтесь, буржуйчики недорезанные, если жить хотите.

Слова Малиновского неприятно поразили Дмитрия, он терялся в догадках: «Что это — сексотомания, или советы опытной, подлой старости: как жить, вернее — как выжить?»

— Надоть действовать, соображать кое-что, — твердил Малиновский, — через вашу драгоценнейшую подругу. Я предлагаю вам свой опыт и помощь.

Дмитрий отказался:

— Моя подруга не такая уж «ценная», как вы думаете, но если бы даже мы имели лишний кусок хлеба, то съедали бы его без промедления. Когда я ем — я чувствую, что живу, когда курю — живу с удовольствием, а когда немножко выпью — на седьмом небе. Что же мне даст золото? Вот вы больны цынгой, как и я, хоть и не в такой степени. А что стоит одна луковица?

— Не котируется, — серьезно ответил Малиновский. — Во всем городе вы не найдете ни одной луковицы ни за какие деньги. Ни морковки, ни яблока, ни какого другого фрукта.

— Такого фрукта, как он, не только во всем городе, а, на мой взгляд, в целом свете не найдешь, — говорила Тамара, не терпевшая «этого старого хрыча управдома».

Иногда он кричал, едва переступив порог:

— Ух, как она поднялась! — Или шептал тревожно:

— Падает, стервоза желтобокая.

Речь шла о «николаевской десятке» — десятирублевой золотой монете с чеканным изображением Николая Первого. — Бывший борец против ка-

питализма играл на золотой бирже Голодного рынка.

— Эх вы, жалкий пережиток капитализма! — упрекал его Дмитрий.

— Ну и пусть пережиток, — соглашался он, — вот и переживу вас всех, комсомольцев. Что, выкуси! Сильнее нас всех этот пережиток.

Он никогда не засиживался:

— Спешу, лечу! Масса дел. Счастливо вам оставаться, влюбленная парочка.

— На мой взгляд, на мой счет вы ошибаетесь, — возражала Тамара, но он не хотел и слушать:

— Знаем, все знаем, старого воробья на мякине не проведешь. А если еще нет, так будет, попомните мое слово.

— Старый хрыч, — ворчала Тамара, — и чего ему от нас надо? А все ты виноват, Митя. Не приваживал бы — он бы не приходил.

— Прости, я виноват, — согласился Дмитрий. — Этот явно преступный тип интересовал меня, так сказать, с литературно-художественной точки зрения, а теперь я не знаю, как от него отделаться. Взяла бы ты эту миссию на себя.

— Какую комиссию? Выпроводить его? Ладно, попробую.

На пробу Малиновский «нарвался» сам: он попробовал ущипнуть Тамару «за одно место», — рассказывала она потом Дмитрию (он тогда спал), — и был выставлен за дверь.

«Руки прочь от Советского Союза, — сказала я и плюнула всердцах».

— В каких сердцах, партизан ты в юбке? — спросил Дмитрий, довольный.

— Допустим, в твоём и моём.

«Второй звонок, — подумал он, вспомнив Октябрьский праздник. Кажется, старый ведун прав: если еще нет, так будет». Ему не хотелось больше думать об этом, но приятно было видеть ее ласково смелые глаза или, не видя, чувствовать на себе их взгляд. За дни болезни он понял, что если бы с ней что-нибудь случилось, — пошла бы утром за хлебом и не вернулась, он, стряхнув с себя болезнь, пошел бы ее искать, и один, без

нее, никогда не переступил бы порог этого деревянного, чудом уцелевшего и сохраняющего его жизнь дома. «А если что случится с Ниной?» — спрашивал он себя и отвечал поспешно: «Ничего с ней не может случиться». Лежа в постели, чаще всего мечтал, строго последовательно, об одном и том же: блокада прорвана, герой-ленинградец едет домой на отдых. Он не пишет писем, не шлет телеграмм. Он падает, как снег на голову, и обязательно ночью. Если приедет днем — не пойдет домой, подождет до ночи. Он осторожно, чтоб не скрипнула, отворит калитку и тихонько постучит в дверь. Потом... Но что будет потом, он не мог себе представить. Дальше стука в дверь мечты не шли, стройный порядок их нарушался, герой засыпал.

Во сне он никогда не приезжал домой, но часто видел Тоню, и ее губы, всегда словно надутые от обиды, шептали ему что-то на ее, тоном, запутанно-нежном наречии, вроде: «Это ты? Неужели! Я так всегда и мечтала, что вот встретимся и тому подобное, сам знаешь, зачем много говорить?»

Несколько раз на день засыпал, просыпаясь, всегда хотел есть и говорил Тамаре со вздохом:

— Одно только и остается в жизни — книги.

И читал, сладко зевая, «Княжну Джаваху».

Тамара штопала или стирала, и только через час, когда он успевал снова поспать и проснуться, с обидой спрашивала:

— А я?

— Что — ты? — не понимал он.

— Ты говоришь, что ничего не остается в жизни.

— Не смотри на меня так ужасно мрачно. Ты, конечно, остаешься. Как же без тебя? Ты же знаешь, что я тебя люблю, как сестру.

— Как Нинку? Ты ее не любишь, хоть мне не втирай очки. Ей — можешь.

— Не как Нину, а вообще. Я вижу, ты в плохом настроении.

На этом разговор обрывался — Дмитрий засыпал, и Тамара умолкала.

ла, обиженная. Если было тихо, она шла к соседке спросить, не слышно ли о прибавке хлеба.

Так прошло несколько дней, прошла неделя — и Дмитрий понял, что не «прострел», не поход за капустой — причина его болезни, апатии, усталости, а сама дистрофия, и в какой бы она степени ни была, — это начало конца. Надо бороться за жизнь: встать с постели, ходить, воровать дрова у давно умерших запасливых соседей, дышать свежим, хоть и чересчур, воздухом (-40 по Цельсию), сходить, наконец, в общежитие... Он встал, походил по комнате и снова лег.

День разделялся на две равные половины: до тюри и после тюри, причем после тюри пилось много воды. «А вот я как возьму да поднимусь, мадам Дистрофия, не знаю, в какой степени, — еще до тюри, — тогда мы посмотрим, кто кого, — прозился он, стучал кулаком в стену, но так и лежал пластом без мыслей, даже без мечтаний под заглавием «Вот блокада прорвана...» Не встал бы он и после тюри, если бы не пришел Саша с кучей новостей и литром вареного масла, без шапки (потерял по дороге), звенящий завитыми морозом косичками-сосульками. Они быстро оттаивали, и по сашиному лицу стекали, если бы не грязные, то совсем, как слезы, капли.

Дмитрий смотрел на него внимательно, отстраненно. «Как быстро гложет голод лица людей, — думал он, — вот Саша. Давно ли я его не видел, а уже не узнать... Вот оно, лицо друга: грязно-бледное, опухшее, с усталыми и добрыми голубыми глазами, с мешками-подглазниками, будто для собирания слез. Немало он их еще до войны пролил. Вот оно, лицо друга, пришедшего к тебе на выручку. Смотри на него — и запомни навсегда.»

Говорил Саша без прежних своих ужимок, без вскидывания бровей чуть не к самым вихрам, не размахивал руками, словно на все это у него уже не хватало энергии. Но все же это был прежний Саша:

— Во-первых, мадам Бронская от-

равилась. Записку оставила, я ее подшил к делу. Один артист застрелился, записки не оставил, другого нашли замерзшим у нас же в подворотне, остальные полутрупы разбежались из трупы. Веселая вдова заглянула один раз к нам на огонек, попала как раз на щец из нашей капусты, отведала, улеглась спать на моей кровати (со мной, конечно) и со словами «Такие не пропадут» — уснула. Я уснул с мыслью: «Такая не пропадет», и всю ночь чувствовал ласковое женское тепло...

Тамара, хлопнув дверью, ушла. Саша, заморгав глазами, умолк.

— Ничего, это она «всердцах». Продолжай, — сказал Дмитрий.

— Утром просыпаюсь — лап, лап, а ее и след простыл. Так и пропала. Наверное, где-нибудь занесло снегом. Профессору нашему, конечно, отделили спирту, капусты и вареного масла. Благодарил, спрашивал о тебе. Я ему наше путешествие так расписал, что он здорово смеялся. Тихонько, правда.

Два великих молчальника подрались из-за табаку. Бас, разнимая, поставил обоим по одинаковой шишке на лбу. Я всю дорогу думал об этой драке. Что, если она симптоматична?.. А самое главное — Сара исчезла. Бас побывал у ее тетки, но она его встретила весьма холодно: лежит посреди комнаты, мертвая. Бас приуныл, и все с ним. А тут еще ты пропал. Командировали меня, как друга сестриного дома.

— Спасибо. А как же масло достали?

— Это Чубук отличился, раз в жизни. Он последнее время в Домтехе один работал. Заставили его там в подвале порядок навести. Он и навел. Увидел боченок с этим маслом — и к нам. Не теряя времени, пикируем, по одному, в подвал. А там Чубук уже и разливку затеял. Так, в два-три захода, боченок опустел. На нем было написано: «Олифа подсолнечная». Я эту надпись стер. Противно читать. Что значит — олифа? Масло да и всё. Сойдет за масло. Уже сошло: на пробу вынесли два литра на рынок, взя-

ли за них почти два килограмма хлеба. И странное дело — говорят, теперь олифа по всему городу пошла, будто с нашей легкой руки, и даже цена осталась, какую мы установили случайно и стихийно: كيلو хлеба за литр.

Вечером Саша принял посильное участие в добыче дров и семейном совете за чашкой соленого чая. Нина была молчалива и грустна, но последнее слово, решающее проведение операции «Мертвая конская голова», принадлежало ей: она давала хлеб, как главный залог успеха: целый килограмм! Пол-литра олифы и почти литр спирта тоже были, по общему мнению, «не пустяк».

Идею операции предложила Тамара, название дал Саша. Вдвоем они и пошли ранним утром в ночную тьму. Сначала Тамара получила в булочной у Нины хлеб (очередь, к счастью, была невелика), потом повела Сашу по узким и запутанным переулкам, с редкими уцелевшими деревянными домишками, похожими на темные сугробы, к цели операции: конюшне одного из отделений треста «Гужтранс».

— Главное — проскочить сквозь проходную будку, а там уж я спрошу дядю Васю, — сказала Тамара таким тоном, что Саша понял: командовать парадом будет она. Дядя Вася был сосед-извозчик, еще с осени перешедший на «конюшенное положение», о котором сам говорил, что нет положения более свинского. Недавно в очереди за хлебом осколком снаряда убило его жену, и он с тех пор не приходил в пустую квартиру.

— Он меня любит с детского возраста, — сообщила Тамара Саше.

— Своего или твоего? — не понял он.

— Боже, как вы глупы. Но он ничего сам не может нам дать, потому что у них, как у вас в общежитии: твое — мое и всяческая круговая порука.

Проходная будка была выше и шире любой собачьей и оказалась легко проходимой; только сугробы упрямо высились по сторонам, сама же она стояла пуста и темна. Тамара да-

же обиделась: операция начиналась слишком неинтересно легко. В углу большого, как поле, двора кто-то выругался так по-извозничьи, что даже Саша ничего не понял. Зато Тамара поняла, что это «выражается» ее дядя Вася. Она выпалила ему одним духом:

— Мы к вам в гости по делу: насчет конины на хлеб, спирт и масло.

Они вошли в тесную конторку, где у раскаленной печурки сидели извозчики и о чем-то усиленно молчали, как умеют молчать только советские извозчики, потому что возят не людей, а грузы. Они, главным образом, курили: жерла свернутых из газеты огромных, как коленчатые трубы, козых ножек дымили пушечно, пламенели доменно. Все «дяди» были похожи друг на друга: красные морды, красные руки, бороды от глаз до груди, вонючие тулупы и неснимаемые шапки-ушанки. Двое, сидя за столом, что-то ели из горшка, незлобиво ворча друг на друга:

— Балу-уй!

— Прими! Ложку свою прими...

Как непохожи эти люди на апокалиптян, что так важно и гордо ходят по городу с неподвижными смертельно спокойными лицами-масками и пустыми глазами, устремленными в вечности... Это люди каменного века с каменным выражением животных лиц, пещерные обитатели возвратного первобытного коммунизма, — переходного периода к Апокалипсису русского толка.

При виде спирта их каменные лица оживились, и начался сложный и хитрый торг. Вечером, за сытным ужином, Саша рассказывал о нем так:

— Тамара мне шепчет: «Торгуйся с ними, ты же мужчина». Какой я мужчина — я и сам не знаю, но все же довольно храбро вступил я с этими бородами в переговоры. Долго переговаривались. Я им, для начала, и о политике загнул, и о немцах, и о лошадях — дескать, все мы понемножку лошади, как у Маяковского, но потом понял, что все это напрасно. Как только приступили к делу, они

обо всем забыли. Единицу, говорят, на единицу — и всё тут. А я не пойму, какую единицу? Весовую единицу, оказывается: мы имеем литр спирта, кило хлеба и полкило масла, всего — два с половиной кило, а они нам дают столько же мяса. А мы требуем вдвойне, «да еще с хвостиком», — прибавил я. Под столом у них, я видел, лежали голова, ноги и хвостик — от жеребенка, наверное. Рожки да ножки... Этим хвостиком я их и сразил! Бери, говорят, хвостик. Дали нам, не взвешивая, голову и хвостик... Предложили и каши отведать из отрубей, — объеденческая. Я обнаглел, попросил еще и этих отрубей. «Нет, отвечают, — не можно. Потому — нет заботы о лошадях: корму дают мало, а работы завалились. Ведь мы трупы собираем по улицам. Есть места, где машиной не подъедешь, а мы свободно можем.» Так и не дали. И спиртику не поднесли, а при нас уже начали пить. Не то, что наша капустная красавица. Бросив последний печальный взгляд на макуху (сиречь дуранду), что лежала на столе плитками (говорят, слаще шоколада), гордо удалился. С хвостиком. Даже с двумя: за мной, задравши нос, важно следовала Тамара.

Последнее Тамара опровергла:

— Не он, совсем и не он, а совсем я вышла первая. И хвостик я взяла, и обмахивалась им, и прикидываясь девочкой, пиццала: «Хвостик — мой, никому не отдам, никогда, ни за что».

— Так или иначе, задача выполнена, — сказал Саша, — и я надеюсь, что девочки сварят чудный холодец, или студень, как они называют, все равно, это здоровая русская пища, и я отнесу по кусочку нашим гурманам, если Нина разрешит. Мы там тоже все на конюшенном положении — на Конюшенной улице.

— Конечно, Саша, отнесете им, сколько захотите, — сказала Нина. — Причем тут я? Сами же доставали.

Давно не ели так сытно и вкусно. Октябрьский праздник — после него прошло почти два месяца — не мог сравниться с этим пиршеством.

— Первый раз в жизни! — сказал Саша.

Тамара подкладывала Дмитрию лучшие куски, приговаривая:

— Ешь, болезный, выздоравливай.

Ему это не нравилось, но молчал, думал: «Да, такое бытие, действительно, определяет сознание: только и думаешь о том, чтобы пожрать. Но все же я не хочу съесть больше других и пихну Тамару под столом ногой, чтобы она не делала глупостей.»

20.

Дочь России

Генерал все же добился своего: Тонно откомандировали к нему, в армейский госпиталь, еще до октябрьского праздника. С госпиталем своим она рассталась без особого сожаления, да он уже и не был ни военным, ни морским и перешел в ведение Городского совета.

Генерал принял ее любезно, кротко и коротко. — Пусть хоть тебя убьет, но у меня под боком, — сказал он. На этом аудиенция была закончена. Генерал был занят сочинением очередной петиции в Москву — о том, что его армии надоело быть «недвижимым имуществом Командующего фронтом», что она рвется в бой и т. д., и что, между прочим, самолеты снова сбросили заплесневелые сухари. Но, подумав, что жителям города и таких не сбрасывают, вычеркнул сухари и поставил кляксу. Подумал: «Кого же мы защищаем — город или жителей? Еще два-три месяца, и никого не останется, если верить слухам. Нет, мы защищаем не жителей — большинство из них могло бы сражаться в наших рядах, — а город. Но что же город? Ключ к победе или поражению? Нет. Тупик — да, и мы, если продержимся еще немного, найдем из него выход. Тогда мы преклонимся перед теми из них, кто останется в живых — там, в этой каменной гробнице, и попросим прощения за то, что плохо воевали и жрали сухари. А город — он для меня, и для командующего фронтом, и для доброго десятка генералов, а если копнуть поглубже, по-

сочувственной, — почти для всех: Северная столица, символ славы и мощи России, святыня, хоть и переименованная...»

Выходя из штабного дома, Тоня улыхала, как машинистка жаловалась адъютанту:

— Вот чудак наш генераша: как будто не знает, что у моей машинки нет на вооружении ни вопросительного, ни восклицательного знаков. Лепит их, где попало, и в конце — обязательная клякса. Сколько раз ему говорила: поменьше эмоций!..

Развязный тон пышноволосой и пышнотелой «пишмашки» задел Тоню, но промолчала («меня не касается»), и только косо посмотрела на ее выкрашенные в гоголевский цвет — брусники с искрой — губы.

Один раз разрывная пуля легко коснулась прудки суровенькой фельдшерницы, другой раз ее чуть не убило снарядом, и совсем не под боком у генерала, и он никогда не узнал об этом. Только через полтора месяца он сам пришел ее навестить в ее палатку и, неловко сунув плитку шоколада в карман ее полушубка, велел собираться в город:

— Съезди. Посмотри, как там. Все узнай. Слухи, сама знаешь, какие ходят — не знаешь, верить им или нет. Будто уже до людоедства дошло. Действуй, как военный разведчик, или, на детском языке, — шпион. Заметь, какие разрушения, узнай, какие заводы еще работают, какая, приблизительно, смертность. Ты должна все узнать.

Тоня с недоумением смотрела на его большое, привычное для нее чуть не с детства, лицо, невольно отмечая новые морщины — борозды на высоком лбу и морщинки-скорбинки у рта.

— Неужели даже ты не можешь узнать правды? — спросила она.

Родственно зеленоватые глаза генерала злобно сузились, дрогнув бессонными красными веками, и словно выжали слезу — так заблестели.

— Все врут, все врут, — сказал он, — по долгу службы. Прямо хоть к шоферам обращайся! Но те врут еще больше, только в другую сторону. По-

езжай, детка, как моя дочь, как дочь России — понимаешь?

— Ну, хорошо, я поеду, узнаю, — согласилась она, — но что изменится от того, что ты будешь знать правду?

— Не во мне одно дело. Теперь даже заведомые негодяи и подлецы людьми становятся: война перевоспитывает. От жестокой правды злее и умнее будем. Нашу русскую дурость надо шапками закидывать. Враг превзошел все ожидания, хорошие и плохие... Поезжай с Богом.

— С каким Богом, с Марсом?

— Хоть с Марксом. Во что-то верить надо. Но лучше — в настоящее, чем в какую-то доктрину. Пойди, возьми у моей машинистки твои бумаги, они должны быть готовы. Будешь ехать попутными машинами, как будто не от меня. И еще — чуть не забыл — зайди домой, если дом цел. Там в желтом чемодане, на дне, найдешь пачку писем. Сожги ее. Там письма одного моего старого друга — генерала. Все думали, что он погиб, а он, по слухам, перешел к немцам. Вот я и не знаю: подлец он, неудачник или Дон-Кихот... Ну, отправляйся. Провожать не буду — чином не вышла. Смотри там, чтоб тебя саму не съели. Тогда не показывайся мне на глаза даже во сне.

Тоня пошла по новой свеженатоптанной дороге, начинающейся чуть ли не от штаба армии, мимо заброшенных, занесенных снегом дач, избушек и палисадников. На дощечке указательного столбика, воткнутого в снег недалеко от штабного жилья, черными, словно траурными буквами написано: «Ленинград. 60 км.»

Обрадованная неожиданным и почетным заданием генерала, она все шла и шла, не останавливая проезжающие грузовики, пока какая-то «полуторка» сама не остановилась, поравнявшись с ней. Из кабины высунулась пилотка с отмороженными красными ушами и рука с потрескавшимися пальцами. Шофер, красный (от мороза) молодец лет 22-х, окинув «сестричку» взглядом опытного в недавнем прошлом форштадтского уха-жора, пригласил «разделить с ним

путешествие, если хотя бы «слегка по пути».

«Газик», тупым носом рассекая снегопад, легко подпрыгивал на ухабах, мимо невысоких холмов, покрытых тощей карельской хвоей. Шофер едва успевал показывать:

— Мы проезжаем Тосково... Парголово... А вот, обратите внимание, Черная речка, где, как всем известно, был убит Пушкин... А вот и город. Острова... Каменноостровский проспект, Троицкий мост...

— Спасибо. Дальше я знаю сама, — перебила Тоня. — Ссадите меня у Арки Главного штаба.

— Очень слегка рад доставить вас по назначению, — сказал шофер, галантно открывая дверцу кабины.

Тоня снова вступила на блокадную землю, политую кровью, покрытую грязным, обледеневшим снегом и трупными наростами. Трупы, трупы... Они чернеют на снегу во всевозможных позах, высовывают руки из сутробов, а вот у пробитого бомбой вестибюля Эрмитажа стоит часовой, прижимая винтовку к груди, и глядит на прохожих стеклянными глазами. Очевидно, он был так юн — огонь мороза не сжег его белое и чистое, севернорусское лицо. Он стоит, как живой. «Почему же их не убирают?» — спросила Тоня прохожего, но он ничего не ответил, не обратил на нее никакого внимания. Взглянув на его лицо, она устыдилась, что затронула его: это был лик святого. Правда, этот святой, споткнувшись о лежащий поперек тротуара труп, тихонько, но внятно и нецензурно выругался. «Даже у нас на фронте убирают и хоронят трупы», — машинально сказала она ему вслед. Не знала Тоня, что разница между фронтом и осажденным городом — в том, что на фронте успевают убирать трупы, а в городе — нет.

Она присмотрелась к апокалиптикам. Все они были похожи друг на друга своим жалким и величественным видом, глазами, остановившимися будто на том, что одним им открылось, будто они уже знают, что тайна смерти — это бессмертие. Они смотрят

сквозь все, что встречается на их пути, сквозь себе подобных, бесподобных людей, сквозь метель и дома. Сквозь дома они и ходят, по одним им знакомым пещерным проходам и тропам из улицы в улицу, сокращая свой путь. К чему? У них один путь — к смерти.

Весь день бродила Тоня по городу и постепенно пустела её сумка с провизией — почти весь хлеб и шоколад раздала она апокалиптикам с подведенными смертельной синевой глазами, — и душа ее наполнялась радостью и гордостью, что это она ходит по священной земле, что это она должна рассказать людям правду об этой земле — генералу, его друзьям, армии — всем, от кого зависит судьба Города-мученика. Мало рассказать. Она должна что-то сделать, как-то поступить. «Как дочь России, понимаешь?» — гипнотически повторяла она.

Она шла, как во сне, порой не узнавая знакомых с детства улиц и площадей. Вот на какой-то площади горит, подожженная термитным снарядом, деревянная обшивка какого-то памятника. Обшивка — пусть. Это — внешнее, оболочка. Но памятник никогда не сгорит, как не сгорит Россия! Рядом горит дом, а остальные дома на площади словно собрались вокруг него, как у костра — погреться. Костер никто не тушит, и он то тлеет, как навозная куча, то разгорается.

На Невском разрушения еще не так заметны, но чем дальше от него — Тоня шла к Театральной площади, к своему Поцелуевому госпиталю, — тем их было больше. Нетронутый, без единой царапины, промоздитесь в небо Исаакиевский собор с заснеженным куполом, уцелели, словно в его тени, гостиницы «Англетер», где покончил с собой последний русский лирик Есенин, «Астория» — бывший приют кутил-героев летчиков и приезжих журналистов, теперь — стационар для диспрофилов (так еще называют апокалиптиков) и памятник Николаю I, заваленный мешками и камнями. Кто теперь бросит в него ка-

мень?.. Но в Сенат попала, видно, не одна бомба. Под сводом, среди аллегорических фигур с отбитыми ногами, восседает какая-то уцелевшая, хотя и с копченными окороками, богиня. «Фемида или Немезида? — думала Тоня. — Лучше Немезида на время войны, Фемида — на после.»

Шпиль Адмиралтейства выкрашен в белый цвет и кажется огромной поставленной на основание сосулькой.

С неба сквозь трещины облаков пролился какой-то жидко-кровавый свет и выглянуло само солнце — будто в дыру, пробитую только что провисевшим снарядом. Маленькое красное солнце.

Она пошла обратно по Невскому, по дороге посмеиваясь над собой: «Тоже мне так называемая дочь России. Будто и правда — долг прежде всего: полетела прямо в госпиталь, и о доме забыла. Может потому, что это не родной дом?» — Она вспомнила, как в прошлом на Кубани подходила к материю к родному дому и прежде всего увидела и узнала переплет старого окна — так, видно, врезался он ей в душу с детства. Но вспомнила также, как соскучилась она по городу за два месяца на фронте, такому близкому и далекому, оторванному от своих защитников, как хотелось на него посмотреть, как даже генерал сказал: «Тянет он меня, как бездна самоубийцу». И подумала: «А если родина — бездна и пропасть, разве может она не притягивать?... Вот встретить бы Митю, да сказать бы ему такое — сразу бы записал в свой блокнот. Тебе впору стихи писать, разведчик ты в юбке...»

Она шла по любимому проспекту, не поднимая глаз от стыда, перед редкими прохожими, за свой румянец и чтобы не видеть этих домов, будто стоящих в очереди за получением снаряда.

Московский вокзал стоит оглохший от тишины, заснеженный, ослепший. Он был её сосед, свидетель её бурных отъездов и приездов, первых свиданий в шестнадцать лет, встреч с Дмитрием. Вот такая же

мертвая, испещренная осколками, новая гостиница — Октябрьская, и широкая Лиговская улица уходит вдаль, к немцам.

Тоня вдруг почувствовала, какая глыба, какая стена тишины пала на город. У нее закружилась голова от этой тишины, ей показалось, что это не она здесь, но её беспокойная и одинокая душа. В первый раз почувствовала она отрыв от самой себя. Не так ли отрывается душа от умершего тела?

— Надо спросить у старушки — думала она, и словно плыла куда-то вместе со всем городом, а в небе плыл воздушный корабль смертельной тишины с пробоинами от снарядов.

До дому оставалось несколько шагов. Шла, всё ещё не поднимая глаз. А когда подняла их, — увидела повалившегося на бок льва, одного из своих церберов. Другой, словно отбежав, стоял в стороне, где вывалившаяся стена первого дома образовала проход в развалины, как в пещеры. Говорят, что в одно и то же место никогда не падает двух бомб или снарядов. Но это не совсем так. Есть города, улицы, дома, военные части и люди, над которыми война поработала с особенным ожесточением. Этому дому, как и многим другим, соседним с вокзалом, досталось не по одной бомбе, не по одному снаряду.

— Вот, — сказала Тоня, и эхо отбросило, удесятерив это слово, от черных развалин. Она вздрогнула и попятилась, как от нечистой силы, — а я-то боялась хлопот с открыванием квартиры, сниманием печати и всяких пломб. Теперь бомбы сами отпечатывают квартиры...

В Поцелуев госпиталь попала одна бомба, отбила от него кусок и шесть окон, как ножом отрезала. Весь он как рябой от осколков, с забаррикадированными камнями и занесенными снегом окнами нижнего этажа.

Тоня встретила двух подруг по работе, а в палате нашла и старушку — «ероиню», как её называл Саша Ивлёв и пехотный генерал — первые выхоженные, незабываемые. Подруги были бледны и худы, даже губы им

красить было нечем... А уж кому, как не голодным женщинам, красить губы — так они у них синеют, мертвеют. В начале декабря в городе помаду начали есть, в Новом году всю съели.

— Оспыди-Сусе, никак жива и здорова? Надолго к нам? — обрадованно спросила старушка с обычным своим деловито молитвенным видом. Тоня смотрела на ее насколько не изменившееся, густо пересеченное морщинами личико и старалась представить себе ее молодой и обязательно красивой: «Ведь тоже была когда-то дочь России, ею осталась и до сих пор, наперекор годам и всем военным стихиям», — и ответила не сразу, словно прислушиваясь к чему-то, вникая во что-то, накопившееся в душе за этот долгий день:

— Я приехала с фронта, командирована сюда к вам на две недели. Но, может быть, останусь совсем.

— На фронте-то лучше, чем здесь, аль нет?

— По-моему, куда спокойней и сытней.

— Это самое главное, что сытней. А мы здесь получаем рабочий паек, но спасаемся приварком: супу едим вволю. А для большинства жителей это недоступно. Оттого и мрут, мрут, как мухи. В одном нашем госпитале в день умирает 500-600 из текущей тысячи. Из нашего персонала тоже почти половина вымерла.

— И приварок не помогает?

— Что ж приварок? Для мужчины или для девицы он — что капля в море. И если у кого какая в мирное время болезнь была — теперь она прогрессирует, и человек умирает, не смотря, что врач или, там, сестрица...

Сменившаяся с дежурства подруга проводила Тоню в общежитие. Оно было недалеко от госпиталя, на улице Декабристов (быв. Офицерская), на втором этаже бывшего Универсального магазина. В выбитой витрине первого этажа уцелел метровый медвежонок с надписью — белым курсивом — на шоколадно-коричневом брюхе: «Покупайте шоколад фабрики им. Микояна». В этом, реклам-

ном, смысле у Микояна было немного соперников: Клара Цеткин, Скороходов, но больше всех — Степан Разин... Подивилась Тоня, глядя на брюхатого, словно ожившего в лучах кроволивного солнца, медвежонок, вспомнила о Зоопарке. «Куда девались все звери? Надо узнать.»

Солнце медленно опускается в зарево пожаров, как домой. Вечер — страдное время для больных, когда они бредят и мечутся в жару, и отрадное для тех, кто за ними ухаживает днем, а теперь уходит, унося с собой обрывки бредовых речей, слов, восклицаний.

Холодно в давно не топленной комнате. Темно в холодной комнате. Но из всех комнат, со всех этажей приходят к Тоне девушки, и каждая несет перед собой копилку, как евангельские дары-свечильники, освещающая скалистые уступы обледеневших лестниц. Все просили ее об одном:

— Расскажи, как там, на фронте? Скоро ли? — А ей слышалось: «Обнадежь»...

И она рассказывала. Обнадеживала. Но сама не верила в то, что — скоро.

А вот что строят ледяную трассу — прокладывают дорогу по льду Ладожского озера — это она видела своими глазами, и девушки изумленно слушали о штабелях окороков, муки, шоколада и даже апельсинов, тянущихся чуть не от самой Вологды до берега Ладоги. Всё это для Ленинграда! А успех армии генерала Федюнинского, за блокадным кольцом, — разве это не начало конца блокады? И Тихвин, и Волхов — снова наши!

— Слишком поздно, — сказала какая-то девушка, всхлипнув. — Там — штабеля апельсинов, а здесь — штабеля трупов. И жди, когда еще эту трассу проведут!

— И что они там возьмется? — спросила другая. — Если лед выдерживает машины, пусть они и катятся себе потихоньку, родненькие.

Тоне пришлось объяснить, что лед всегда замерзает неровно — трассу надо выравнивать, расчистить. Кроме того, она проходит под носом у немцев, они день и ночь бомбят ее и об-

стреливают из орудий любого калибра. Поздно они спохватились (Тоня вспомнила слова генерала: «Провели немчуру! Будут они помнить мою невоюющую армию.»), но, на всякий случай, надо организовать не только зенитную оборону, но и орудийную, и пехотную.

Слухи о стокилометровых штабелях из плиток шоколада и о Ладожской трассе давно уже волновали голодное воображение осажденных — пожалуй, раньше, чем замерзла Ладога.

— Мы все об этом знали, но не верилось, но ты — ты была всегда такая правдивая, что тебе нельзя не верить! — воскликнула маленькая, как девочка, сестрица и кинулась Тоне на шею. А за ней и все. Бывшие подружки по работе благодарили ее за хорошие вести и плитку шоколада. При дележке ее, правда, не обошлось без слез и обид. Только поздней ночью разошлись все по своим комнатам, каждая со своим светильником-копилкой.

Тонина соседка по койке, первой закончив сложные приготовления ко сну, т. е. завернувшись в десяток одеял, рассказала о том, как из ее палаты выписался первый ею выхоженный раненый. Ее слушали молча, ворочаясь на постелях. В заключение спросили — вопрос был шуточно неизбежный, — не влюбилась ли она в него тогда? Тогда это еще было можно, в начале войны. А если, дуреха, не влюбилась, то почему?

— Нет, — твердо сказала она, — и скажу, почему: он был легко раненый. А мне один хирург, который сразу начал за мной ухаживать, сразу сказал: «Не влюбляйтесь в легко раненых. Они быстро вылечиваются и еще быстрее забывают о тех, кто их поставил на ноги». Да еще он и ос-

корбил меня, этот раненый. Вы же все знаете мою походочку. Это же горе мое сплошное. Он спросил: «Откуда вы сюда попали?» — Из Третьего медицинского института, говорю. — «А я думал, с танцплощадки»... А когда выписывался — так радостно у меня на душе стало: ведь человек снова человеком стал...

— Да, это было когда-то, — сказала другая. — Выздоровливали, собирали свои вещички-сумки, компасы и всякие пистолеты — и выписывались. Теперь никого не выписывают, а больше списывают... Помню, вначале, как жалко делалось, когда кто-нибудь умирал на глазах. Бывало, выскакивала из палаты и редела в коридоре. А хирург, Иван Иванович, ругался: «Что вы, нони здесь распускать поставлены, что ли? Работать надо, а не хныкать!» А теперь он давно уже умер. А мы еще живы. Надолго ли нас хватит?..

— Я останусь с вами, — сказала вдруг Тоня — и поняла, к чему, в себе, прислушивалась весь день. — Я не вернусь в эту невоюющую армию моего родственничка. Я сейчас сочиню ему письмо, а завтра отправлю. Я начну так: «Дорогой почти родитель, знаменитый командующий Невуюющей армией. Во первых строках...» —

На этом она уснула. И в первом же сне увидела, с нежностью и гордостью, простое русское лицо генерала. Потом ей приснился лев — каменный, но живой. Он сиротливо сидел там же, около пещеры развалин её дома, подсобачьи поджав хвост. К нему подошел Дмитрий, с застывшим, каменным лицом, и пожал его лапу. — Такова наша львиная доля, — сказал он, — Львиная доля м у к.

(Продолжение следует)

СТИХИ

ПЕНАТЫ

Вошел и — пьян, хотя и не пил:
Уже с порога — вольный ветер,
А дальше — сонм великолепий, —
Все эти вещи, да — вот эти...

Струится занавесь в гостиной,
И дружелюбен книжный шкаф,
И удивленно (но не длинно)
Целует тишь, к лицу припав.

Ведь только здесь — «покой и воля»,
Где всё — своё, где сам ты — свой.
— Садись, покурим, Домовой,
Нам ничего не надо боле.

* *
*

За древней церковью — кладбищенская немочь.
По-деревенски: жуть и благодать.
И каждый вечер сердцу — изнывать,
Выискивать пленительные темы,
И находить, и связывать в стихи,
Пока лягушек звон окликнут петухи.

Еще не раз, в бору иль дубняке,
Несбывшихся минут перебирая чётки,
Я повелю насушенной тоске
Восстановить свиданий бред короткий
И пестовать томленье, имена
С влюблённостью, почти сентиментальной...

Так по душе, давным-давно опальной,
Скользнет летучая и зыбкая волна.

ВОКЗАЛЫ

Опять пейзажей ломких сетка —
Простор, болотца и стада.
Года — как дали.

Очень редко
Дарили радость поезда.

Он льнет и ранит, этот голос:
Стыдясь, благословляет мать.
Об ласку сердце укололось —
Не перечесть, не сосчитать...

Или: брожу, жую, брожу,
И как-то сразу, будто птица, —
Твоя улыбка. Свет и шум,
Цветком пронзённая петлица,

Всё, что шепнуть успела ты...
Пунктир иных, нездешних, логик,
Распад обетов и мечты
И радостей... таких немногих!

Тоска вещественна, жива,
Живёт теперь, жила когда-то.
Вокзалов злая синева
Дрожала на лице солдата.

И он снимал со стен купе
Клочки надежд, забытых кем-то.
А паровоз фальшиво пел,
И трепыхалась дыма лента.

Еще не выплакала мать
Потухших глаз и молит: «Вспомни!»
Как мне хоть что-нибудь узнать?...
Иль уж не надо ничего мне?..

РУИНЫ

Ты посетил и этот дальний край,
Невольный путник-соглядатай...
Вот — вырвался напуганный трамвай
Из улицы скептически щербатой.
Но жизнь течет из обнаженных жил,
И в рану Бог персты уже вложил.

Да, пнел и труд построят что-нибудь,
Утрат и бед докажут скоротечность,
Вернется Вождь, атаковавший вечность,
И скажет Вечность: «Возвратись и будь!»

А если снова станут разрушать
И состязаться в ошалелом беге, —
Тогда опять заплачет горько мать,
И сочинит поэт полдюжины элетий.

Ненужный дед беспечной детворе
Пересказать бывшее не сумеет,
И тусклая сентенция истлеет
В еще не тронutom, пахучем букваре.

СУВЕНИРЫ

Явь и былъ — соблазны равной мощи.
Всё тревожат вестники-ветра!..
В памяти, доступные наощупь, —
Волны вод и волны трав.

От былого — не уехать...
Здесь, в далекой стороне,
Повторить бы годы те хоть,
Что мерещатся во сне.

Они видны издалека —
Откос и домик в два окошка,
К затону желтая дорожка
И простенькие облака.

Свезти б сюда пахучий сруб,
Старательно, с тобою вместе,
Собрать избушку. Флаг на шестик —
Всю паутину с век и губ
Пусть треплет ветер дни и ночи...
Тогда, без сказок и прикрас,
Составим ласковый рассказ
Из фотографий, как из строчек

* *
*

Всё, что вижу, беру и люблю, —
Умирая, мгновенно утрачу,
Не успев даже долю свою
Расценить наудачу.
Даже тело, в котором устал, —
Те пять органов чувств, что известны
из тысяч, —
Уроню в предпоследний провал,
Не успев их из мрамора высечь.
Жутко знать, что материя — сон,
Отражение, проекция, вещьность.
Я хотел бы весь уличный звон
Унести в надпланетную вечность.
Не ищу воплощенья мечтам, —
Что я знаю, во что я верю?..
Ну, а всё-таки, Там
— Кто и чем возместит потерю?...

Сердце Фландрии

С самого детства Брюгге был для меня чем-то вроде славного Града-Китежа, который лишь иногда и то на мгновение показывает мистическую лепоту свою немногим избранныкам...

И вдруг позапрошлым летом, в августе, на мою долю выпало это редкое счастье, судьба привела меня посетить бывшую столицу Фландрии.

Когда мчишься в вечернем поезде из Остенде в Брюгге, то только и думаешь, что о каналах и знаменитой сторожевой башне; однако, как ни стараешься проникнуть взором окружающие сумерки, не видишь ни того и ни другого. Да и сам вокзал в Брюгге несколько озадачивает своей новизной. Он обширен, безукоризненно чист, построен по трезвому плану, но без малейшего намека на средневековье. Правда, на стене залы для ожидания виднеется изображение старинного города, но опять же стилизованное, в современном духе. И в душу закрадывается тревога: не нагадали ли кнители, не обманула ли история?

Из поезда я пересаживаюсь в такси и отправляюсь в гостиницу, где у меня уже по почте заказана клетушка. Машина катит по открытому месту, крутом зеленъ, что-то вроде бульваров, попадаются трамваи... Все очень прозаично, отзывает двадцатым веком.

Мы сворачиваем с площади и осторожно въезжаем в узенькую улицу, искривленную в виде печатного «Г». Автомобиль останавливается, и я выхожу.

А, так вот где она, эта милая, живописная старина! Вместо асфальта — маленькие булыжники на подобие пирожков, поставленных на ребро. В своем «Путешествии по Испании» Готье говорит, что и в его время большинство испанских городов было вымощено таким образом. Эти булыжники блестят при свете фонарей как лакированные ботинки, они острые и

предательски скользкие. Вспоминается главная улица рыбацкой деревушки Кловелли, в Девоне, по которой спускаешься к морю, согнувшись в три погибели.

Я подымаю голову, чтобы проверить по вывеске, туда ли мы приехали, и меня опять поражает удивительная выпшина фасада по сравнению с его шириной.

В дверях меня встречает хозяин, плотный и красивый молодой фламандец, который прекрасно говорит по-английски, и после краткого обмена приветствий забирает мои вещи.

— Я уж лучше снесу их вам. Я привык к нашим лестницам.

Действительно, к этим лестницам нужно привыкнуть. Не лестницы, а Гималаи! На первой же площадке у меня начинают подкашиваться ноги и биться сердце, а он все бежит вверх по этой круче с моими чемоданами и даже насвистывает какой-то веселенький мотивчик. И что за потолки в передней, почти в два раза выше, чем в любом английском доме. Чувствуешь себя как под сводами готического собора.

Хозяин любезно предлагает мне подкрепиться с дороги, и я ползу вниз по тем же гигантским ступеням на самое дно бездны — опромяную комнату, наполовину столовую и наполовину гостиную. У окна, возле аквариума, где плавают юркие тропические рыбки, сидят несколько человек англичан, развалившись в кожаных креслах, и мирно беседуют, все больше о деньгах. Один — судя по «собачьему ошейнику», англиканский пастор — подробно объясняет, где можно дешево купить папиросы марки «Гольд Флейк», другой постылец недоумевает, почему с него утром содрали в одном кафе семь франков за бутылку пива вместо обычных шести, а жена пастора с увлечением рассказывает, что на пляже в Кножке, если сидишь на берегу и только опустишь ноги в воду, то взимается одна плата, а если выкупаешь —

ся «совсем», то следует надбавка и очень даже чувствительная.

Мари, пожилая, но расторопная и приветливая служанка, приносит два таких огромных ломтя ветчины с розанчиками и чудесным маслом, что сначала кажется, что ни за что всего не съешь. Но это только кажется. Силен в человеке, да еще из Англии, прех човеутодия, и ветчина как пчела в армянском анекдоте, пищит, пищит, да лезет.

Вскоре после вечернего чая отправляюсь восвояси. Уже несколько легче взбираться по лестнице, но все еще делаю передышку на каждой площадке. Кровать широкая, высокая, но короткая, матрац в виде мешка и набит чем то жестким, к чему я за все время моего пребывания в Брюгге никак не мог привыкнуть и спал плохо. Окна закрыты герметически, в комнате жарко и душно. Как я потом заметил, здесь все любят тепло и сквозняков не терпят. Иногда в переполненном вагоне третьего класса для курящих воздух делается настолько спёртым, что кто-либо из мужчин ну просто по человеческой слабости не выдержит и чуть приоткроет окно. Однако через несколько мгновений, — как пить дать! — какая-нибудь дама заерзает и обращит на эгоиста умоляющий взор.

На другое утро встаю как можно раньше и выглядываю из своей мансарды, как герой «У слухового окна» с прелестной картины Шпитцвега. Боже, что за высота! Ведь это всего третий этаж. Над городом висит легкая дымка тумана, и солнечные лучи скользят по крутым скатам соседних крыш. Трудолюбивая Мари, *«la servante au grand coeur»* Бодлера, которая в печение сезона, с мая по конец августа, работает по шестнадцать часов в сутки, уже сидит в маленьком дворике у кухни. Она чистит картошку и кидает её в лохань с водой.

Начинаю бриться, тороплюсь из-за мочи, чтобы поскорее зарыться в «фламандской школы пестрый сор». И вдруг откуда то по сыроватому, неподвижному воздуху доносится длительный звук, такой ясный и хрупкий, нежно-щемящий и мелодичный, что он берет за душу. Это — бой часов на городской колокольне. Серебряные волны курантов, подобно вдохновенной обод трубадуров, льются с высоты древней башни над пробуждающимся городом и томно растворяются в утренних испарениях. Такой изысканной красоты колокольный звон я слышал только в Йоркском соборе, одном из перлов английской готики позднейшего периода. И там, как и здесь, как и в католической мессе, к изя-

ществу внешней формы примешивается легкая усталость, та благородная усталость, которая встречается только у очень древних, бесконечно углубленных и утончившихся почти до разлома культур.

Эти куранты одно из самых восхитительных впечатлений Брюгге. После я ходил на Гран Плас, где два раза в неделю устраиваются концерты-карильон, но, по совести сказать, они меня очень разочаровали. Обстановка, конечно, любопытна, народу уйма, все пьют и едят, кто под шумок ухаживает, но самое треньканье колоколов скоро приедается, потому что никак нельзя разобрать мелодии: чи то гавот Баха, чи «Аве Мария» Шуберта. Но вот бой часов...

После утреннего кофе — на столе даже ролульки, которых я не видел со дня отъезда из России и которые с такою мучительною сладостью напомнили мне детство — я несусь туда, на площадь, к башне, этой своего рода печке, от которой все туристы в Брюгге начинают танцевать.

Одна из главных торговых улиц, ведущих к Гран Плас, Каменная, узка и извилиста, как брошенная на землю лента. Трамваи чуть ли не наезжают на ноги, подножки почти нависают над краем панели, и все время раздается дзинь-дзинь! дзинь-дзинь! Конечно, к этому дилинканью скоро привыкаешь, как привыкли обыватели Брюгге, которые так и лезут под колеса трамваев, как некогда индусы под страшную колесницу Джоттернаута. Многие хозяйки моют тротуары с мылом и щеткой. Я даже видел одну прелестную четырех-пятилетнюю девчурку, которая помогала матери и пресерьезно скребла цокль магазина своей малюсенькой щеточкой.

Наконец, я выхожу на огромную площадь, похожую своим расположением и размером на разбитую русскими базарную площадь в г. Вазе, в Финляндии, и передо мной вырастает один из триумфов бельгийского зодчества. Действительно, поэтическое здание. В общем, это — древний, двухэтажный Суконный Двор, отчасти 13-го века, из середины которого стремится к небу величавая башня о трех ярусах. Она почти не утончается кверху и так высока, что кажется слишком тяжелой, и начинаешь бояться, как бы ее не опрокинул порыв ветра. Теперешняя колокольня — 1482-го года, две предыдущие сгорели.

В середине площади стоит бронзовый памятник в честь Яна Врейделя и Питера де Конинка, доблестных вождей брюгжских ремесленников, которые воювали против

гнета Жака де Шатильона, французского губернатора, и избил своих обидчиков в 1302-ом году.

Если смотреть на каланчу, стоя спиной к памятнику, то замечаешь, что она крепится налево, на юго-восток, хотя, конечно, не так сильно, как башня в Питзе или полуразрушенная церковь рыцарей храмовников в Бристоле.

Площадь полна народу, можно подумать, будто население Брюгге состоит из одних туристов и черноризецев. Кого тут только нет! Опоясанные веревкой францисканцы с тонзурой и в сандалиях, бенедиктинцы, доминиканцы, птеры в черных шляпах со шнурками от туфель и широким полям, монахи-целестинки в чудесных чепцах; обитательницы Бетинажа, и вперемежку с этими красочными выходцами средневековой ультра-современная молодежь: накрашенные барышни в брочках и плетеных туфлях на босу ногу, в блузках с бездонными декольте и с папиросками в зубах; и зверского вида парни с волосатыми ногами и в вельветиновых штанах, подвернутых до-нельзя!..

Но гордая башня спокойно взирает на эту разношерстную толпу и на десятки американских автомобилей, которые установились на нее своими тупыми рылами с противоположной стороны площади, возле памятника. Её не удивит, много она видела за свои семьсот лет и еще увидит многое, чего я-то никогда не увижу...

Брюгге существовал уже в 7-ом веке, и сначала сам назывался Фландрией, но потом это имя перешло ко всей области, а он сам был окрещен теперешним наименованием — Брюгге, город мостов. До конца 12-го века он был столицей Фландрии, но затем уступил первенство Генту, хотя еще в 14-ом веке он считался Венецией севера и на брюгжской бирже устанавливался денежный курс для Европы.

Разумеется, Брюгге принадлежал к Ганзейской Лиге, и семнадцать государств, членов этого союза, хранили свои товары на его складах. Это был один из богатейших городов Европы, о нём, между прочим, упоминает Данте в начале пятой песни своего «Ада». Но к концу 15-го века устье реки Цвейна заилело, и Брюгге утратил прямую связь с заморскими странами. К тому же железный устав и привилегии Ганзы, когда-то послужившие ему на пользу, теперь связывали его по рукам и ногам, в то время как Антверпен, не обремененный великим прошлым, быстро применился к новым условиям и затмил средневековый город. Только в 16-ом веке, когда Испании ради торговли важно было

иметь выход к Новому Свету, Брюгге вновь воспрял духом и к нему вернулось на короткое время кое-что из его бывшего могущества.

Я медленно пересекаю историческую площадь и подхожу к аркадам первого этажа башни. Справа, неподалеку от угла Шерстяной улицы, на самом юру, стоит фургон со стеклянными стенками и бойко торгует жареным картофелем.

Обойдя здание, я бреду до конца Шерстяной улицы и натываюсь на канал Дейвер.

Они не очень широки, эти каналы; стоящие на противоположных берегах могут вполне переговариваться друг с другом. Вода лениво, чуть заметно движется вдоль чистеньких, нарядных набережных, проходя под легко переброшенными мостами и изредка попахивая гнилью.

Весь Брюгге стремится ввысь, на каждом шагу попадаются крутые башенки, вышки, увенчанные иглой, лестничные гребели, эффектные фасады на подобие раковин, слуховые окна и шпилы, которые выглядывают из-за деревьев, как заячьи уши на опушке леса. И древний город, как отцветшая красавица, смотрит на своё изображение в зеркальной глади затихших вод и грезит о тех днях, когда вместо лебедей-недотрог и крикливых ватаг пожарателей мороженого, туристов, — драгоценнейшие грузы всей Европы, английская шерсть, тончайшие фламандские ткани и голубены золотым потоком растекались по широкой сети его каналов. Зеленая Набережная, Набережная Зеркал, Набережная Четок!.. Теперь это лишь очаровательные виды, против них стоят художники со своими мольбертами, но когда-то они служили строго практическим целям, были жизненным нервом, люди мало думали об их живописности, но из-за них соперничали, лужавили и проливали кровь.

И вдруг, размышляя о былой славе города, я вспоминаю, что у меня самото-то мало наличных, и бросаюсь назад к Гран Плас, чтобы разменять свои чеки. Но тут меня ожидает разочарование, почти удар: банк закрыт, потому что сегодня большой праздник — Успенье Божьей Матери, и откроется только через два дня! И, действительно, всюду заметны приготовления. В магазинах выставлены карточки с надписью золотым шрифтом: «Чествуйте Деву Марию», и я только что видел, как на одном из мостов устанавливали раку Богоматери для процессии. Мимо меня уже проезжают несколько открытых экипажей со смеющейся молодежью в костюмах времен Ван-Дейка: дамы в огромных «куаф»

и высоченных воротниках и кавалеры с наклеенными эспаньолками, в широкополых серых шляпах с плюмажами, в ботфортах и малиновых бархатных плащах.

Настроение явно торжественное, а у меня в бумажнике какой-то мусор вместо денег. Дело дрянь! Однако, мой хозяин, с которым я пошел посоветоваться, предупредительно дает мне взаймы, и я сейчас же возвращаюсь на площадь, где потрошему снует толпа таких же праздношатающихся, как и я.

В Брюгге около девяти церквей, но самые примечательные, конечно, Собор Спасителя, Церковь Божьей Матери и *la Chapelle du Saint-Sang* (Часовня пречистой крови Господа нашего Иисуса Христа). Преобладают два стиля: ранняя готика 12-13 веков и барокко. Однако формы смешанные, нет той строгой выдержанности, которая чарует в лучших средневековых соборах Англии, и стены храмов, высокие и мощные, довольно бедны украшениями и несколько однообразны, в них мало ниш, мало статуй, а внутри больше живописи, чем солидной архитектурной обработки. Кроме того, я нигде в Брюгге не видел хорошего, старинного цветного стекла, как, скажем, в Брюсселе.

Всё же крыпта часовни, построенной в 1150 году для Пречистой крови — реликвии, которую Тиерри из Эльзаса, граф фландрский, привез из Святой Земли, радует глаз чистыми линиями своих сводов, толстыми стенами и чудесным окном раструбом в духе норманской школы, которая так хорошо сохранилась в Англии, например, в соборе Илии, в графстве Кэмбридж, или в Вестминстерском Аббатстве. Из крыпты ведет наверх в часовню богато расписанная лестница в самом пышном стиле барокко, да и сама часовня не уступает ей в пышности. Но почти все нарисовано, не вырезано из камня. Смотришь на этот разлив пламенных красок и вдруг вспоминаешь, по контрасту, маленькую, беленькую, почти тысячелетнюю церковку в Старом Изборске, которая выросла в землю рядом с развалинами городских укреплений. Она до того ветха, что в ней служат лишь раз в год, под неё находится звонница, ибо стены её слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть колоколов, но такой силой веры и чудною искренностью веет от этого смиренного храма, что все ухищрения шестнадцатого века кажутся по сравнению с ним жалкими, почти греховными.

Через два дня я опять забрёл в эту часовню к самому концу богослужения, когда молящиеся преклонялись перед знаменитой реликвией. Священник в богатом облачении, кажется, епископ, держал в руках

небольшой золоченый ковчег, а рядом с прелатом сидел полицейский в полной форме, даже в белой каске на голове. Признаюсь, эта картина меня ошеломила, хотя, конечно, у властей должны были быть важные причины для принятия таких необычных мер предосторожности.

Собор Спасителя был возведен в 12-м веке, но из очень прозаического материала — кирпича. В алтарной части, над резными готическими креслами, висят почерневшие от времени геральдические щиты в память 13-го заседания Ордена Золотого Руна, одного из самых поэтических орденов, основанных в Брюгге Филиппом Добрым в 1430 году во славу фламандских ткацких станков. А промежутки между колоннами занавешены брюссельскими гобеленами, которые здесь особенно хороши, вполне «на месте», так как их бледные краски чудесно сливаются с изжелта-сероватым камнем, не то, что в картинных галереях, где они вызывают чувство некоторой скуки своего мертвенностью.

В Церкви Божьей Матери 12/13 веков — Онзе Ливе Фраувенкерк хранится одна из жемчужин итальянского ваяния — статуя Мадонны с Младенцем работы Микель Анджело, которая стоит на монументальном алтаре из черного и белого мрамора, столь излюбленного в Бельгии. Сам Дюрер восхищался этой группой в этой же часовне.

Молодая, не очень красивая женщина держит в руках славного, умного ребенка и глядит вперед спокойно и даже немного сухо, с полным сознанием исполненного долга, но без тени тоски, болезненной робости или ложного стыда. Эта сама жизнь... Но её окружает группа женщин-святых, принадлежащих резцу менее одаренных скульпторов. И как всегда это бывает, то, что так убедительно и благородно у мастера, противно и нелепо у его подражателей. Этим статуям прямо не стоит на месте, они позируют, изгибаются, чуть ли не пляшут, и всё достоинство их в том, что они оттеняют целомудренную красоту теньяльного произведения.

К южной стороне церкви примыкает часовенка, где показывают пышные гробницы Карла Смелого, герцога бургундского, и его дочери Марии, последнего отпрыска этого славного рода и супруги императора Максимилиана, которая разбилась на двадцать пятом году жизни при падении с лошади. Её памятник, более ранней работы (1495), особенно художественен. Статуи усопших из золоченой меди покоятся на мраморных саркофагах, чьи бока испещрены эмалированными гербами.

Но вот уже адмиральский час, пора в гостиницу. Мой хозяин, как и другие рестораны, в чём я впоследствии неоднократно убеждался, кормит досыта, на убой, и пиво всегда холодное, прямо со льда. Я даже раз видел, как один фламандский рабочий, лукаво подмигивая мне, заставил тучную пожилую хозяйку кафе спуститься с охами и вздохами по лестнице в подреб за свежим льдом, так как пиво показалось ему недостаточно холодным!

После завтрака я долго не задерживаюсь в пансионе и снова спешу на улицу, где рыскают хищные туристы, вооруженные фотографическими аппаратами. Хотя лето было не особенно теплое, но в Брюгге после Англии всегда душно, и с непривычки нет-нет да и ударит в пот. Во время туристского сезона магазины открыты до позднего вечера, и всюду на иностранца смотрят презаманчивые сувениры. Меня особенно пленяет трубка с чашкой, вырезанной в виде фламандского быка, даже рога есть, но после долгой борьбы благоразумие одерживает победу. Боязнь остаться без денег — ведь из Англии разрешается вывезти только 25 фунтов! — преследует как кошмар.

Направляю свои стопы к больнице Св. Иоанна, основанной в 12-ом веке и находящейся напротив Церкви Божьей Матери. В бывшем доме капитула находится несколько шедевров Мемлинга, включая роскошный ковчег для мощей Св. Урсулы и огромный триптих в честь обоих Св. Иоаннов. Присутствие знаменитого мастера придавало блеск старому Брюгге в то время, когда его политическая и торговая мощь была уже надорвана.

В средней, главной картине этого триптиха изображена Дева Мария в окружении ангелов и святых. Впереди всех стоит Св. Екатерина, которой Младенец Иисус надевает на палец венчальное кольцо. Боковые панно посвящены Св. Иоаннам: справа от зрителя — видение на острове Патмосе, а слева — усекновение главы. Когда служитель закрывает триптих, то перед глазами удивленных посетителей показываются еще две картины, увековечивающие благодетелей больницы и их святых-покровителей. И две последние работы не уступают главным по глубине замысла и тщательности исполнения. Вот где неисчерпаемое богатство воображения, беспечная расточительность истинного таланта. Пять сюжетов втиснуто в одну картину, а мы, современники, так кичащиеся своим прогрессом, нормам растянуть один дрянненький сюжет на пять картин.

Мне приходит на ум то, что я однажды слышал от сторожа при Липкольнском соборе. Как-то во время ремонта крыши, куда человеческий взгляд не достигал со дня основания храма, рабочие вдруг наткнулись на небольшую дубовую доску с дивным образчиком средневековой резьбы. Барельеф представлял прячущегося в кустах оленя, к которому подкрадывается охотник с натянутым луком в руках. Может быть, эта работа была ненужна, может быть, её забыли, или резчик просто позабавил себя от нечего делать, но кто бы теперь оставил под спудом такую прелестную вещь?

Ковчег Св. Урсулы был закончен Мемлингом в 1489 году, и он исполнен в виде небольшой готической часовни с позолоченными колонками, контрфорсами, трембом покато́й крыши и архивольтами арок. Обрамленные панно по бокам этого миниатюрного здания изображают шесть эпизодов из жизни святой. Как зачарованные стоят люди перед этим удивительным произведением и шепотом переговариваются, словно боясь оскорбить его звуком своего голоса. Только люди трещат, трещат и бренчат монетами... Изумительно сочные краски, синие, зеленые и красные, горят, как самоцветные камни, вряд ли они были ярче в тот день, когда Мемлинг сдал в обитель свою бессмертную работу.

Я вернулся на улицу, пройдя через старинную аптеку обители. На шкафах, почти под потолком, чернеют огромные, обтянутые кожей банки со звучными латинскими надписями золотыми буквами. Всё больше наркотические средства: папавер, папавер... За прилавком осанастая монахиня-провизор в своём белоснежном, аристократическом чепце отпускает лекарства чинным монахиням-сиделкам, тоже в чепцах, и пробужденная красотой обстановки мечта уносит в тлущь средневековья. Так ясно ощущается преемственная связь между монастырём и больницей, даже в одеянии современных сестёр милосердия.

Следующий день у меня начинается с посещения Дворца Грутхус, опять же рядом с Церковью Божьей Матери, только по другую сторону от больницы Св. Иоанна. В этом здании находится богатое собрание брюжских древностей, в особенности кружев. В вестибюле, направо от входа, у стенки, взор туриста привлекает жуткий предмет. Это — небольшая доска с неглубокой выемкой посередине; ею пользовались палачи в старину, когда отцеубийцам отрубали руки.

Коллекция кружев, действительно, изумляет, хотя я должен сознаться, что пляжу на неё, как баран на новые ворота. Каких

только замысловатых узоров, какой тонкой работы тут не увидишь! *Point de Bruges, point de Flandre, point d'esprit carré, fond grossi de point de neige des dertelles de Binche* (названия различного вида бельгийских кружев). Смотришь на какой-нибудь такой клочок морской пены из ниток и думаешь, что тут предел человеческому искусству, и вдруг замечаешь рядом еще мельче рисунок. Особенно ценятся кружева шестнадцатого века. На мой неопытный взгляд это почти сплошные тесмы, изредка пробитые дырочками скудного узора. От них так и веет тяжелым великолепием позднего Ренессанса. В общем, они хорошо сохранились, только слепка побурели, как бы от пороха пиджаля или костров инквизиции.

Значительное количество кружев и по сей час изготавливается ручным трудом. В узких проулках, неподалеку от Бегинажа, можно видеть ряд благообразных старушек за этой работой. Они сидят, склонившись над кутузами на маленьких столиках, и быстро-быстро перекидывают привязанными к ниткам коклюшками, которые сухо потщелкивают. И так же быстро трещит их фламандская речь. Говорят, что на обшивку одного небольшого платка в 30-40 франков требуется не менее четырех часов. Само собой разумеется, что этот труд теперь не окупается.

Как запах шоколада и обилие мейссенского фарфора для Дрездена, так кружево служит отличительным признаком для Брюгге. Я даже видел сувениры в виде кукол, сидящих за столиками с миниатюрными подушечками, к которым были приклеены ленточки из настоящих кружев.

После величественной башни, пожалуй, самым прекрасным домом в Брюгге является ратуша, построенная в последней четверти 14-го века. Общим видом она напоминает ковчег Св. Урсулы, и её крутая, почти отвесная крыша, остроконечные вышки и слуховые окна, высокие узкие оконные рамы с узорчатыми переплетами и статуи фламандских трафов в нишах так соразмерны и гармоничны, что мимо этого здания нельзя пройти, не задержавшись хотя бы на мгновение.

Одна из зал внутри украшена циклом огромных картин, посвященных фламандской истории. Особенно запало мне в память «Возвращение брюггцев после битвы при Куртре в 1302 г.». Причиной этого похода послужило то, что брюггские богатеи-купцы, «патриции», после безуспешных попыток поработить ткачей, обратились за помощью к Филиппу Красивому, который обрадовался случаю присоединить Фландрию и выслал против неё цвет своего вой-

ска, прекрасно вооруженного, но под начальством бездарных вождей. Бравые ткачи не сробели, их милиция встретила и на голову разбила пришельцев. Картина полна оживления и красок, надменные рыцари падают под ударами хамских дреколий, проливая голубую кровь, и всюду валяются и позорно блестят золотые шпоры убитых, отчего это сражение и названо «Битвой золотых шпор».

Во Дворце Правосудия, стоящим бок о бок со зданием ратуши, помещается знаменитый монументальный камин из резного дерева, исполненный по рисункам Ланселота Блонделя в память заключения мира в Камбре, благодаря стараниям Маргариты Австрийской.

Карл Пятый, император-победитель, глядит сверху в зал своим тяжелым, маловыразительным взглядом. По правую руку от коронованного палача изображены его предки со стороны матери, Фердинанд и Изабелла, а по левую со стороны отца — Максимилиан и Мария Бургундская. У него густая борода, чтобы скрыть, как всегда, выпяченную и отвисшую нижнюю губу, но если посмотреть сбоку, то этот дефект Габсбургов выступает совершенно явственно. Этот камин был закончен в 1530-ом году, т. е. при жизни императора и, по всей вероятности, резчик лично видел Карла, отчего его статуя-портрет после четырех столетий всё еще может внушать омерзение и ужас. Чудится, будто деревянные губы изувера продолжают шевелиться, давая наставление главному инквизитору. «Тех протестантов, которые упорствовали в Нидерландах, я сжигал живьем, а тем, кто был допущен к покаянию, я рубил головы...»

Знакомые говорили мне, что весь Брюгге можно осмотреть в три часа, а вот я уже здесь третий день и всё не могу исчерпать его достопримечательностей.

Город имеет овальную форму, и в юго-западной части его, по близости от вокзала, белеет под сенью густых вязов квадратный корпус женского общежития. Это — *Begeynage* 13-го века, хотя только портал церкви, стоящей посреди двора обителй, сохранил в себе остатки готической архитектуры. Самое же учреждение ордена восходит к 12-му веку, когда священник Ламберт ле Бег (Зайка) впервые основал его для женщин, овдовевших вследствие крестовых походов. Испытав множество превратностей судьбы, подчас даже гонений, эти бегинажи дожили до наших дней, главным образом в Бельгии. Мужская ветвь их скоро зачахла; иногда она отождествлялась с нищенствующими монахами, откуда, по всей вероятности, происходит корень английского глагола «to

beg» — просить. Сестры живут со своими служанками в уютных домиках с трех-четырёх комнатах с прелестными дворишками и занимаются благотворительною деятельностью и уж, конечно, — нужно ли это добавлять, — плетением кружев. По настоящему это — мирские сестры, они не дают обета бедности и безбрачия и могут покинуть бегинаж по желанию.

Опять делается очень душно, низкие, темные тучи плывут одна за другой, как военные корабли, и все из тилого утла, юго-запада. Забегая в простецкое заведение, чтобы наскоро освежить себя пивом. Пивная состоит из небольшой комнаты с белыми крашеными стенами почти без всяких украшений. В дальней стороне, в тени, находится прилавок. Патрон выходит откуда-то сбоку и, не говоря ни слова, наливает мне бокал пива. Вдоль стен сидят человек шесть фламандцев и молча насасывают свои трубки. У всех усталый и мрачный вид, все одеты во что-то черное и поношенное: явно, что это честные труженики, в поте лица зарабатывающие кусок хлеба. Одним словом, жанровая картинка в стиле Адриана Брувера. И вот под стулом одного здорового рабочего я заметил жалкого, тощего фокстерьера, который робко притаился подле ножек стула и печально смотрел вдаль. Кто-то что-то жевал, хозяин принес моему соседу бутерброд, но никто не бросил хотя бы самого маленького куска дрожащему песику, и он, видимо давно привыкший к этому, даже не смел просить...

Выйдя из пивной, я через несколько минут наталкаюсь на небольшую живописную рошу, в глубине которой чуть колышутся воды Озера Любви, бывшего когда-то гаванью, театром кипучей человеческой деятельности, предприимчивости и корыстолюбия. Теперь же Меркурий навсегда изгнан Амуром, кадуцей*) не устоял перед коварными стрелами, хотя мне думается, что, несмотря на нежную мечтательность пейзажа, сам бог любви не может здесь проявить всей своей силы. По вечерам сюда сходится столько народу, что яблоку негде упасть, а ведь Амур — исподтишки, он любит уединение и безмолвие.

Следуя вдоль внешнего канала на восточной стороне города, я набрёл недалеко от Ворот Святого Креста на страшный памятник — место расстрела арестованных, во дворе казармы полковника Радеманкера, во время немецкой оккупации. В каменной невысокой стене до сих пор можно видеть следы неприятельских пуль. Теперь вдоль ограды тянутся цветы, за которыми несомненно ухаживают, и лежат мраморные до-

ски с именами погибших патриотов.

А за оградой печального маленького кладбища мирная жизнь идёт своим чередом. Солнце вдруг снова выглянуло из-за облаков, озарив поля на берегах канала и разбросав мириады блесток по водной ряби. У Св. Креста разводят мост, чтобы пропустить буксир с баржей, и затем они лениво проплывают мимо. На поле возятся и вскрикивают дети, тяжело пробегает отряд новобранцев на учении. Все они красивые и запыхавшиеся, сразу видно, что еще не успели получить должной тренировки. Отмахав шагов двести, они взбираются на крутой холм, без энтузиазма.

Вечером того же дня я и несколько человек из нашей гостиницы составляем группу и отправляемся в объезд города на моторной лодке под светом прожекторов.

Мы садимся у Моста слепого осла — каково название — совсем во вкусе беллетриста Александры Грина! — и с грохотом несемся по китайской туши каналов, среди томных лебедей, которые неспеша поворачиваются грудью к набегавшим волнам и грациозно качаются на их пенистых пребнях. Матрос, говорящий на всех языках подлунного мира, показывает нам очаровательный древний мост где-то у Набережной Четок, с которого Черчилль, очень недурной художник-любитель, сделал несколько набросков.

Под фантасматической игрой прожекторов мирный, затихший Брюгге вдруг делается беспокойным, длинным и страшным.

Узкие фасады трепетно жмутся друг к другу, пнут в сторону и вдруг рушатся во мраке. Со дна прошлого всплывают печальные призраки, отблески бурных дней, и страшные привидения на мгновение показываются за освещенными, дрожащими решетками древних дворцов и темниц. Но вокруг нас тайна и злоеющая тишина. Что это под аркой моста, тело утопленника или ступенька?.. Кто его знает! Мы улетаем в царство феерического света, где действительность переплетается с грезой в причудливую парчу, и затонувшие возле набережной ветви деревьев тянутся к нашей лодке, как щупальцы, чтобы задушить нас в своих объятьях.

Таким прозным, наверно, выглядел Брюгге, когда кровь его вольнолюбивых граждан текла по маленьким булыжникам кривых улиц, когда на башне били в набат, и зарево пожаров отражалось в зеркале его каналов.

К сожалению, мои спутники неисправимые материалисты. Дочь пастора говорит мне в одно ухо, что на Каменной продается отличное мороженое за семь франков, включая «сервис», а сосед по комнате, тоже англичанин, доказывает в другое, что ку-

*) Кадуцей — жезл Меркурия.

пол Св. Павла всё-таки выше башни в Брюгге. Нашли тоже время!

А на другое утро, пробыв в этом благо-словенном городке четыре дня, я снова си-жу в вагоне.

«Le train glisse sans un murmure,
Chaque wagon est un salon,
Où l'on cause bas . . .»

Совсем по Верлену. Через шестнадцать минут я буду в Остенде, а потом на паро-ходи — назад, к меловым скалам Дувра. Го-лова перепружена впечатлениями, сколько прекрасного и занимательного увозишь в своей памяти, и ни один таможенный чи-

новник не имеет права обложить это пош-линой! Но пока всё в комок и кучу, как на свалке; когда-то еще приведешь свои вос-поминания в порядок?

Я выглядываю из окна. О да, теперь я яс-но вижу это славное трио — и как это я раньше мог не заметить? Вот Собор Спаси-теля, вот Церковь Божьей Матери и, нако-нец, прелестная башня, одна из самых за-мечательных в своём роде зданий в мире. Вижу их отчетливо и чувствую, что боль-ше никогда не забуду...

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

I. ЗЕМЛЯКИ

Палестина! Святая земля! Кто не мечтал о местах, где некогда родился и жил Христос, но вряд ли кто представляет их так, как они выглядят в настоящее время. Наше представление о Палестине связано с библейскими и евангельскими описаниями. О современном положении ее я, проживши в Советском Союзе вплоть до второй мировой войны, нигде не читал и имел самое отдаленное представление.

Попал я в Палестину в тяжчайшие дни для русского человека, не пожелавшего возвращаться в сталинскую вотчину, т. е. пережив страшный Лиенец и потом погоно энкаведистов за человеческими черепами. В Палестину вывезли меня евреи; корабль, на котором я плыл, попал в руки англичан, взят был в карантин, откуда ровно через неделю был я выпущен на все четыре стороны. Сразу же попал в кибуц, т. е. в еврейскую коммуны, где вскорости почувствовал себя как дома. Работал я в кибуце только 4 часа, сначала дворником, а потом пчеловодом, и никто в эту мою работу не вмешивался. В комнате (отдельной) у меня висела икона, а в дни православных праздников (в эти дни я не работал), когда возвращался с прогулки, то видел, что кто-то у меня уже хозяйничал (дверь в кибуцах на ключ не запирается): стол бывал покрыт белоснежной скатертью и уставлен вкусными яствами и цветами, а на Пасху — и крашеными яичками. В кибуце я прожил 2 года и об этой жизни вспоминаю с умилением.

Кибуц — это нечто вроде наших колхозов. В нем всё обобществлено, даже мелкий скот и птица. Столовая общая, общая и прачешная. Здесь не думаешь о завтрашнем дне, не думаешь ни о питании, ни об одежде и обуви, ни о стирке белья. Всё бесплатно, но и заработной платы не выдают. Стахановщины и всяких трудовых норм здесь не существует.

Климат в Палестине жаркий: зимой дожди, а летом ни одной дождевой капли. Снег здесь явление исключительное: за предыдущие 50 лет выпал он всего 2 раза. Картофель, помидоры, редиска и другие овощи сажают в год дважды. Апельсины снимают зимой. Бананы и лимоны — почти круглый год, но в основном тоже зимой. Зимой почти вся страна покрыта зеленью и цветами, летом же земля выжжена: черная и желтая (кроме, конечно, садов и апельсиновых и банановых рощ).

Овощей, ягод и фруктов здесь много: апельсины, яблоки, груши, бананы, грейпфруты, сливы и т. д. Нет только вишни. Она не принимается, хоть несколько раз и пробовали ее сажать. Не увидишь и ржаного хлеба и пшени. За все время своего пребывания здесь мне даже и попробовать их не удалось.

В кибуце я познакомился с одной русской семьей, по фамилии Жулины, состоящей из 6 человек: родители, два сына и две дочери. Глава этой семьи обучал меня пчеловодству в палестинских условиях, за что получал от кибуца небольшое вознаграждение. Семья эта приняла меня радушно и вскоре с ней я близко сошелся. Еще до моего прибытия в Палестину люди эти взяли советские паспорта и с нетерпением ждали отправки на родину.

В Палестине они разводили свиней, кур и индюшек. Имеют и пчельник, и огород, а небольшой участок земли, арендуемый у поселка, засевают пшеницей. Была у них и лошадь, и даже старенькая машина, от которой, признаться, все проезжие и прохожие шарахаются в стороны: уж больно неказиста и страшна. Дом их, состоящий из 4 комнат и еще одной в подвале, расположен в причудливой местности, окруженной со всех сторон горами. Жулины очень гостеприимные и радужные люди. Религиозны: библию и евангелие знают в совершенстве и очень любят беседовать на

религиозные темы. Любят, впрочем, и пошутить. Жена Жулина, попавшая в Палестину 13-летней девочкой, владеет несколькими языками: помимо своего родного, знает она иврит (древнееврейский), немецкий, арабский и английский, а кончила она всего только начальную школу. Сам Жулин — страстный охотник и рыбак, а раз так, то конечно и балагур и шутник. Охотится он на диких свиней. С ним охотится его друг и приятель Комиссаров Иван Леонтьевич. Этот — холостяк, а по специальности — плотник, каменщик, электромонтер и пчеловод. Года 2 тому назад он побывал в Америке, которая по ряду причин ему не понравилась.

«Что это за страна!» — жаловался он приятелям, — «Сказал, что завтра приду в 12 часов, значит непременно точно приходи, а если хоть на часик опоздаешь, так с тобой с тех пор и дела никакого вести не будут, а тем более, если кого в простоте душевной дураком назовешь. А здесь, примерно, скажешь: приду в 12 часов, а придешь, когда смеркнется — все же дело с тобой поведут. А ежели кого обругаешь здесь, даже матерком запустят, — не обижаются так, как в Америке: дела с тобой из-за этого не прервут. На матерок ответят тем же, ежели не хлеще... Одним словом: не нравится мне Америка...»

Русских здесь немного: около 50 семей. Разбросаны они по всему Израилю, но главным образом живут в портовом городе Хайфе и его окрестностях. Все они, за малым исключением, бежали из Советского Союза по религиозным и отчасти по политическим убеждениям.

После нескольких тяжелых лет они зажили в Палестине в полном достатке. Приобрели здесь специальности шоферов и механиков, попереживавшись, понастроили себе неплохие домики, иногда и виллы, понародили немалое количество детей и... под впечатлением побед Советской армии над Германией и засыпавших страну «Огоньков», заболели заразной болезнью советского патриотизма. Выправив советские паспорта, они с нетерпением ждали «счастливой» минуты, когда советский консул отправит их всех на родину. Этой болезнью заразились не только легально выехавшие, но и те, которые с большим риском для жизни, по образному выражению Ю. Б. Марголина, «крали» ту или иную границу.

Я, эмигрант второй мировой войны, познакомился с некоторыми такими семьями. Прежде всего — с семьей Жулиных, о чем говорил выше. Познакомившись, рассказал им о том, как несчастен русский народ на родной земле. Рассказал о добро-

вольной сдаче миллионов русских солдат в немецкий плен и о их тибели, о лиенцевской трагедии, о гитлеровских и сталинских зверствах, рассказал то, что пережил я, мои родные и друзья.

Жулины меня выслушали и, не показывая виду, мало чему поверили. Хорошо отношения ко мне, однако, не переменили. Не раз и не два мне вместе с Комиссаровым приходилось разговаривать о безрассудности возвращения, но убеждения наши почти не действовали: люди стосковались по родине. Сколько раз говорил я самому себе: «Да черт с ними, пусть, если хотят, так лезут в пекло!» Но тут же перерешал: «Нет! Нельзя допустить! ведь такие хорошие люди, радушные, гостеприимные...»

Прошел год, и в начале второго семья эта, к которой питал я глубокое уважение, отнесла консулу свои советские паспорта.

Жулин сказал при этом: «Мы — свидетели Иеговы и думаем, что советскому правительству вряд ли будем полезны; по нашим законам мы не имеем права брать в руки оружие для братоубийственных войн».

Вслед за старшим Жулиным сдал советские паспорта и брат его Михаил, переслав в консульство почтой. По специальности — он отличный шофер и хороший фермер. В прошлом году в автомобильной аварии он потерял правую руку. Теперь, в компании со своим старшим братом, разводит свиней. Это простой полутрамотный труженик. Семья его состоит из шести душ: его самого с женой, трех дочерей и сына. Дети, за исключением младшей дочери, которой сейчас 11 лет, работают. Старшая дочь работает секретарем директора банка, а остальные дети — на заводе. Все они говорят на нескольких языках. Жулины имеют свой собственный деревянный дом из 4 комнат, содержащийся в исключительной чистоте. В доме у них радио, небольшая библиотечка из английских и французских книг. Стены комнат украшены репродукциями картин Третьяковской галереи, а во дворе, на небольшом участке земли, — огород и птичник.

Большинство русских семей прибыло из Персии еще до второй мировой войны, а небольшая часть явилась сюда уже после израильско-арабской войны, выдав себя за евреев. Всем им израильское правительство отдало участки земли, выстроило каждой семье по небольшому домику, дало им по 18 кур, трубы для поливки огорода, словом — помогло стать на ноги. Дети их вскоре были призваны в армию, в которой и прослужили по 2 года.

Семья Милухиных: отец, жена и сын их

бежали из Советского Союза в дни «головокружения от успехов». На собственном баркасе, украденном из колхоза, они вместе с другой рыбацкой семьей переплыли Каспий и очутились на персидском берегу. В Персии пережили запыривания Мосадыка с советами и, опасаясь, как бы чего не вышло, вместе с другими семьями, объявив себя субботниками, прилетели в Израиль. Сын их работает на постоянной работе в кибуце (по политическим взглядам теперь разделившимся на два), не в «про-советском» кибуце, а в том, который сочувствует партии бывшего премьер-министра Бен-Гуриона. Сам же Миллюхин работает, где придется, не постоянно. Живут они в небольшом городке, недалеко от горы Фавор. Двор Миллюхиных резко отличается от соседних своей чистотой, а главное — небольшим садиком и птичьим неутомленным царством. Люди они простые, никаких университетов и академий не кончили, но своим радушием, приветливостью и чистосердечностью подкупили всех. Все их уважают за неподкупную честность, прямодушные и отзывчивые. Между прочим, они решили рассказать о себе правду: пошли к раввину и заявили ему, что они русские. Тот посмотрел на них и, улыбнувшись, ответил:

«Да я и сам вижу, что вы не евреи». А вскорости помог им переменить их документы. Счастливы! Никто их не тронул, не выгнал с обжитого места, и живут они попрежнему в окружении кур, уток, индюшек, гусей и также попрежнему хозяйничают в огороде.

Несколько семей, приехавшие сюда, как субботники, в количестве 27 человек, около года тому назад выехали в США.

Есть здесь одна русская, 30 лет тому назад бежавшая вместе со своим трудным сыном с советских рыбных промыслов, граничащих с Персией. Была она женой большого начальника, жила в полном достатке, деньгами сорила, как хотела (было ей тогда только девятнадцать лет), но... кровь расстрелянного отца не могла простить советской власти. На лодке моторист-перс (не посмел послушаться: большого начальника жена!) вместе с ее няней, под чадрой которой был спрятан ребенок, перевез их на противоположный персидский берег. После ее бегства все персы, служившие у советов в таможне, были уволены. В войне с арабами сын ее погиб смертью храбрых на стороне Израиля. Сейчас она вместе со своим вторым сыном (от еврея, с которым разошлась) живет в Хайфе, имеет прекрасную благоустроенную квартиру, получает за погибшего сына

пенсию и ведет в женской организации общественную работу. Второй сын ее — капитан небольшого израильского военного корабля. Она очень любит читать газеты, а особенно русскую газету «Посев».

Есть здесь и одна очень большая семья, но уже расколовшаяся на четыре. Глава ее, старик лет за 60, взял советский паспорт и вместе с младшим сыном собирается в Россию. Он тоже устроен неплохо: имеет деревянный домик из 3 комнат, старенький автомобиль, огород, птицу. Он очень набожен (молоканин) и на мои рассказы о жизни в Советском Союзе ответил: «Что Бог даст. Помирать туда поеду... Церкви там теперь открыты, значит и нашу не запрещают, а язык... на язык укорот есть».

Между прочим, жена его, симпатичная старушка, всеми мерами отговаривает мужа от сумасбродной затеи, да и младший сын, с которым он живет, и новость не горят энтузиазмом попасть на родину. Старший же сын старика, тоже одно время поддававшийся советскому патриотизму, благодаря жене, гречанке по происхождению, советские паспорта все же сдал и теперь собирается ехать уже не в СССР, а в Америку. По профессии он шофер-механик, имеет из 4-х комнат дом, а возле дома небольшой участок земли для огорода. У него пятеро детей, которые, очевидно, благодаря матери, очень сопротивлялись желанию отца вернуться на родину. Двое из сыновей его работают (один шофером-механиком, другой — столяром), а остальные трое учатся.

С одним русским, с которым я познакомился год тому назад, я близко сошелся. Женат он на арабке, очень симпатичной молодой женщине, хорошо говорящей по-русски, православного вероисповедания. Рассказывал, как два раза пытался перейти границу, но в первый раз был пойман и отправлен по месту жительства (ПГУ признало его не совсем нормальным). Через год (в 1928 г.) бежал он вновь (ему было тогда 18 лет), но не через персидскую границу возле Ленкорани, а через афганскую. Из Афганистана его отправили в Ирак, хотя он просил, чтобы его отправили в Китай, потом очутился он в Персии, а через два года пробрался на Святую Землю. Бескомпромиссный антикоммунист, он вот уже 15 лет работает в американской фирме. Мастер на все руки: он и механик, и скульптор, он и художник, и электромеханик и — плюс ко всему этому еще большой фантазер на всякие удивительные вещи. Одним словом: настоящий Кулибин нашего эмигрантского зарубежья.

Отзывчивый на нужды других, с мягким и добрым характером, Боровко Василий Ефимович, о котором в газете «Новое Русское Слово» от 8 ноября 1953 года, в статье Ю. Марголина «Русские в Израиле» написано несколько теплых строк, имеет четверых маленьких детей, старшей из которых 8 лет. Его заветное желание выехать в Америку.

Проживает здесь и другой мастер на все руки, правда, не художник и не скульптор, но зато, подобно Эдиссону, без конца, пожалуй, даже и во сне, что-то изобретает. Сам по себе сделал стиральную машину, радио и что-то еще и еще мастерит в своей убогой мастерской. Приготовил немало всяких патентов, которые реализовать почему-то всё еще не решается. Женат он на еврейке, чудом спасшейся из титлеровских лагерей смерти.

Есть здесь две русских семьи, приехавшие из Китая. Главы их женаты на еврейках. Один, выучив древнееврейский язык, работает бухгалтером. Работает и его жена. Оба они образованные люди, интересуются литературой и политикой. Будучи в Китае, муж выпустил небольшую книжечку своих стихотворений, очень недурных, но, как он выражается сам, «несозвучных эпохе». Они очень гостеприимные и скромные люди.

Несколько русских семей живет здесь при советских церковных домовладениях, которые вот-вот развалятся от бремени долголетия и беспризорности. Некоторая часть русских, приехавшая сюда как паломники еще до первой мировой войны, были в первые же дни войны турецким правительством интернированы в Египет, а после окончания её некоторые из мужчин обратно не вернулись. Вернувшиеся — на родину не пожелали.

Эмигрантов последней войны, за исключением меня, как будто еще нет, если не считать около десятка женщин, вышедших замуж за польских евреев.

Как правило, все русские женщины, вышедшие замуж за китайских и русских евреев, живут прекрасно, а вышедшие замуж за польских — не все, особенно плохо тем, кто посещает православную церковь и находится в окружении родных мужа, принадлежащих к числу ортодоксальных верующих евреев.

Возможно, что есть и еще русские беженцы последнего времени, но о них пока ничего не слышно: очевидно пока не обнаруживают себя.

Есть здесь и такие русские, о которых как-то неприятно говорить, — пьяницы и

босаяки. Их к счастью очень немного, к тому же — я им очень благодарен за то, что они взяли советские паспорта и ведут очень большую «пропагандную работу» среди еврейского населения, хорошо их знающего. Исключение из них составляет один «порядочный» пьяница. Как-то я спросил его:

— Хочешь поехать в Советский Союз?

Он ответил:

— В Советский Союз не хочу, а в Россию... даже пешком пойду...

В православных монастырях доживают век русские монашки: древние, сгорбленные временем. Из России они прибыли сюда еще до первой войны. Недавно в одной статье в еврейской газете было опубликовано следующее (передаю своими словами): в Иерусалиме русской духовной миссией ремонтируется собор. Ремонтируют его еврейские рабочие. Как-то заходят в собор две древние восьмидесятилетние монашки: «Боже, Боже мой!», всплескивают они руками, — «До чего же мы дожили: наш святой храм нам жиды ремонтируют».

В Назарете, где живут только одни арабы, русских нет, за исключением одной старенькой монашки, живущей при греческой православной церкви, подчиненной московской патриархии. Много в Назарете соборов, церквей и монастырей, а вместе с ними и священнослужителей, но коммунистов еще больше. В этом святом городе подлинное засилье коммунистов, и они там — как у себя дома...

Среди русских из детей мало кто окончил здесь гимназию, не говоря уже о высшем образовании. Правда, дети русских, родившиеся здесь, в подавляющем большинстве владеют несколькими языками.

Как-то раз у Жулиных собралась небольшая компания, я прочитал ей несколько стихотворений из «Нового Журнала», из «Грани» и «Возрождения». Выслушав их и покачивая головами, на мой вопрос: нравятся ли стихи, они ответили:

— А что тут нравится? Какие-то непонятные...

Тогда я прочитал им несколько стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Кольцова.

— Ну, это другое дело! — радостно воскликнули все.

Комментарии к этому излишни. Простой человек современных модернизированных стихов не читает.

По вероисповеданию русские разделяются на православных, баптистов, молокан и «свидетелей Иеговы», но, несмотря на это,

большинство из них, а особенно те, кто примкнул к недавно организовавшемуся объединению русских беженцев, живут между собой дружно: ходят в гости и помогают друг другу. В объединение русских беженцев принимаются все без различия вероисповедания и партийной принадлежности. Не принимаются только коммуны и просоветские. Организация это небольшая: всего 18 семейств — 55 человек.

Теперь немного о герах, то есть о тех русских, которые приняли еврейство и сделали себе обрезание. Таких, примерно, 8-10 семейств. Все они многодетны и живут зажиточно: имеют свои дома и почти что все, за редким исключением, работают шоферами или механиками. Некоторые из них начинают отходить от еврейства. Большая часть их настроена антикоммунистически. В войну Израиля с арабами молодежь их сражалась на стороне Израиля. Несколько человек из них было убито. Погибли в этой войне и мирные жители: в одном монастыре, находившемся на линии боевых действий, были убиты все монашки.

2. ПО ГЕННИСАРЕТСКОМУ ОЗЕРУ

Ну и скучища же в знойной Бершеве, в израильском Казахстане, где русских ни единой души, за исключением собственной персоны. Беер-Шева, — что означает семь колодезей Авраама, из которых несколько сохранились и поныне, — бывший арабский город в центре пустыни Негев. Он построен по плану немецких архитекторов с широкими и прямыми улицами, но с плоскокрышными домами, обнесенными высокими каменными стенами. С трех сторон города возвышенности, а с четвертой — степь. Сейчас в Бершеве не осталось ни одного араба; во время последней войны с Израилем они ушли в Египет. Через несколько лет после войны города не узнать: появился новый город, новые заводы и новый театр, один из лучших во всем Израиле.

Рано утром такси мчал меня из Бершевы к городу Хайфа по пустыне Негев. Вернее, это — голодная степь, куда сейчас проводят воду. Кое-где попадаются кибуцы, то-есть сельскохозяйственные коммуны, и небольшие беленькие домики только-что построенных израильских деревень (мушавы). Машина нигде не останавливается. Шофер молчит, молчат и пассажиры. Ни птицы, ни зверя, лишь изредка вдалеке от шоссе спокойно пасутся длинноно-

гие аисты, не обращая никакого внимания на автомобиль. Он им не в диковинку!

Унылая однообразная степь без единой речушки и какого-либо малюсенького озера! без леса и чахлых кустиков, если не считать по бокам шоссе (квизиша) недавно посаженных эвкалиптов. И — невыносимая жара, а с обеда — ветер и пыль, навещающие на каждого непреодолимую тоску. Кое-когда попадаются черные палатки кочующих бедуинов, двугорбые верблюды, бедуинки, с ног и поверх головы в черном одеянии, с татуированными лицами, серебряными серьгами в ноздрях.

Я еду к русским, где отдыхаю душой и телом, но не языком: намолчавшись в Бершеве, я говорю, говорю... В эту поездку по приглашению Николая Жулина, моего лучшего друга и первого моего знакомого в Израиле, я решил вместе с ним прокатиться по окрестностям Геннисаретского (Тивериадского) озера.

Около 4-х часов я дремал в такси. Когда проехали Негев, природа оживилась: проносимся мимо апельсиновых и банановых рощ, виноградников, мимо прекрасных израильских деревень, нисколько не похожих на наши русские. Домики их — как виллы и коттеджи, заросли кругом пусти-лиственными деревьями. Теперь мне уже не дремлет. Мы мчимся вдоль берега Средиземного моря, рокот которого доно-сится до моих ушей. Вдали показался жи-вописный портовый город Хайфа, распо-ложенный по горе Кармель и под нею. В Хайфе я, ни на минуту не задерживаясь, иду на автобусную станцию около железн-одорожного вокзала. От Хайфы и до Кирьят-Хорошет местность живописная, нечто вроде предгорья Кавказа. Здесь уже не равнина, а холмы. Горы покрыты ду-бами, рожковыми деревьями, маслинами, библейскими смоковницами и другими, на-звания которых я всё еще и до сегодня не запомнил.

Автобус идет вдоль маленькой речушки Кишпон (по-библейски — Киссон), заросшей низкими олеандрами и осокой, где Ни-колай Жулин в свободное от работы вре-мя любит половить рыбу. По одну сторону этой прелестной речушки — причудливые холмы, по другую — крутая гора Кармель, на которую так и манит тебя забраться. Дубовый лес, вечно-зеленый, темный и, как араб, гостеприимный.

«Кирьят-Хорошет!» — бросает пассажи-рам шофер, и несколько человек, в том числе и я, сходит с автобуса.

Жара невыносимая. До Жулиных идти 10 минут по каменистой дороге. Вдоль нее ни деревца, ни кустика, одни только ред-

кие хорошенькие домики с плоскими крышами без труб (печек здесь нет).

Домик Жулиных — у небольшой горы, на которой находится кибуц Киват-Зайд (в нем когда-то, после своего приезда в Израиль, прожил я 2 года).

Подхожу всё ближе и ближе. Причудливый по архитектуре дом их со своими 4-мя комнатами и двумя террасами, окружен горами. С трех сторон — сосны, а с четвертой — виноградник, поднимающийся вверх, в гору по ступенькам... Жилище Николая мне всегда напоминало библейские картины художника Семирадского. У дома — сливы, туява, гранатовые деревья, цветник, а на плоской крыше пчельник.

Встречает меня Поля, жена Николая. Русское открытое лицо её расплылось в приветливую радостную улыбку:

— Наконец-то, дядя Александр!.. Аж заскучала по вас. Всё время вас ждали, и я была уверена, что сегодня обязательно приедете.

Идем в комнату. Навстречу мне подбегает Валя, девятилетняя дочь Жулиных.

— Ну, белобрысая, что сегодня лодырничаете, а не в школе?

— Так сегодня же воскресенье. Мы не учимся и в воскресенье и в субботу.

Вскоре пришел Николай, мужчина лет за сорок пять, среднего роста. Одет неважно: щегольством не отличался. Костюмов Николай не любил и галстуков не любил: в большие праздники жена ему эти «собачьи ошейники» завязывала сама.

— Ну вот и дядя Александр пожаловал, — протянул он мне крепкую руку, от пожатия которой мне не раз приходилось выплывать камаринскую.

— Что же? Послезавтра и на охоту. Без сего удовольствия ведь со скуки отдохнешь, а?...

Поля уже начала жарить на примусах мясо дикого кабана, несколько дней тому назад убитого у гор Генисаретского озера. О Поле не мешало сказать еще несколько слов. Помимо того, что в окрестности слыла она замечательной хозяйкой, славилась она еще и тем, что знала секрет лекарства, которым вылечивала большую птицу. Случалось, кругом сплошь сидели куры, а у нее — ни одна. Много пользы принесла она соседям. Свой «патент» бережет и сейчас до поры до времени...

Через два дня на собственной николаевой машине, помятой, облезшей и обшарпанной (в Америке такая давным-давно валялась бы на свалке), которую за её удивительную неказистость и дряхлость знакомые называли тарантасом, катили мы

по долине Емек (Галилея), вдоль горы Кармель, на вершине которой, против деревни Кирыят-Хорошет, из-за леса виднелся монастырь пророка Илии, а внизу, чуть ли не у самого подножья горы, высился одинокий невысокий холм. На этом холме по приказу Илии было уничтожено 400 лжепророков, (3-е Царство, гл. 18, ст. 25-40). Кровь их была пущена в реку Кишон, вдоль которой мы, не останавливаясь, мчались. Проехали несколько деревень, беленькие дома которых утопали в гуще эвкалиптовых и маслиновых деревьев и акаций.

Вскоре завиднелась вдали куполообразная библейская гора Фавор, а на макушке её — окруженный деревьями католический монастырь. Здесь произошло Преображение, и часто, проезжая мимо этой горы, одиноко стоявшей от других гор в стороне, я уносился мысленно в те библейские времена, когда родился и жил Христос. В монастыре я еще не был (слишком высоко подниматься), а хотелось бы. В более свободное время договорились с Николаем всё же побывать там.

Подъезжаем к Афуле, новому городу, застроенному белыми каменными домиками, в большинстве одноэтажными, резко отличающимися друг от друга. Зелени в городе еще мало: не успела разрастись. За Афулой, в нескольких километрах, поднимаемся в горы, безлесые, пустынные, словно жалующиеся на свою заброшенность.

Дорога то поднимается, то опускается вниз, и наш «тарантас» тарахтит, мчит нас вперед. Проезжаем мимо деревеньки, похожей на черкесский аул: домики напоминают сакли. Здесь со времен Абдула обосновались черкесы, не забывшие ни своего языка, ни своих обычаев. В израильско-арабской войне они героически сражались на стороне Израиля.

В ауле мы не останавливаемся, мчимся дальше. Через часа полтора спускаемся в долину, в деревню Явно, где живут, главным образом, геры, то есть русские, принявшие еврейство. Деревня выглядит по-израильски: русского в ней нет и в помине, если не считать по бокам улиц высокого бурьяна. Обычная израильская деревня с белыми одноэтажными домиками в 3-4 комнаты. Домики не с плоскими крышами, но без труб. Долго не мог я привыкнуть к домикам без труб, словно недостроенным. Здесь мы тоже не останавливаемся. «Тарантас» снова поднимает нас в горы, утлые и нелюдимые, и мчит всё дальше и дальше. Жара невыносимая.

Вскоре перед глазами открывается долина, вся утопающая в зелени садов, ба-

нановых рощ и эвкалиптов, а дальше серебристо заблестело тихое Геннисаретское озеро и река Иордан. Проезжаем каменный мост через эту священную реку, не широкую, но величавую, окаймленную по обоим берегам лесом из сосен, эвкалиптов и еще каких-то незнакомых мне деревьев. Местность эта напомнила мне вдруг заброшенный уголок на Хопре, недалеко от Дона. Берега Иордана, истоптанные бесчисленными туристами, отлоги, у спусков заросли осокой и камышом.

— Ты на что так воззрился? — спросил я Николая, который пристально глядел в сторону от реки.

— Кажется, змеи, и не одна, а несколько штук, — ответил он; — Никогда не было их столько, как в этом году. Уж человек 12 умерло от укусов... И газеты предупреждали.

Недалеко от Иордана расположена деревня, по своей разбросанности напоминавшая нам донские казачьи хутора. Мчимся дальше, в сторону от озера.

Через 15-20 минут въезжаем в кибуц Шет-Иаков, заросший эвкалиптовыми деревьями, акациями огромных размеров, смоковницами, в тени которых ютятся одноэтажные и двухэтажные домики с маленькими балкончиками для каждой квартиры. Сначала останавливаем машину у сельскохозяйственных построек возле высокой водонапорной башни. Небольшой ветерок доносит до нас запах навоза и сена, а в уши, уставшие от трескотни машины, — мычанье коров и блеянье овец. Постройки для животных здесь фундаментальны: по последнему слову науки. Кибуц этот уж не напоминает ничем наши колхозы, даже и самые богатые.

Николай здесь на службе: оберегает огорды и банановые рощи от диких кабанов, периодически появляющихся со стороны Сирии.

— Сначала идем в мой отель, — говорит он, и мы по тенистой аллее направляемся в «отель» — деревянный домик, предназначенный к сносу, в тени от нависших над ним деревьев. Открываем дверь. Небольшая комнатка, по двум стенам стоят два топчана. На одном — рваный матрац, другой матрац, но еще хуже — на полу.

— Ну вот, — улыбнулся Николай, — здесь и переночуем! Удобно, а главное бесплатно и при бесплатном питании.

Кибуц Шет-Иаков по политическим разностям разделен на два: мапайский (рабочая правая партия) и мапамовский (левая, просоветски настроенная партия, как две капли воды похожая на итальянскую со-

циалистическую партию (Ненни). Раздел полный. Отдельные столовые, прачешные, конторы и сельскохозяйственные дела.

Уже вечер. Идем в мапамовскую столовую: обширную, просторную залу, заставленную столами с белоснежными скатертями. На столах пшеничный хлеб, салат, помидоры, маргарин, лапша и полусладкий чай. Бери, сколько хочешь. Минут через 5 подъезжает к нашему столу тележка, и разносчик подает по яичку, предварительно справившись: крутое или всмятку.

Отглядываюсь крутом. На стенах ни портрета Герцля (основоположника сионизма), ни портрета Вайцмана (умершего президента Израиля), ни даже портретов советских вождей, которые в совсем недавнем прошлом (до процесса Сланского и врачей) еще висели здесь. Поговорить ни с кем не пришлось. Решили пойти в мапайскую столовую. Тут к Николаю сразу подошел кибуцник, поздоровался и пригласил ужинать. Мы сказали, что только поедем, но кибуцник все же усадил за стол. Подали тоже по яичку и по блюдечку сметаны ко всему тому, что уже было на столе: маргарин, салат, помидоры, лапша, чай и хлеб. Разговорились. Я спросил кибуцника, как, по его мнению, должен поступать Израиль, если между Западом и Востоком вспыхнет война. — Должны держать нейтралитет, — ответил он. — Собственно говоря, — подумав, добавил он, — мы должны быть на той стороне, где более выгодно.

Я спросил: значит и с коммунистами войдете в контакт, если пообещают выгоду?

— Нет, нет! — слегка растерявшись, ответил кибуцник. — Вы не так меня поняли.

— Ответ был ясен, — пожал я плечами. — Неужели таков взгляд и нашего израильского правительства? Кибуцник смутился окончательно и заторопился уходить: — Извините! У меня сейчас срочное дело... «Скатертью дорожка!» — подумал я и крикнул вдогонку ему: — В прошлом я за мапайцев голосовал, а теперь буду за сионим-клионим! (буржуазно-прогрессивная партия).

Хотелось спать, мы с Николаем поднялись и пошли в свой отель. На следующий день рано утром мы отправились к границе, чтоб посмотреть упоминаемую в Библии Галаадскую долину, находящуюся в арабской части. Мы стояли на небольшой возвышенности, примерно, в километре от границы, а перед нами расстилалась прелестная местность: вся в зелени, в садах, с рекой Ярмук, которая извивалась, пряталась в гуще деревьев. Как средневековые замки, белели дома с плоскими крышами. Здесь еще не было ни одного вооруженно-

го инцидента с арабами, так как большая часть Галаадской долины принадлежит персидским помещикам. Галаад означает: «холм свидетельств». Здесь израильтяне во главе с Моисеем сражались с жителями-язычниками и завоевали эту страну, которую называли позже страной «молока и меда» (Числа 32; 1-17). Здесь же тесть Иакова преследовал Иакова, и здесь они встретились и заключили союз о ненападении, более прочный, чем теперешние союзы такого типа. Галаадская долина в Библии упоминается не раз (Суд. II: 1-40) и (Быт. 31: 47-52).

Долина снова напомнила мне наши придонские луга с рекою Медведицей, если смотреть с гор на утопающие в садах и левадах казачьи хутора, чуть ли не сплошной лентой тянущиеся по предгорью.

Через час мы снова катили к Геннисаретскому озеру в кибуц Еншев, граничащий с Сирией. С одной стороны кибуца — озеро, а с противоположной, почти тут же рядом — высокая отвесная гора, на вершине которой видно большое арабское селение. Кибуц в дни прошлой войны с арабами выдержал длительную осаду и героически отстоял свою землю. Кибуц этот рыболовецкий, но имеет также банановые рощи и огороды. В нем — большой театр, в который в навигационную пору, когда здесь не так жарко, съезжаются туристы со всего Израиля. Как и Геннисаретское озеро, кибуц лежит ниже уровня моря (в летнюю пору поэтому здесь такая невыносимая жара). — Около озера — целебные горячие источники, работающие круглый год.

В Еншеве мы пошли к главе кибуца, которому Николай заявил, что приехал охотиться, и потом тотчас же выехали. Остановились у берега озера, на голубой поверхности которого порою всплывали серебристые блестики. У берега шелестел высокий камыш.

К вечеру, взяв ружья, мы поднялись в гору. Николай находил инструктировал меня, как охотиться. Потом свернул от меня в другую сторону и вкороности скрылся в зарослях камыша. Иду, а сам поспатриваю на гору в сторону арабской деревеньки, ругая себя, что связался с этой кабаньей охотой. Вот-вот, думаю, раздается с арабской стороны, из какой-либо засады, выстрел — и не будет дяди Александра. Поднимаю к подмышке ружье и озираюсь... Николай зашел с другой стороны зарослей, а я должен выпонять кабанье стадо в его сторону. Охочусь я впервые и, по правде сказать, не совсем твердо понял наставления учителя.

В стороне что-то зашуршало, — даже, как показалось мне, хрюкнуло. Насторожившись, присел на корточки. Осматриваюсь... Впопыхах, а может быть и со страху, нажал курок, вижу: мелькнуло что-то в зарослях. — Бац-бац!

— Да ты что, одурел, что ли, сукин сын!

— Сначала услышал голос Николая, а потом и самого увидел. — Ошалел!! — рутался он.

Стою ни жив, ни мертв. Николай (должно быть я уж очень походил на идиота!) подходит, смотрит на мое лицо и вдруг начинает смеяться.

— Немного ошибся, дядя Александр! Вот бы кабана привез моей Поле!

— Нет уж, баста, хватит, — сказал я, прийдя в себя. — Охоться один! Я тебе, брат, не помощник! — И я ушел к машине, а Николай только к вечеру вернулся, хоть и без свиней, но с разодранной щекой: споткнулся о пень и упал прямо на клык дохлого кабана.

Отправились на ночевку в Еншев. За ужином Николай увидел знакомого. Подошли к нему. Разговорились. Русским языком владел он в совершенстве. Принадлежал к партии мапамников, но сам лично был настроен антисоветски.

— Я бы хотел, чтобы вы поговорили с моей женой. Из России она в 1947 году. Я хотел бы, чтобы она рассказала вам, что пережила. В дни войны и после работала она в одном из колхозов в Нижегородской области. Уму непостижимо, что, по ее рассказам, творится там.

Вскоре мы были у него на квартире. Небольшая комнатка с маленькой террасой, уютно обставленная, радио... «Значит, кибуцы укрепляются, богатеют, жизнь кибуцников улучшается», — подумал я.

У них было двое детей. Дети в кибуцах не живут с родителями, а отдельно, в благоустроенных общежитиях. В свободное время родители посещают их. Встретила нас среднего роста смутная женщина. Разговорились. Рассказ ее о жизни советских колхозов сводился к следующему: мужчин в колхозах очень и очень мало. Вся работа — и тяжелая и легкая — на женщинах и подростках. Все стараются прикинуть себе трудодней, что с помощью бригадиров порою и делалось. Со времени революции в облике крестьянина и особенно крестьянки мало что изменилось: ни в быту, ни в одежде. Матерная брань и пьянство, как обычно. Нищета еще хуже, чем прежде. Постель — рваное тряпье. Семья по большей части спит на полу. Колхозницы, как правило, ходят без трусиков. Неграмотных почти нет, но малограмотных много. Радио

нет, так как электрическое освещение только в очень редких колхозах. Инвалидов множество, громадное большинство их нищенствует.

Нельзя никоим образом сравнивать жизнь колхозника с жизнью израильского крестьянина и кибуцника. Кибуцник, как правило, владеет несколькими языками, читает газету, имеет свое радио, разбирается в тонкостях политики и живет вполне культурной жизнью.

В конце своего рассказа женщина спросила меня:

— А вам нравится в Израиле и в кибуцах?

— Да, — ответил я, — очень нравится. Спокойно. Могу говорить, о чём угодно, читаю всё, что хочу. К кибуцам мне только одно не нравится, что заработную плату в них не дают.

— А зачем она в них? При отпуске и её дают.

— Да, это правда! К тому же редкий кибуцник не имеет в каком-либо государстве родственников и друзей. Я думаю, что нет другой страны, кроме советской, где жители не получали бы откуда-нибудь из заграницы посылок... Вот я грешный: зять у меня имеет сестру в Англии, двух дядей в Бельгийском Конго, одного в Уганде, а в Америке тоже одного родственника, по профессии маляра, но который помогает нам больше, чем все остальные, вместе взятые. Пойдешь на нашу почту, вся она завалена посылками... Наш народ разбросан по всему земному шару, но больше всего нас в Америке и в России. Умерла матушка Россия...

О чём только мы не разговаривали. Кибуцник этот очень образован, окончил 2 университета, инженер по специальности, интересуется христианским учением и просил даже присылать ему православный журнал.

— Да, — закончив свою биографию, заключил он, — а таких, как я — инженеров, техников, врачей, бухгалтеров, коммерсантов — по кибуцам очень много. Я работаю здесь бухгалтером и этим горжусь. Ведь мы, кибуцники, патриоты своей родины.

Я заинтересовался историческими местами Египта.

В нашем районе, к сожалению, их нет, ответил кибуцник — это в Тивериаде и дальше. Там их много: Микдель, Капернаум, сама Тиверия.

Через час наш «тарантас» катил по направлению Тивериады. Опять по каменному мосту, переехали Иордан, к городу, выстроенному в честь римского императора Тиверия, в садах которого некогда Саломея

танцевала перед царем Иродом, за что потребовала голову Иоанна Крестителя.

Вскоре показался и город. Мало, что сохранилось в нем с тех исторических времен. Каменная набережная, остатки базальтовых стен крепости, уже порядочно разрушенных.

Город Тивериада расположен и на самой горе, и на склоне её. Больших зданий нет, всё больше одноэтажные и двухэтажные. Многие из них построены из базальтового камня. Здесь, как нигде, чуть ли не каждый дом — отель. До войны с арабами город был заселен исключительно арабами и от боев несколько не пострадал. Жители-арабы ушли в Сирию. Город очень красив, но чистотой не отличается. Недалеко от озера небольшой красивый парк из вечнозеленых деревьев. Каменные скамейки, клумбы цветов, причудливых и ярких, каких я не видел ни у себя на родине, ни в Европе. Остановились у парка. У Николая везде знакомые, чуть ли не пол-Израиля. Подошли к нам два гражданина в коротких штанах (здесь все ходят в коротких штанах, а особенно летом, и старые и малые, и женщины и девушки).

— Ты что же, Никола, забрался сюда? — спросил один из мужчин, лет этак за 40 (в Израиле не принято именовать по имени-отчеству).

— Да что... вот на охоту едем!

— На чём же едете: на автобусе или на своем?... Может, поменяемся? Вон видишь: стоит моя телега с ослом?

— Согласен, — отвечает Никола. — Только с условием.

— Это с каким же?

— Меняюсь на телегу с двумя ослами.

— Да где же я второго возьму?

— А про себя забыл? — улыбнулся Николай.

Местные жители никогда не обижаются на шутку, даже и острую. Евреи любят шутить, слушать анекдоты и подшучивать друг над другом.

— Вы куда же теперь отправляетесь? — снова спросил Николая его знакомый.

— Сначала в русский сад, потом в Микдель, Капернаум и Хулу.

Через несколько минут мы снова мчимся вдоль гор по живописному берегу Геннисаретского озера.

— Знаешь, кто это был? — спросил Николай.

— Откуда же мне знать?

— После этой войны был он одним из руководителей английской репатриационной комиссии. Как-то рассказывал мне, что в то время он передал советам около 5000 русских, а через неделю ему стало извест-

но, что около 2000 из них советы расстреляли. После этого он вспыхнул к советам ненавистью.

— А до этого? — спросил я.

— Чуть ли не коммунистом был...

Проезжаем купальню, потом мельницу, а за ней полицейскую береговую охрану, и через 15 минут против высокой крутой горы останавливаемся у калитки русского сада московской патриархии. Русский сад этот снял в аренду мой знакомый югослав, женатый на русской. Он сам, жена и древняя ветхозаветная старушка с открытым русским лицом, приветливым и милым, встретили нас радушно. Иван Григорьевич, так зовут арендатора, похож скорее на прека. После обычных расспросов, он ведет нас по саду, а жена его, Катя, лет на 20 его моложе, принимается вместе со старушкой-матерью готовить обед. У них дочери: одна учится в Назарете в закрытой школе, а другая, младшая, — в местной.

Русский сад действительно напомнил мне мою родную сторону. Три ветхих домика, готовы вот-вот свернуться на бок, русская летняя кухня, покрытая камнем. В нескольких шагах от домиков блестит в итре небольших волн водная гладь, над которой кружатся чайки.

Геннисаретское озеро. Столетние эвкалипты вокруг домиков напоминают чуть наши плакучие ивы: ветки этих древних деревьев тоже клонятся к земле, а сад, весь заросший высокой травой, запущен по-нашему.

В саду апельсины, маслины, розы, за ними чахлая банановая роща. По всему саду разбросаны теплые источники, выложенные камнем из черного базальта. В одном из таких источников купалась, верно, Мария Магдалина. Он расположен, примерно, в 10 шагах от озера, и к нему не особенно-то легко добраться: сваленные громады эвкалиптов, колючки выше человеческого роста и большие камни преграждали к нему путь... Весь берег озера усыян мелким камнем, гладко обточенным прибоем.

Русский сад — одно из красивейших мест в Израиле, и недаром многие предприниматели предлагали советской духовной миссии сдать сад им в аренду. Они хотели открыть там дом отдыха и курорт: привести всё в порядок, построить отель с видом на озеро и व्यуживать прибыли.

Миссия не согласилась на это: боялась, как бы сад не прилип к чужим рукам.

— Куда же вы направляетесь? — спросил нас Иван Григорьевич.

— В Хулу, — ответил Николай. А я добавил: — Мимоездом заедем в Микдаль, Капернаум и в ту арабскую деревню, которой, мне говорят, более 2000 лет. Конечно, арабов сейчас в ней нет: все уехали в Сирию.

Иван Григорьевич усмехнулся:

— Неужели ваша колымага выдержит этот путь?

— Ну вот, — ответил Николай, — во всем Израиле мой «кадилак» притча во языцех. Одни его называют фургоном, дядя Александр — тарангасом, а ты — колымагой. Дело здесь не в колымаге самой, а в шофере. Шофер водит машину, а не машина его. Другой на моей машине давно бы под откос свалился. Но дело не в этом, а главное: в безопасности. Где бы я машину ни оставлял, всегда целехонька. Никто не позарился утащить.

Иван Григорьевич жаловался на плохие дела: погиб урожай помидор, бананы чahnут, а от остального почти никакого дохода.

— Вот иногда в озере рыбкой промыслаю: то, сазанчика, то сома... всё ж кое-какое подспорье. Еще хорошо, что миссия вошла в мое положение, не требует в срок арендной платы.

Нас пригласили к обеду. Подавали жареного сома, жареный картофель, колбасу, помидоры, бананы (они круглый год растут здесь), масло, появилась на столе и бутылка коньяку. На славу угостила нас хозяйка! Её чисто русское лицо, по которому можно было дать ей не больше 30 лет, сияло добродушием.

— Как в Сибири живем! — жаловалась она. — До Тиверии километров пять. Кругом одни, словно в ссылке какой. Да и ездить туда не к кому. Ведь мы недавно здесь, а то всё время в Назарете жили...

По просьбе хозяев решили дальше не спешить, а передохнуть в саду. Уж слишком манил он нас своим русским духом, а ветхозаветная старушка, мать жены Ивана Григорьевича, — своим воркующим приятным говорком. В ней, как нам казалось, едва-едва теплилась жизнь. И всё же она живо напомнила прошлое и тех далеких наших бабушек, при которых родина при всех недостатках своих жила свободно и неповторимо...

Великая скорбь

(Из второй части)

Снова Ковно, лагерь военнопленных под литерой «Г». Длинные ряды барачков, посреди — большая площадь, заполненная толпой пленного люда; кругом — колючая проволока, на вышках — часовые с прожектором и пулеметами, направленными на нас; несколько далее лагеря — памятник и страшный форт № 6, там теперь госпиталь; из-за вершущих деревьев соседней рощи виднеются черепичные крыши, шпиц ратуши, кресты колоколен города.

Тревожно было у нас вчера на душе, когда входили в лагерь: конвоиры-украинцы, жадно созерцая наши котомки, разбухшие от добротных даваний сердобольных литовских крестьян, многозначительно пугают: «Тут вам покажут! Если имеете сало, хлеб — отдайте лучше нам. Всё равно при обыске отберут»...

Обыск производил сам комендант лагеря, из военнопленных, худощавый человек среднего роста с нервным и злым лицом неврастеника; ему помогали какие-то молодцы типа чекистов — «орднера».

— Выворачивай, живо!... Это что у тебя? Бросай туда... Проходи... Следующий! — только и слышались короткие, резкие приказания коменданта, пропускавшего по одному моих товарищей. Летели какие-то тряпки, глухо стучались о землю выбрасываемые хлеба, куски сала, картофель. С нехорошими плотоядными улыбками «орднера» подбирали выбрасываемое, рассматривали, складывали в отдельные кучи...

Вдруг грозный крик: «Возражать вздумал, сукин сын?» — и частые хлесткие звуки пощечины.

Кого он бьет? За что? — прошелестел у нас испуганный шопот.

Шахов, бедный Шахов, хранящий медаль «За отвагу»!... Это он отходит сейчас в сторону, держаась рукой за щеку! И из глаз катятся крупные слёзы.

У меня отобрали почти всё, включая несколько русских книг. Но когда в кучу бумажного хлама полетели и четыре тощих тетрадки дневника, я взмолился:

— Г-н комендант, — дрогнувшим голосом попросил я, — это мои записки... Позвольте их взять!... Больше ничего не прошу...

Он внимательно взглянул на меня. Я ожидал окрика, может быть пощечины. Я ошибся.

— Можете оставить себе, — отрывисто бросил он. — Следующий! Живо, мать твою...

...В лагере несколько тысяч человек, охраняют нас немцы и украинцы. Бараки последних где-то недалеко, и каждое утро вижу их на гимнастических занятиях, слышу русские команды и старые русские солдатские песни. Какая ирония судьбы!

День распределен так: в шесть утра подъем; проверка, выдача кусочка хлеба и мятного чая; затем «орднера» собирают пленных на работу; метод собирания очень прост — вооружившись дубинами и лопатами, «орднера» цепью двигаются по лагерю и стоняют всё живое к воротам; при помощи тех же средств воздействия производится разбивка на рабочие группы; в затруднительных случаях выступает сам комендант — Кузьмич — и плохо тому, кто подвернется под его дубину: так и свалится с разбитой головой...

Странный и страшный он человек. Командир Красной армии, вскормленный и вскормленный партией и властью, — здесь он стал наемником немцев, палачом, сладострастным убийцей... Много о нем рассказывают ужасов...

В двенадцать обед, половник баланды: после него — толкотня на площади («базаре») или мутный полусон в бараке, если не потянули на работу, после вечернего чая забираемся на свои нары — и начинается крахтение, кашель, почесывание от зуда блох и вшей... Тесно, жестко, тяжелый,

пропитанный аммиачными испарениями, воздух...

...Видел любопытную картину: пьяный Кузьмич, с папироской в зубах, довольно милостиво беседовал с окружающими его пленными. Один из них смело спросил — почему он бьет и даже убивает своих земляков? Ведь по окончании войны ему придется дать ответ за это?...

— Вы думаете, я не знаю своей участи? — криво усмехнулся Кузьмич. — Вы первые меня убьете!... А пока власть в моих руках... Вот и тешусь.

Сколько безнадежного и вместе бесшабашного было в жесте, которым он сопроводил свои слова!...

* * *

Вчера набирали партию для работ у крестьян, и мне с друзьями удалось в нее попасть. Сейчас томительно ждем отправки...

При формировании партии произошла маленькая, поразившая меня оценка... Нас долго строили, проверяли, потом завели в пустой барак. Через несколько минут в него вошел страшный Кузьмич.

— Внимание! — громко сказал он.

Все сразу умолкли. Лежавшие поднялись с нар.

— Ребята! — заговорил Кузьмич. — Сегодня вы проведете ночь здесь, а завтра поедете, по всей вероятности, к крестьянам... На север от Ковно, богатые, хлебные места...

— Спасибо, товарищ комендант! Дай Бог здоровья! — подышались почувствованные возгласы. — Позаботились, значит, о нас...

— Ну, вот! Там отдохнете, поправитесь... Может быть конца войны дождетесь! — Голос Кузьмича неожиданно задрожал. — Не поминайте лихом.

Не ошибся ли я?... На глазах этого жестокого человека показались слезы. Он круто повернулся и, ни на кого не глядя, быстро вышел...

1 июля

Вместо крестьянских хозяйств мы очутились на торфоразработках. Голод, голодное истощение, голодная смерть — эта мысль непрерывно сверлит мозг, с ней мы утром встаем, с ней ложимся спать.

Наш обед — половник похлебки, сваренной из 8 килограмм ржаной муки и 2-х протухших коровьих голов. И это — на 210 человек на целый день. Наш хлеб — прозеленевшее тесто, перемешанное с древесными опилками, 280 грамм — тоже на целый день!... И больше ничего!

Мы окружены убийцами, бездушными хладнокровными убийцами! Мы сами стали убийцами!... Крадем друг у друга припрятанные от счастливых времен сухари, картофелины... Из-за каждого пустяка набрасываемся друг на друга с ненавистной бранью, поднимаем бессильные кулаки... Вчера одного жестоко избили за воровство, теперь принято решение убивать... Безумие голода почти у каждого в глазах.

Охраняют нас весьма тщательно, частые проверки, к проволоке ближе, чем на один метр, не позволяют подходить, начинается стрельба. Караул состоит из литовских солдат, молодых, здоровых и сильных людей; некоторые из них выказывают нам долю сочувствия (окурки, сухарики), не бьют, не понукают к работе, другие — ругаются, дерутся. Особенно отличается рыжий юноша, которого мы прозвали «Быстро»: он знает русский язык, но употребляет только одно это слово.

Сегодня было трудно и горько работать: конвоир, мальчишка лет девятнадцати, непрерывно покрикивал, замахивался прикладом, десятник, мрачный господин, обливал нас матерной бранью, кричали и ругались даже механик с помощниками; то и дело слышалось: «Давай, давай!» А между тем все они видят и знают, что пленные — голодные, обессиленные, что нет рукавиц, фартуков, что люди будут спать, как спали вчера, всё в той же промокшей, измазанной торфяной жижей одежде.

Погромыживает гром, по небу ползут тяжелые тучи... Болит и ноет всё тело. На душе неспокойно. Роятся злые мысли.

О возвращении домой, о свободе и нормальной человеческой жизни не хочется и думать. Только иногда вспыхивает злобное недоумение — какая может быть свобода и человеческая жизнь в «великом» двадцатом веке?... Ведь это век насилия и принуждения, и мы, миллионы людей, только жалкие рабы, у которых одно лишь право: страдать.

Чаше и чаще приходит в голову путающая мысль, что мою Нишу могут подвергнуть преследованиям за то, что её муж в плену. Боже, накажи меня, как хочешь, но пощади её!

18 июля

...Произошло это до странного просто...

Как обычно, мы, вторая смена, отправились после обеда на работу. Шли, растянувшись длинной цепочкой по шпалам переносной железной дороги, шествие замыкал конвоир. В такт шагу в моем воображении звучал марш «Старые друзья», и

я невольно вспоминал, как под звуки этого марша двадцать пять лет тому назад я, тогда юный подпоручик, въезжал верхом во главе своей роты в Одессу на предстоящий царский смотр.

«Там, тара-та-та, там», — тихонько напевал я — и в памяти оживали картины разукрашенных флагами улиц с толпами празднично одетого народа, колышущегося впереди моря щтыков, сквозь которые поблескивали трубы оркестра, лица хорюшеньких одесситок с цветами в руках. А потом — громадное поле с правильными четырехугольниками войск, внезапно наступившая тишина и вдруг далекое, но нарастающее, как морской вал, несомлаемое «ура»; восторженный, заглушающий оркестры тул сотен тысяч голосов, титанический, потрясающий. Народ встречал царя...

Неужели это было?

...Пришли. Сверх ожидания работа оказалась легкой: приказано было собрать разбросанный по торфяному лугу инструмент и снести его в одно место. Солнце порядочно припекало, мягкий и душистый лут манил прилечь, к работе никто не попускал — и мы делали свое дело неторопливо, даже с ленцой; наш конвоир, юноша с румянными щеками и большими наивными глазами, примостившись у кучи досок и зажав винтовку между колен, мирно дремал.

Вдруг около меня раздались взволнованные возгласы: «Смотрите, смотрите, двое наших убегают!» Действительно, двое пленных бежали к близкому лесу, намереваясь, очевидно, скрыться в нем.

«Держи, держи их!» — поднялись со всех сторон крики. Двое наших товарищей, что-то крича конвоиру, бросились преследовать убегающих. Литовец вскочил, дал выстрел и последовал их примеру.

Охота началась.

Поймают или нет? Лес велик, мы даже не знали его границ: уйти, пользуясь им, легко, если бы не преследовали: пока что лес скрывает тайну — не слышно ни выстрелов, ни криков.

«А ведь уйдут, пожалуй... — нерешительно заметил один из нас. — Ежели разделятся, обязательно уйдут! — подхватил другой. — По одному уходить куда способнее...

— Они так и сделали. Не видали разве, что один кустами пошел, а другой в лес подался? — отозвался третий.

Глаза всех напряженно были устремлены в лес.

— Не уйдут!.. За ними татарва наша погналась! От татарвы не уйдешь! — безапел-

ляционно решил кто-то.

— Ведут, ведут! Одного ведут!

Из леса показалась труппа людей. Впереди шел беглец, уже со связанными на спине руками и в разорванной от ворота до подола рубашке; он тяжело дышал, под белой нежной кожей порывисто поднимались и опускались кости прудной клетки. Преследователи тоже с трудом переводили дух, лица их были покрыты потом. Второго беглеца между ними не было.

«Сволочь, мать твою, бежать задумал? А товарищи за тебя отвечать должны?.. У-у, сволочь!»

С такими словами набросился на связанного человека наш бригадир. Не довольствуясь бранью, он стал его бить. Маленький, щуплый, — он прыгал около своей жертвы, выбирая чувствительные для удара места — голова, живот, — изошряясь ударить побольше не только кулаком, но и ногами.

Беглец упал. Он лежал неподвижно, уткнув голову в мягкий мох, никак не реагируя на сыпавшиеся удары. Было видно — он приготовился перенести всё.

— Я бежал, кричал часовой — не стреляй, мы поймдем! — блестя глазами и одуеваясь, оживленно рассказывал один из преследователей-татар про удачную охоту. Двое других его товарищей молча отирали пот с лица и очищали одежду от приставших колочек и мха.

Побой кончились. Беглеца поставили на ноги и стали допрашивать: куда хотели бежать, в каком направлении ушел его товарищ.

Он отвечал. У него был чистый и мягкий, очень мне нравившийся великорусский говор. Еще вчера я долго с ним разговаривал, исключительно ради удовольствия слушать этот певучий, нежный тенор, эту музыкальную русскую речь. Но он, повидимому, решил не выдавать своего товарища: указывая разные направления, прикидывался, что не понимает вопросов; на молодом, худощавом лице лежало выражение ожесточенной решимости.

Допрос окончился. Конвоир, приказав бригадиру следить за пойманным, ушел с татарами искать второго беглеца. Все мы уселись на мягкий пахучий мох, арестованный тоже. Оживленно заговорили о том, что его ожидает.

— Расстреляют! — категорически заявил один.

— Не-е, расстреливать не будут, — возразил другой. — А избыток по первое число.

— Смотря куда попадет, — поправил третий. — Ежели в Ковенский лагерь, то изо-

бьют так, что не встанет. Все унутренно-сти отобьют.

— Что наделал ты, паря? — укоризненно сожалеюще покачал головой еще один. — И себя полюбил и нас подвел!.. И чего было бежать? Думаешь, у наших, советских, прыжок бы заслужил?

Беглец молчал, с руками за спиной он сидел, опустив глаза в землю, неподвижный, как изваяние, только скулы чуть шевелились.

Что заставило его бежать? В нашем лагере режим несколько улучшился — значит не от голода. Молодое ли нетерпение, буйное, не терпящее отлагательства: «Эх, была не была, а на воле хоть часок поживу!» — Гордый ли дух свободы, презирающий опасности, лишения, тоска ли по родным людям и местам?.. Может быть, патристическое чувство или — незабытая вчерашняя обида?

Это ему вчера комендант-литовец надавал пощечин за плохую уборку двора.

Разговор окончился. Позевывая, потягиваясь, мы принялись за новую работу — скалывать торфяные кирпичи; около беглеца остался только бригадир.

Издали, с той стороны, где работала другая наша бригада, показалось несколько человек. Скоро можно было различить, что идут наш конвой, другой солдат по прозвищу «Быстро» и татары: охота за вторым беглецом кончилась, значит, неудачно.

— Где пленный? — спросил рыжий. Ему показали. — А ну, вставай! — приказал он, перезаряжая винтовку. Беглец медленно поднялся, лицо сразу побледнело, в глазах мелькнул страх и тоскливое недоумение.

— Иди туда, — тихо и задушно сказал рыжий, показывая рукой на лес. — Иди же, иди, — настойчиво повторил он: что-то страшное и зловещее было в тихом голосе и в улыбке, растянувшей тонкие губы.

Ярко светило солнце, в вышине наперебой заливались жаворонки, вокруг звенели мириады разноцветных мух; луг казался нежно-зеленым ковром, воздух был напоен странным, напоминающим ладан ароматом; мерно-убаюкивающе стучала торфяная машина нашей второй бригады: мы молча и тяжело ждали...

Беглец повернулся и, спотыкаясь, медленно пошел к лесу. Рыжий поднял винтовку, расставил ноги и прицелился в спину идущего. Неужели он хочет застрелить?.. Застрелить человека в такой благостный день?..

Зазвенело в ушах от выстрела. Из груди беглеца далеко бьющей струей вырвался

фонтан крови. Без крика, без стоа он упал на траву лицом вниз, немного потрепыхался, как раненая птица, — и стих. С жалобным, замтиающим звоном улелела в лес пуля, пробившая человеческое сердце.

— Русская собака! — пробормотал, усмехнувшись, убийца, протер винтовку шомполом и, мрачно взглянув на нас, ушел к своей бригаде пленных. Другой конвойр испуганными глазами смотрел то на убийцу, то на убитого: он, видимо, не знал, как относиться к событию — принять ли за должное или пожалеть, что привел с собой палача.

— Ну, ребята, посидели, отдохнули — давайте поработаем, — сказал бригадир. И мы снова принялись за укладку кирпича, посматривая то на облепленный мухами труп преданного нами товарища, то на солнце — скоро ли конец работе?

Вечером в бараке комендант при проверке коротко и жестко предупредил:

— В случае нового побега в первый раз расстреляю десять, во второй раз — двадцать человек.

Когда совсем стемнело, в барак пришел с фонарем конвойный и взял с собой двух человек с лопатами. Они развязали руки убитого, накрыли лицо заранее припасенной фуражкой и зарыли его в настил вырытой яме, тут же на торфяном лугу.

А звали его — Ивлаков Василий.

✱

Убил Ивлакова не только литовский солдат, ненавидящий «русских», то есть советскую власть, раскулачившую его семью при оккупации Литвы. Убили и мы, соотечественники, товарищи по несчастью, вся наша бригада в 30 человек, в том числе и я. Почему мы это сделали?

Хожу среди пленных, прислушиваюсь к разговорам, репликам, задаю вопросы — и прихожу к страшному выводу: мой великий народ дичает — и не от невзгод и лишений плена у немцев (литовцев), а от другого великого плена, продолжающегося четверть века... Лишенный Бога, разьедаемый пропагандой ненависти, подозрительности к каждому, платя бесчисленные жертвы Молоху коммунистической революции, — он теряет чувство солидарности, жертвенности, сострадания, даже товарищества... Это я увидел в первые дни плена у командиров Красной армии, бешено дерущихся друг с другом за место ночлега в конюшне, видел на форту № 6, увидел (и в себе самом обнаружил) — здесь.

Страшный вывод, дай Бог, чтобы он оказался ошибочным.

12 августа 1942 г.

Саксония, распределительный лагерь возле Якобшталя. Он полон советскими военнопленными. Жадно расспрашиваем, прислушиваемся к разговорам: как кормят, долго ли здесь пробудем, куда направят потом? Общий вывод — питание скверное, много хищений, после различных процедур предстоит отправка на работы в самой Германии.

Сейчас лежим на пыльной, тощей траве лагерной площадки. Тысячи людей. Возле меня старые друзья, с которыми я расстался в Ковно, и новые знакомые. Майор Поддубный, седой, но с молодыми, живыми глазами, невероятно оборванный, с жаром, сильно жестикулируя, развивает один за другим планы побега. Слушаем равнодушно, так как бегство из этого хорошо охраняемого лагеря в сердце Германии представляется фантастичным.

Справа слышится пустая брань и удары поясным ремнем. Оборачиваемся. «Орднер» разгоняет кучу пленных, разложивших в яме костер: одна за другой оттуда выскакивают испуганные фигуры, каждая получает свою порцию ударов. Отвратительное зрелище, но «орднер» словно в оправдание говорит, что за складывание костра может последовать жестокое наказание всего лагеря, например, лишение хлебного пайка на один-два дня. Может быть, он и прав в своем полицейском усердии?

14 августа 1942 г.

Недостаток питания начал сказываться: чувствую слабость во всем теле, временами темнеет в глазах. Приступы голода особенно ощутительны по вечерам, когда спадает дневной жар. Вчера я нашел на дне своей сумки обломки прозеленевшего до середины ореха и долго скоблил его большими зубами, пока горечь не вызвала тошноту; а сегодня мои друзья замочили горсть чудом уцелевшего сухого гороха и мы съели его, точнее проглотили сырым, почти не разжевывая.

В пайке нас сильно обкрадывают. В самом деле, откуда же черпать всем нашим поварам, полицейским, переводчикам ресурсы для собственного благополучия и меня на часы, сапоги, обмундирование, как не обкрадывая несчастных земляков? Так, вольно или невольно, люди и здесь убивают друг друга: иногда сразу, одним ударом полицейской дубины, а чаще медленно, истощив.

Сегодня видел плачущего мужчину. Кто-то украл у него суточную пайку хлеба — 200 грамм. Он плакал навзрыд, держась и трясясь всем телом, размазывая по гряз-

ному лицу слезы и слизь из носу, непрерывно сморкаясь... Иногда его охватывал пароксизм бешенства — он кидался на соседей, хватал их за одежду, за руки, кричал, чтобы пожалели его, отдали бы хлеб, прозил, проклинал... Его грубо отталкивали — и снова он заливался горьким плачем... Люди упрямо молчали, хотя вор был среди нас...

Нет, жалости ждать неоткуда. Надо терпеть, терпеть, пока теплится жизнь, пока не свалишься от болезни или истощения. Может быть, удастся дотянуть до счастливого дня посылки на работу?

Еще совсем светло. Склонившееся к горизонту солнце продолжает созревать косыми лучами усталую землю; большинство пленных, как обычно, лежит на траве площадки, экономя свои силы, и взоры многих прикованы к мирным картинам за проволокой...

Чуть слышно доносится колокол церкви далекой деревушки: «блям, блям». Вдали около рощи виднеются фигурки людей на поле: они или еще работают, или спешат на призывы колокола домой, в свои уютные домики: неподалеку от нас работает немецкая семья: муж косит, жена накладывает скошенную траву в ручную тележку, рядом дети, они играют с собакой; еще дальше — женщины вилами накладывают копны пшеницы на телегу. Какая простая, знакомая, извечная картина мирной сельской жизни — и как по-новому, сказочному недоступно выглядит она сейчас.

Жадными и задумчивыми глазами смотрят сквозь проволоку наши пленные, в большинстве крестьяне, на работающих немцев; обмениваются иногда тихими деловыми замечаниями: «Смотри, хомуты у лошадей до чего огромные... Наша упряжь куда легче... Ну, да и кони у них — чистые звери! А озиими, гляди, уже засеяли...»

Тихо опускается вечер, кое-где засверкали огоньки. Тридцать тысяч истощенных, голодных людей медленно расходятся по темным баракам, кряхтя, вздыхая, укладываются на голые доски трехэтажных нар.

— Вставайте б...! — прорезывает утреннюю тишину хриплый голос «орднера». Отборная матерная ругань сыпется, как из рога изобилия, её сопровождают удары палкой или ремнем — и сотни людей, спавших одетыми, опрометью, тремя котелками и банками, прикрывая головы руками, кидаются к дверям.

Я уже давно не сплю, котомка, служившая подушкой ночью, уже одета — и всё

же команда подъема путает. Ведь быют не провинившихся, не замешкавшихся, а ко-го попало. Подобно всем, прячась за спины других, обгоняя и втягивая голову в плечи, — я спешу к дверям, весь во власти одного стремления — не получить палки, затрещины или пинка.

«Орднера» быют все, за редким исключением, словно битые пленных составляет непремennую и важную сторону их деятельности. Но особенно отличается маленький «орднер», по имени Славка, с птичьим лицом и тонкими, бескровными губами. Он бьет со сладострастием, с выдержкой — и нередко его жертва со стоном валится на землю, чтобы больше не встать. А Славка, выполнив долг, с едва заметной довольной улыбкой закуривает сигарету — и замирает возле угла барака, высматривая новую жертву...

Кто они, эти палачи? Известно, что Славка советский агроном, — откуда же столько садистической жестокости? И как сумели подобрать подобных людей?

Кстати, словно по чьей-то злой и обдуманной иронии, все «орднера» одеты в форму войск НКВД. Порой, не шутя, возникает пугливый вопрос: не рехнулся ли ты — и лагерь советских заключенных принимаешь за лагерь военнопленных?

Или эти люди действительно агенты НКВД и осуществляют секретное задание советского правительства — сделать существование пленных невыносимым? Такие предположения уже высказывались у нас, притом людьми серьезными, а при лепковерии немцев такая акция вполне возможна...

... Пообедали. Запишу сценку, каких ты-сячи, только что разыгравшуюся в колонне, медленно подвигающейся к кухням.

— Ты куда залез? Я вот тебе голову котелком разобью! — кричит один пленный из командиров пожилому красноармейцу, пытающемуся приспособиться к нашей шеренге.

— Эх, постыдился бы ты так говорить! — отвечает старик. — Ведь я, поди, тебя лет на десять старше...

— А мне начхать на твою старость! Пожил свое, одышать пора!

— Ругаются, только и ругаются! — вздыхает сосед. — А всё от некультурности нашей...

— Причем здесь культурность? — набрасывается уже на него сердитый командир. — Какая может быть культурность, если человек голоден?

— Нет, не говори... Культурный человек, если и голодный, ругаться не будет.

— Культурный, культурный! — насмешливо повторяет командир и снова переходит в наступление. — Как вы хотите, чтобы народ не ругался, ежели мы все темные? От нашей темноты идет всё!..

— А почему «темные»? — негодующе вмешивается новый оппонент. — Почему это мы «темные»?

— Потому, что нам правды никогда не говорили! — опрызается старший командир. — Что скажет политрук, тому и верь! Скажет на черное, что это белое, ты и верь, что белое...

— Ну и что ж с этого?

— А то, что нужно было не молчать, а правды всегда добиваться!

— Ты-то добивался? — раздался насмешливый вопрос.

— И добивался, — горячился командир. — Взять хоть бы школу! Бывало на политзанятиях как что не ясно, обязательно руку поднимал и вопрос задавал. И добивался правды.

— Смотри ты, какой комиссар выискался! — ехидно усмехался кто-то.

— Вот осенью прошлой он так бы поговорил! — замечает с насмешкой еще один. — Сейчас же его бы к коменданту! На прогулку, не комиссар-ли?

— Разве я что не так говорю? — путается командир. — Я за свои разговоры в Советском Союзе три года тюрьмы получил!

— Так тебе и надо! — слышится приговор. — Вот и довели своими разговорами, что пропадем все...

— Разгадались! — покрывает тул спорящих голосов начальнический окрик, и палка подкрававшегося «орднера» сразу устнавливает общее согласие.

25 августа 1942 г.

Сегодня едва держался на ногах за обедом.

Существование наше в лагере носит своеобразный «синкопный» характер: получая утренний кофе — уже томимся мечтой об обеде; не закончив обеда — толкуем об ужине (кусочек хлеба с маргарином); поужинав — сейчас же ложимся спать, чтобы незаметно прошло время до следующей баланды. И как мы едим! Медленно, смакуя каждый кусочек турнепса или картофеля! И, поднося первую ложку ко рту, уже прустим, что видно дно котелка...

Впрочем, многие съедают свою порцию сразу, не отходя от кухни, жадно глотая, не пользуясь даже ложкой; потом вылизывают остатки языком — и печально бредут в свой барак, чтобы дожидаться следующей кормежки.

Люди стали как тени. Смертность — невероятная... Если бы нам прибавили хоть пол-литра баланды... Только пол-литра! Спасены были бы тысячи жизней!

Сейчас наблюдаю такую картину: широко и некрасиво расставив ноги, по лагерю ездил на велосипеде щеголеватый молодец в матроске. Наш комендант Жорка! Впереди шел «орднер» из майоров, голосом и плеткой расчищавший дорогу для следующего. Испуганная человеческая масса шарахалась в обе стороны перед своим некоронованным повелителем.

«Скучно жить на этом свете, господа».

12 сентября 1942 г.

«Человек — это звучит горько!» — так хочется перефразировать афоризм Максима Горького, наблюдая будни нашего существования.

Наш пленный народ можно подразделить на касты, подобные древнеиндусским, — настолько они разнятся по причастности к земным благам, настолько чужды и даже враждебны друг другу.

Выше всех по положению стоит русский комендант лагеря, военный моряк Жорка. Он — хозяин нашей жизни и смерти. Даже вообразить трудно, на каких высотах благополучия и недостижимости он находится! К его услугам женщины, вино, отдельная комната, особое питание; я не знаю никого, кто удостоился бы чести лично беседовать с ним, господином комендантом! Для главной привилегированной касты «орднеров»-полицейских он — сюзерен.

Высшая каста — «орднера». Они отлично одеты, сытно питаются, бывают пьяны, в их руках тоже наша жизнь и смерть. В восточной части лагеря они устроили свою Лубянку, оттуда часто слышны стоны пытаемых. Чтобы заговорить с «орднером», нужно быть бесстрашным человеком.

Ступенькой ниже — повара и кухонные рабочие. Эти люди — каста просто сытых. Но при исполнении своих обязанностей они охотно в меру своих способностей пользуются правом физического воздействия. С полицейскими в добрососедских отношениях.

На предпоследнем месте стоит каста рабочих, санитаров, могилыщиков. Время от времени они получают лишнюю баланду, махорку, а потому выглядят сытее, держатся с сознанием превосходства. Снисходят до разговора с париями.

Последнее место в иерархии занимает вся остальная масса военнопленных. Они — парии. Они не имеют никаких прав — даже права спокойно умереть. По отноше-

нию к ним — точнее к нам — всё дозволено. И для обращения к ним, будь то полковник, инженер или доцент — нет других эпитетов, как: — «Эй, образованные! Ты, засмарканный, зас...ный» и так далее.

Достоевский! Твой «Мертвый дом» — институт благородных девиц по сравнению с лагерем советских военнопленных!..

До конца дней останутся в памяти судьбы и лица человеческих существ, ограбленных и растоптанных в своем «человеческом».

✱

...Переключка. Полицейские палками огоняют пленных в тесную кучу. Один замешкался — и на него сыплется град ударов, — «Аа-йй-йй!» жалобно кричит он и падает возле меня, держась рукой за заднее место. «Ай-йй-йй!» — тихонько стонет — и смотрит на меня заплаканными глазами.

Как был бы он уморительно смешон в другой обстановке! Он — кавказец, вероятно армянин, еще юноша, маленького роста и слабого телосложения... Но его нос, нос!.. Кажется, что всё его лицо состоит из карикатурно-промадного, как у маскарадных паяцев, носа и таких же промадных, грустных глаз. Он еще стонет, но заметив мой участливый взгляд, жалобно говорит: «Здесь у меня так болит» — он показывает на свои штаны.

Догадываюсь — юноша болен дизентерией, его штаны насквозь мокрые. Он так ослабел, что уже не может одерживаться.

И мне вдруг представляется: ... Заливаемый южным, горячим солнцем кавказский горюдок... По шумному базару, где толчется разноплеменный люд, где звенит нестройная восточная музыка и вкусно пахнет шапшлыком и чуреками, — заложив руки в карманы, заломив барашковую шапку на затылок, беспечно шатается юный уморительный Карапет. Он всюду заглядывает своим смешным любопытным носом — и в ларь с фруктами, и в сковородки с шипящими чуреками, он отвечает шутками на насмешки и шутки девушек. Жизнь прекрасна, девушки так красивы — и он, наверное, им нравится, если они задевают его и смеются.

...Но вот его позвали на войну... «Зачем война?» — смутно бродит в его голове вопрос, но он покорно едет, получает винтовку, учится отдавать честь, стрелять, колоть... Потом его везут дальше — и вдруг пром-пушек, взрывы, бегущие и падающие товарищи — и он, оглушенный, недоумевающий, в плену.

Здесь он умирает. Не просто умирает, а поддыхает, как поддыхают отслужившие

орок, загнанные животные... Нет, хуже, еще хуже! Тех, издыхающих, не быют, не пинают ногами, а его, умирающего, все еще быют!

На второй день я его опять увидел, как-то нелепо и беспомощно лежащего в проточной канавке. Как он туда попал? Может быть оттащили туда или загнали орднера, чтобы не мешал? Он узнал меня, но уже ничего не сказал — в промадных глазах были безучастие и безнадежность. Больше я его не видел. И не его ли труп вчера, как баранью тушу, тащили могильщики и, раскачав, со стуком швырнули на полот вагонетки?

✱

Гвардии капитан Чашин! У тебя хилая фигушка подростка, слабый голос, чахоточный румянец на впалых щеках. Ты едва прикрыт лохмотьями и босой... Да, босой, хотя наступили дождливые дни, холодные ночи. Не раз видел я, как переминался ты своими обнаженными ногами на сырой и холодной земле, как тёр их одну о другую, чтобы хоть немножко согреть!.. А на губах слабая стыдливая улыбка. Сколько раз собирался ты приобрести на лагерном «базаре» ботинки, давал клятвы, сэкономил хлебную пайку — напрасно! Пайка съедалась или прокуривалась, клятвы нарушались... так и ушел ты отсюда в другой лагерь босым, надрывно кашляя, с той же смущенной, просящей о снисхождении улыбкой...

✱

...Медленно продвигается за обедом колонна пленных. Недалеко от кухни большая зловонная яма; она и помойка для кухонных отходов, она и отхожее место: туда непрерывно бегают за естественной надобностью люди из колонны.

Но там, на её дне, с палочками в руках копошатся какие-то скелеты, обернутые тряпьем. Что они разбребают, что выкапывают? Их быют палками полицейские, быют и ругают товарищи-пленные: «Дураки сумасшедшие! Себя не жалеют. Сдохнете от поноса!» Скелеты не слушают, они равнодушны и к ругани и к побоям. Они страшное олицетворение тупого животного полода, заключившего тесный союз со Смертью...

Как-то блуждая по лагерю, я невольно остановился перед одной группой: меня, уже привыкшего к картинам голодного измождения и умирания, она всё-таки поразила. На кучке камней сидел скелет — казалось, у него не было даже кожи, так, полуобнаженный, он был худ! Другой такой же полуобнаженный скелет полуле-

жал рядом, положив череп на колени первому. Их можно было бы принять за символическую скульптурную группу, созданную расстроенным воображением художника, если бы сидящий скелет не шевелился... Медленно-медленно он перебирал пальцами волосы товарища. Он искал у него вшей.

Меня уже много раз поражало проявление прогательной ласки, тихого безмолвного участия одних страдальцев к другим. Словно понимают они, что у более сильных не найдут ни участия, ни поддержки. Сзади многотысячной колонны, выстроившейся для получения пищи, всегда строится большая колонна «доходяг». Они двигаются медленно, едва переставляя ноги, так и кажется, что вздохни ветер — и они повалятся. Но многие из этих несчастных держат в своих объятиях более слабых товарищей. Другей ли, родственников, земляков?.. Бог ведает!.. Осмелюсь сказать — просто близких, доверчиво прильнувших к их пруди, как к последней, может быть, предсмертной опоре...

А мы, остальные, еще не вставшие в холодное безразличное отчаяние? Мы еще пытаемся бороться: избегаем лишних движений, вымениваем у поваров и полицейских на пищу последние жалкие вещи, крадем друг у друга... И сколько наивных ухищрений, сколько виртуозности проявляем мы, чтобы получить хоть лишнюю капелючку баланды, поддержать уходящую жизнь.

Замечено, что с левой руки наливать суп труднее — и мы всеми силами избегаем попасть к тому раздатчику, который наливает левой рукой; замечено, что при выплескивании баланды из половника в овальные армейские котелки, часть её проливается — и мы нарасхват приобретаем, вымениваем, крадем круглые банки из-под консервов. А сколько откровенного горя, зависти, злобы выражаем мы, если у соседа немножко больше баланды, или на поверхности её плавает кусочек неочищенного картофеля!..

✱

«Такие — растакие!.. Ё...и» — слышатся со всех сторон хриплые крики палачей, одетых в форму НКВД. Свистят палки, дубины... Около столбов проволоченного заграждения стоят живые столбы — голые люди с вытянутыми вверх руками, наказанные... В толпе пленных крадутся славки, выискивая жертв. Мелькает среди нас еще одна фигура врача-спекулянта, с повязкой Красного Креста на рукаве, гладкого, сытого, бритого... В лагере он «экономит» пачки махорки, хлеб

и приходит к нам, чтобы выменять у изголодавшихся земляков часы, сапоги, хорошие брюки; торгуется, не хочет продешивить... Копьются в помойных ямах полутрупы, стучат о настил вагонеток иссохшие трупы отмучившихся... И бесцельно бродит от одной проволочной изгороди до другой туща пленных Советского Союза, обкрадываемых, избиваемых своими же соотечественниками, равнодушно покинутых своим правительством...

✱

Лазарет для военнопленных в Саксонии. Нас тридцать человек, в большинстве французы, поляки и сербы. Они в лучших условиях, чем мы: пружинные кровати, пакеты и медикаменты от Международного Красного Креста и других благотворительных организаций, посылки и письма с родины. Всё же я наслаждаюсь чистотой, покоем и отдыхом: беспокоит лишь предстоящая операция фурункулов, конечно, без наркоза, и делать её собирается наш санитарный унтер-офицер, большой любитель хирургии.

Он — колоритная фигура, этот унтер. Совсем еще молодой, но очень самоуверенный субъект, он целый день с начальническим видом ходит по лазаретным комнатам, покрикивает на больных, иногда закатывает звонкие пощечины (за грязь), но делает это как-то беззлобно, «для порядка»; в свободные минуты выходит с аккордеоном во двор, становится в классическую позу бродячего музыканта и, поглощая на окна, играет. Аплодисменты принимает, как должное, с достоинством. Страсть его к операционному ножу опасна — он не умеет оперировать; зато решительность его не имеет предела.

Кроме унтера-меломана, лазарет обслуживают в качестве санитаров два француза (оба священники) и два русских: Гриша и Петр Алексеевич. Все они очень заботливы и милы.

Больной Киреев, с которым я работаю на шахте, умирает. Он непрерывно бредит, стонет, тяжело и часто дышит: исхудал — до невероятности, кожа да кости. Немного за ним ухаживаю, но не могу побороть отвращения, когда поднимаю его, переворачиваю на другой бок, накрываю одеялами... Несчастный, он мочится и испражняется в постель, а постельное белье у него уже не меняют — всё перепачкано и пахнет мочой и нечистотами. Невольно возникает желание — поскорее бы он умер! К его счастью, он почти всё время в бреду и живет только жизнью своего воспаленного умирающего мозга.

И вчера ночью, когда я видел сладостный сон...

...Нарядная, веселая толпа. Шаркают тысячи ног, воздух напоен ночной музыкой и смутным говором: Восклидания, звонкий смех, щебетание женских голосов. Раскатами взлетают мотки серпантина, тирляндами обвивают люстры его ленты, сыплется дождь разноцветного конфетти. Я тоже здесь на этом балу или празднике и должен найти кого-то, конечно «её» — и ищу среди потока молодых, улыбающихся женских лиц...

...Просыпаюсь, как от толчка. Ночь. В палате полумрак, смутно белеют фигуры спящих больных. Но пробудившееся сознание с тревогой угадывает что-то беспокойное, незаконно вторгнувшееся в сонную тишину лазарета.

В косом столбе света, падающего через полуоткрытую дверь из освещенного коридора, вижу фигуру человека. Он медленно ползет на четвереньках, что-то бормочет, тыкается во все стороны, как слепой щенок.

Кто это?

Угадываю — Киреев. В бреду он упал с постели и теперь, снедаемый жаром, ползает по всей комнате.

— Сто сорок шестой... — странно гулким голосом бормочет он, подползая к постели больного Доценко, имевшего на шахте этот личный номер. — Пустите меня полежать... Слышишь?... Полежать пусти...

— Иди на свое место, Киреев! — начинают возгласы проснувшихся. — Лев Николаевич, проснитесь же!... Посмотрите, что делает Киреев!

Поднимаюсь, обнимаю за талию, веду на его постель. Как отвратительно это тощее, дрожащее слабое тело! Под своими руками отчетливо чувствую липкую, дряблую кожу, осязаю каждую косточку его скелета, слышу одурачивающий запах нечистот и чего-то трупного... Но я должен, должен...

— Куда ты меня ведешь?... Я хочу домой, — бормочет Киреев. — Там папенька и маменька... Вот только голова кружится, кружится...

Укладываю, накрываю одеялом. Зажигаю спичку и смотрю на его страшное, обглоданное смертельным недугом лицо. Кажется успокаивается, не делает попыток снова встать. Возвращаюсь на свою постель... На мне сейчас миллионы туберкулезных бацилл, в ладонях рук противная липкость его пота — но так не хочется идти вниз, в уборную, умываться!.. Всё равно придется снова вставать!

Не умываясь, ложусь на свою постель. Воображение опять наполняется неясны-

ми, точно издалека подплывающими звуками и образами недавнего сна. Где я был? Кого должен был встретить? Вот-вот вспомню, но видение убегает, убегает...

— А-а-а! — стонет Киреев. — А вот и старики приехали... Девонька... слышите? Надо пойти встретить! Эй, эй! Папаша, мамаша! Куда же вы? Не слышат... А это кто там в шинели стоит? Ты чего прячешься?

Да, в моем радостном, звучащем сне собрались какие-то воспоминания далекого, дореволюционного, счастливого прошлого. Тогда я не знал еще той страшной обнаженности жизни, обнаженности человеческого страдания и предсмертных мук среди жестокого равнодушия окружающих... Как хорошо, что хоть во сне душа может отдыхать, блуждая в стране воспоминаний...

— Русский!... Русский!... Тридцать шестой!... Лев Николаевич! — снова кричит Киреев. Какой у него промокший и пушистый голос, странно промокший для умирающего тщедушного тельца. — «Тридцать шестой»!.. Пойди помоги же мне!..

Он сидит на полу, скомканные одеяла валяются рядом.

— Что вы бродите, Киреев! — говорю ему. — Ложитесь в постель, лежите спокойно... Так поправитесь...

— Чего?.. Не слышу... А-а-а! Не могу найти свою постель, не могу... Старички приехали, косить будем... А-а-а!

Он дрожит, судорожно перебирает пальцами подол рубашки, глядит на меня воспаленными, страдальческими глазами. Обжигая спичками пальцы, поднимаю его, укладываю на загаженную постель.

Человек умирает. Такой же, как я!.. С такими же чувствами, надеждами, желаниями, с таким же сердцем, полными дорогих образов... Он тоже жертва войны...

Стонет, задыхается и возится на своей постели Киреев; неподвижны, как мумии, завернутые в белые одеяла тела больных на своих кроватях. Светает...

19 июня 1943 года.

Стонь, стонь, непрерывные стонь! За душу хватающие, полные муки, прерываемые иногда страшным кашлем или бредом. Как тяжело он умирает, как отчаянно борется в нем жизнь за свои уже не существующие права! И эти стонь, неумолкаемые ни днем, ни ночью, продолжают уже четвертые сутки! Под их аккомпанимент мы спим, едим, разговариваем. Под эти жуткие голоса предсмертного человеческого страдания играем в карты, убираем комнату, лежим на постелях в воспоминаниях и думах.

Вчера и сегодня у нас во дворе перебивали сотни французов, поляков, сербов. Их приводили конвоиры в наш лазарет на просвечивание. Веселые, не только чисто, но и щеголевато одетые, с сигаретками в зубах или лакомящиеся белыми галетами и шоколадом — какой разительный контраст с нашими они составляли! Разделившись по национальностям, они стояли живым, гудящим, колеблющимся строем, красивые, статные, сверкающие улыбками, белыми зубами... А между ними, подбирая брошенные окурки, обломки и отрывки галет, бродили съезжившиеся, робко озирающиеся фигуры с наголо остриженными головами, всем своим видом напоминая бездомных голодных собак, собирающих объедки на чужом дворе... Мы, советские пленные, дети великого Советского Союза и отца народов товарища Сталина.

Стонь, стонь. От них некуда спрятаться. Ни на дворе, ни на крыше, месте нашего кейфа — они всюду наступают. Хорошо уже то, что Киреев не имеет сил подниматься и нет необходимости ловить его, ползающего и укладывать в постель, преодолевая безразличность и страх.

Погода серенькая и прохладная — какой в Германии неустойчивый и капризный климат! И новостей, подающих надежду на близкое окончание войны, нет. «На Шипке всё спокойно».

Стонь... стонь... Теперь что-то мычит, но понять нельзя, видимо отнялся язык. Влизился копец. Я попробовал его напоить — и махнул рукой: уже вчера он лишь с трудом проглотил две ложки супа, которые я влил ему в рот.

Зовут обедать... Если бы он хоть немножко помолчал!

Пообедали... Сегодня у меня день пресыщения — целых три тарелки перлового супа! Это — знак внимания моих здешних друзей — Гриши и Петра Алексеевича. Я ел, ел до тошноты, сделал перерыв — и сейчас снова буду есть. Что делать — ведь я постоянно, вот уже почти два года, голоден!

Какие ужасные стонь... Почти крики... Возле него с ночи неотлучно дежурят санитары, а сейчас присутствует сам унтер. Он серьезен и внушительно говорит мне, что такое тяжелое умирание видит в первый раз.

Стонь стихли. Теперь Киреев мычит и хрипит. Вероятно началась агония. Подхожу к нему, — глаза ужасны... В них невыразимое страдание и — мольба. Они приковывают к себе, не позволяют оторваться... Их не забыть.

Мычит, икает. Да, агония...

В комнате тишина. Больные неподвижно, с открытыми ожидающими глазами, лежат на своих местах... Словно прислушиваются к неслышной, крадущейся походке неизбежной для всех гостей — Смерти.

Входит аббат... Шопотом говорит мне, что еще вчера хотел совершить таинство миропомазания, но не знает, верующий ли Киреев. Сейчас он хочет напутствовать умирающего молитвой.

Опять подходим к постели страдальца. Он кажется в сознании — но эти ужасные глаза! Чем помочь, чем облегчить последние его муки?

Закашлялся... опять икает и что-то мычит. Просит ли о чём, наказывает, прощается ли? Ничего, ничего нельзя понять!...

Аббат читает молитву. Унтер берет руку. «Пульса нет», шопотом говорит он. «Сейчас будет конец». Он выпускает руку, она бесильно падает.

Захлебывается... Икает... Судороги... Я не могу сморгнуть, отворачиваю голову. Скорее бы, скорее!

Стих... Умер... Взглядываю — нет, жив еще. Опять мучительный стон, другой. Неожиданно умирающий поднимается на постели, обводит всех своим ужасным взглядом и — протягивает руки...

Тут происходит нечто странное: унтер хватается руки и с силой начинает их сгибать и прижимать к животу вновь упавшего навзничь Киреева. С губ его срывается крик.

— Что он делает? — хватаю я за руку аббата. — Зачем?

— Искуственное дыхание, — шепчет аббат. — Хочет облегчить агонию.

Еще крик, два-три хрипящих вдоха — и умирающий смолкает. Унтер еще раз слушает пульс, прикладывает стетоскоп к груди, снимает фуражку и многозначительно кивает головой. Монотонный, важный голос читает по-латыни отходную... Конец.

Для чего-то засекали время кончины несчастного. В 4 часа 25 минут пополудни 19 июня 1943 года перестал существовать пленный красноармеец Николай Киреев.

С телом пришли попрощаться наши соседи-иностранцы: они постояли несколько минут в благоговейном молчании возле покойного и тихо, на цыпочках ушли. Сейчас же труп стали подготавливать к погребению.

Его завернули, вернее запаковали в большой, плотный лист черной бумаги (что по советским понятиям лишнее). Этот сверток, привязанный к доске, бы похож на мумию или труп матроса, приготовленный для спуска в морскую пучину. Один

из санитаров выкачал из сарая телегу — погребальную колесницу для пленных. Я поддерживал труп при переноске на телегу и через бумагу чувствовал теплоту еще не остывшего тела.

Везли мы телегу на руках, как подобает пленным. Сами рыли могилу на чистеньком немецком кладбище; нагнувшись на снявший пробик ребенка и выбросили наверх несколько косточек и кусочек черепа. Подошли какие-то сердобольные старушки и боязливо взглядывающие дети: одна из старушек нарвала букетик цветов и передала мне. Потом мы спустили тело в могилу на веревках и сделали это неловко: труп перевернулся и лег спиной вверх: сквозь прорвавшуюся бумагу зажалтел обнажившийся зад покойного; Пришла соскочил в могилу и поправил положение трупа. Засыпав могилу, притоптали её ногами и поставили на ней камень с заготовленным заранее очередным номером. Я воткнул цветы в насыпь, перекрестил могилу — и мы ушли.

«... Без попов, без церковного пения и ладана

без всего, чем могила крепка...»

Похоронен он под № 525 в городке Гештетт, кладбище Мольмен, Саксония.

18 ноября 1943 года

Маленькая деревушка в Рудных горах. К её окраине прилепился заводик «Латерман с сыном», кругом — горы. В одном из подвалов завода оборудованы нары, поставлена печка, крохотный дворик обнесен колючей проволокой, у прохода — часовая. Это наше жилище — жилище пятнадцати пленных командиров Красной армии.

Работа на заводе не трудная, особых строгостей в режиме нет, — но над нами снова зловещей тенью навис призрак голода.

Наш суточный паек — 250 грамм хлеба и два половника (в обед и вечером) постного буракового супа! Картофеля и в помине нет. Даже наш комендантский ефрейтор в смущении от такого снабжения: его переговоры с владельцем завода не привели ни к чему.

Мы подавлены... Нервничаем, негодуем, ругаемся — но кто нас слышит? И в глазах у всех снова голодная тоска...

15 декабря 1943 года

Наконец-то питание несколько улучшилось! Мы стали получать и мясо, и маргарин, и картофель — но в таких ничтожных количествах, что после первого взрыва радости все снова принизили. Пицца только улучшилась, — но в количестве не на много прибавилась. И мои товарищи готовят о необходимости объявить смертель-

ную голодовку, чтобы привлечь внимание и немецкого начальства, и владельца фабрики к нашим страданиям.

✱

Кто это сказал: «страдание облагораживает»?.. Какой вздор, какая чепуха. Я видел уже множество страдающих людей — не от тоски и усталости жить, не от неудачной любви или сердечного горя, — а от голода, — слышите вы, товарищи и господа! — Всё, что воровато прячется в тайниках души, всё мерзкое и зверское, что может представить воображение, — прёт, как опара, из человека. Когда у него нет еды, когда его посадили за проволоку с другими такими же голодными людьми.

Мы голодаем. Крадем друг у друга, у немцев... Полны злобой и ненавистью ко всем и всему и, может быть, больше всего друг к другу... Забыты уважение к возрасту, званию: ссорятся, вступают в драку полковники с лейтенантами, пятидесятилетние с юношами. Мы начинаем день в тяжелом молчании, пока не подвернется предлог кого-нибудь обругать, оскорбить, в тяжелом молчании сходимся у стола с жалким обедом — и редкий день проходит без ссор и взаимных оскорблений; в тяжелом молчании собираемся в нашу казарму после работы, и существует только одна тема разговора, не вызывающая злобных разногласий, — тема пищи. Мы теряем образ человеческий.

Я, может быть, поганее других. В глубоком и легкомысленном тщеславии я воображал, что окажусь сильнее прочих духом, что воспитание, старая культура удержат меня от падения... Ерунда! Я превратился в мрачного мизантропа, в злобного завистника, в трусливого и вороватого шакала. Дальше идти, кажется, некуда.

Вчера я украл у хозяйки хлеб... Краду у кроликов, к которым приставлен, картошку... краду у коров — ибо я скотник, — какой-то комбикорм и жру его... По воскресеньям повар готовит несколько улучшенный обед — я выловил у него добавочную тарелку супа и, крадучись, ухажу на конюшню, чтобы там наедине её съесть... Ни мыслей, ни желаний, ни тоски по родине и близким у меня нет... Думая, возделую, мечтаю об одном: поесть.

Страдание облагораживает?... Чушь, сплошная чушь... Выдумка старомодных идеалистов — сытых и свободных.

16 ноября 1944 года

Военная тюрьма, одиночная камера. Сквозь маленькое окошко в потолке пробивается свет тусклого дня. Сажу здесь за попытку побега.

Режим в тюрьме нестрогий, никакого сравнения с советскими местами заключения: кормят сносно, камеры трижды в день открываются на полчаса для совершения туалета и приема пищи; в эти «перерывы» можно встречаться с другими заключенными. Население тюрьмы состоит преимущественно из французов, отбывающих разные сроки за побег а чаще за флирт с немками; как всегда, они веселы и жизнерадостны — слышу смех, возню и пение и насмешливые из их камер. Есть несколько русских, они наведались ко мне; заходили и французы — с одним из них, красивым, изящным и начитанным м-е Полем уже успел побеседовать о французской литературе.

Моя камера очень мала — девять кв. метров. Её обстановка — топчан с двумя рваными одеялами и пустая консервная банка в качестве писсуара. Вот и всё.

Побег был заранее обречен на неудачу, мог кончиться трагически — и всё-таки я на него решился. Побудило меня к нему довольно своеобразное соображение: хотелось доказать недоброжелателям из соплеменников, убедить их, что я не «враг народа» и не «изменник», каковой аттестат был мне присвоен за время плена.

Как глупо всё это началось! В январе меня, как подозрительного по национальности (был донос немцам, что я еврей), перевели на работы в шахты. Появление в казарме шахтеров-пленных ознаменовалось маленьким событием, которое, однако, наложило печать на всё дальнейшее мое пленное существование.

Меня сразу осадилась с расспросами толпа абригенов: были среди них и постовые немцы. Отвечая окружающим, я вдруг почувствовал удар по плечу и услышал вопрос по-немецки:

— Ты ведь царский офицер? Скажи по правде — пошел бы ты против Сталина?

Кругом стало тихо, на меня с любопытством смотрели десятки глаз. Как-то невольно вырвалась фраза:

— Против Сталина пошел бы, против русского народа — нет.

Немцы захохотали, несколько наших улыбнулись... Но я заметил два-три странных взгляда и сразу понял: эта фраза мне не забудется.

Почему я так ответил? Может быть, запутанный «жидовством», я трусливо перестраховывал себя перед немцами?

К стыду моему, так. Но было и нечто новое...

Я не мог сказать: «Не пойду, он любимый вождь, отец и так далее»... По совести не мог, — так как убедился, что режим,

вдохновляемый и возмущаемый им, является великим злом, великим народным бедствием. Два года общения с тысячами земляков, души которых в тяжком плену вывернулись наизнанку, кое-чему меня научили.

Эта фраза мне не забылась... В какую бы команду немцы меня ни направляли потом — всюду находил я такую партийную ячейку, уже располагавшую соответствующей обо мне информацией; скоро я узнал, что состою в проскрипционном списке тех, кто на родине будет держать страшный ответ.

Паника охватила меня... Что сделать, чтобы рассеять предубеждения партийных соотечественников? Ведь хочу, должен увидеть родные места, родных людей, перед которыми так виноват... Для чего два года страдания в плену? Чтобы получить пулю советского палача или окончить жизнь за проволокой советского концлагеря?

Вдруг явилась мысль бежать. Даже если побег не удастся — сниму с себя клеймо «врага народа».

Попытался — и вот в немецкой тюрьме... Вчера Поль попросил меня зайти в обещенное время в его комнату для небольшого собеседования. К моему удивлению я застал несколько французов, собравшихся, очевидно, для участия в этой беседе. Поль обратился ко мне со следующими словами:

— Мы пригласили вас, чтобы услышать немножко о Советском Союзе. Нас эта тема очень интересует. Правда ли, что у вас на родине все пользуются и свободой и материальным благосостоянием, что нет капиталистической эксплуатации?

Я был захвачен врасплох. Пять пар глаз смотрели на меня с ожиданием и любопытством. Что ответить им? Медленно, путая французские слова с немецкими и помогая мимикой и жестами, я принялся объяснять:

— Да, эксплуатации человека человеком в свою пользу у нас почти нет, но существует эксплуатация в пользу государства, принявшая довольно тяжелые формы. Материального достатка тоже нет, население в массе живёт бедно, за исключением отдельных людей и групп, пользующихся особым покровительством партии и правительства. Что касается гражданских свобод в вашем европейском понимании — их тоже нет, как жизнь, так и мнения подданных СССР регламентируются свыше.

— Простите, — омушленно перебил меня Поль. — Может быть мы не совсем вас поняли... Мы читали, слышали от некоторых ваших товарищей, что у вас настоящий рай...

Я пожал плечами: — Вероятно, вы говорили с людьми, принадлежащими к привилегированным группам... Или с молодыми людьми, которым с детства прививают мысль, что лучше и свободнее советской жизни в мире нет. Может быть ваши собеседники боялись свидетелей, своих товарищей... Ведь страх перед доносом и репрессиями играет в нашей жизни очень большую роль. Что касается меня — я стараюсь быть объективным, излагая свое мнение.

— Странно, странно, — недоумевающе возразил Поль; его, как и остальных французов, очевидно, поразили мой ответ. — Мы думали совершенно другое... Позвольте задать еще несколько вопросов...

Я вышел, оставив французов в какой-то растерянности. По удивленному их вниманию, широко раскрытым глазам можно было видеть, что моя информация явилась для них полной неожиданностью. Поверили они мне? Может быть и нет — слишком разительным был контраст между предполагаемым и услышанным.

Сейчас сижу в своей камере и мучительно думаю — имел ли я право говорить иностранцам то, что сказал о своей родине? Не клеветал ли я?

Нет, не клеветал. Наоборот, я был сдержан. И сотой доли не сказал я того, что составляет зло и неправду советской действительности. Удержали меня и опасение потерять объективность и страх, подлинный страх, что кто-то узнает о моих высказываниях и донесет.

Я разрушил у этих симпатичных людей иллюзию о сказочной стране социальной справедливости и общего благосостояния... Мог ли я поступать иначе, если хочу жить и действовать по совести?

Снова пулливой плитцей пробегает в голове мысль, что мне домой нельзя возвращаться.

25 ноября 1944 г.

Долго мне будет памятна минувшая ночь. Вчера после обеда командант тюрьмы перевел меня в соседнюю камеру «только на одну ночь» — коротко пояснил он. Несколько недоумеваю, я подчинился. В новой «квартире» я уже застал постояльца, молодого честенького польского солдата, только что приведенного из комендатуры. Юзеф — так зовут поляка — был очень подавлен — почему он в тюрьме, если ничего плохого не сделал? Он ждал перевода в другую команду и вдруг — тюрьма!...

— Успокойтесь, Юзеф, — ободрял я его. — Вы здесь, повидимому, на этапной об-

становке и, переночевав, поедете дальше.

Перед ужином по коридору затопали тяжелые шаги нескольких человек, проходивших мимо нашей камеры. С любопытством я припал к волчку: люди остановились возле моей прежней камеры и открывали её. Мелькнули стальные солдатские шлемы и чье-то порбоносое, молодое лицо под сербским военным колпаком, с опущенными глазами. Запремен замок, раздались несколько отрывистых слов, снова топот ног, на этот раз удаляющийся, и опять всё стихло.

— Должно быть важный преступник по соседству, — сказал я Юзефу. — Большой конвой!...

— Может быть... — рассеянно ответил Юзеф. Он развязал свой рюкзак и перебирал чистенькие вещи. — Какой же я преступник? Ох, уж эти швабы!... Что они придумали со мной сделать?

Наступило время выдачи ужина, но камер почему-то не открывали. Наконец, в коридоре послышалось движение, залязгали замки, но странно медленно... Открылась и наша дверь — в нее вошел заключенный француз с большой миской в руках: сопровождавший его смотритель тюрьмы остался снаружи.

— Получайте ужин, — сказал француз. — Сегодня из камер выпускать не будут...

— В чем дело? — спросил я, стараясь не смотреть на вкусные вещи, выложенные Юзефом из рюкзака. — Новые правила?

Француз нагнулся к моему уху:

— Рядом с вами смертник, — таинственно шепнул он, — на расвете его повесят... Потому и строгости.

— Повесят? — невольно переспросил я. — За что?

— Изнасиловал немецкую девушку и, кажется, задушил её. Его только что приговорили. Несчастный, он только в одном белье и шинели.

Француз участливо почмокал губами и вышел.

— Кушайте, пане Леон, — предложил мне свои закуски поляк, — что он вам сказал?

Я повторил услышанное.

— Там — смертник? — широко раскрыл глаза Юзеф, показывая на стену. — Езус, Мария!

Он прекратил есть и задумался: сообщение француз, видимо, сильно его поразило, потом слил остатки кофе в «парашу» и стал укладывать рюкзак.

— Почему вы не едите? — спросил я. — Нет аппетита?

— Когда рядом человек, которого должны повесить, я не могу есть, — мрачно ответил поляк.

Непривычная тишина царил в коридоре; не слышно было ни пения, ни смеха, ни разговоров экспансивных французов — они уважали последние часы обреченного на казнь; из его камеры тоже не доносилось ни звука. Мы с Юзефом сидели рядом на топчане, погруженные в свои думы. В камере было холодно, электрическая лампочка горела тусклым печальным светом... Крылья смерти нависли над военной тюрьмой.

Глухо отбили свои удары башенные часы на колокольне близкой церкви. Восемь. Сейчас выключат свет.

— Пане Юзеф, — заговорил я, поднимаясь. — Давайте укладываться спать. Скоро погаснет свет, ничего не будет видно...

Мы постелили на топчане наши тюремные одеяла, накрыли их сверху собственным теплым одеялом поляка, в голову вместо подушки положили наши мешки. Накроемся шинелями — так будет тепло. Разделись, легли; по просьбе Юзефа я лег у стены.

Вдруг стало резко темно — лампочка погасла. Печальная до сих пор тишина стала зловещей, сторожкой. Юзеф не шевелился.

«Да, рядом смертник, — думал я, ощущая живое тепло прижавшегося ко мне человека. — Последнюю ночь вспоминает, дышит, чувствует холод и жесткость топчана... Ведь у него только одна шинель! Страшно умереть молодым, здоровым, полным сил...»

Юзеф пошевелился; теплое дыханье его рта коснулось моей щеки.

— Пане Леон, — зашептал он. — Почему он молчит? Не кричит, не плачет? Я бы не мог так. Я бы стучал в дверь, в стены, звал, просил бы о милости... Может быть, сжалились, простили бы...

— Бесполезно, Юзеф. Он совершил преступление и ничто не может его спасти.

— Какое преступление? Изнасиловал? Не верю! Нельзя изнасиловать женщину, если она сопротивляется.

— Он её задушил.

— Задушил, задушил... Может быть и не задушил, а только стиснул рот, чтобы не кричала...

— Пусть даже так, Юзеф... но он знал, что нельзя славянину касаться немецкой женщины, за это смерть...

— Так, за это смерть. С которой стороны его кровать?

— Здесь, за стенкой...

— За стенкой! — как эхо повторил поляк и замолк.

Под двумя шинелями стало тепло. Я закрыл глаза и попытался заснуть. Сон не

шёл, — впрочем ночь еще не наступила.

«Пожалуй, Юзеф прав, — копошились мысли о том, кто на рассвете умрет. — Серб работал в хозяйстве бауэра, там же была смазливая девушка. Она поддразнивала, а когда довела человека до кипения, — испугалась, стала кричать. Он зажал ей рот... Сбежались люди — и серб был пойман с поличным...»

— Пане Леон, — опять услышал я шепот. — Как вы думаете, он лежит? Или сидит, или стоит в углу, молчит, смотрит в дверь и прислушивается — не идут ли за ним?

— Не знаю, Юзеф, перестаньте об этом думать и попробуйте уснуть.

— Не могу, пане, заснуть! Стоит он у меня в мыслях, как будто бы мой брат. Ведь подумайте — молодой, здоровый, жить хочется, а ему уже сейчас ночью могилу коют! Наденут петлю, выбьют табуретку из-под ног. Петля душит, глаза из лба вылезают, жилы надулись, тело дергается, пляшет... Его спасти нужно — а люди кругом стоят, ждут, пока он кончится! Разве можно так мучить человека?

— Закон, пане Юзеф. Закон всегда жестоко карает, чтобы другие боялись...

— Плохой закон, пане Леон... Посадили бы его в тюрьму на двадцать лет, еще польза бы принес...

— Спите, Юзеф, нам не решить этого вопроса...

Юзеф замолчал. С выпростанной из-под шинели головой я смотрел незрячими глазами в черную густоту мрака. Он казался непролимаемой, плотной, облепившей тело массой, он пугал беспредельностью, бесконечностью, неподвижностью...

Вот так в могиле, — подумал я. — Мрак и безмолвье, холод и неподвижность... Серб знает, что через несколько дней это будет с ним...

Вдруг я почувствовал, что Юзеф протягивает надо мной руку.

— Что вы хотите, Юзеф? — с некоторой тревогой спросил я.

— Так, ничего... — прошептал он, убирая руку. — Только полметра. А до вас четверть метра... И он молчит... Слышит он нас?

— Едва ли, Юзеф... мы говорим тихо...

— Ничего не видит, ничего не слышит, как в могиле... Может быть у него семья, дети, ждут его? Утром мы будем говорить, смеяться, пить кофе — а он уже никогда не будет! Езус-Мария!

Поляк передернулся и стих. Едва слышно башенные часы пробили два удара. Тотчас

же в глубине коридора послышался неясный шум.

— За ним! — прошептал Юзеф и поднялся на топчане. Я чувствовал, что он дрожит, волнение его передалось и мне.

— Нет, Юзеф, — овладевая собой, ответил я, — это сменится часовой. Спите... Поляк послушно лег. Шум стих, снова разлилась прислушивающаяся тишина: сплошной мрак давил, путал, парализовал...

— Скорее бы прошла эта ночь! — почти со страданием думал я, натягивая шинель на голову. — И этот нервный поляк рядом! Почему, в самом деле, он молчит? Стоит в углу камеры или сидит, прижавшись к стенке, вот к этой самой стенке, которой касаюсь и я, — неподвижный, налившийся ужасом, и считает последние минуты? Может быть трясется мелкой дрожью. Ведь не может же он спать!.. Или утонул в последних воспоминаниях, прощается со всем, что было дорого?

...Презятя тебе темные горы родины, горячее солнце, золотые поля... А вот и родной белый домик, отец с трубочкой в зубах, старушка-мать... Заплачет она горько, когда не увидит тебя среди вернувшихся... Если б не узнала, какой страшной смертью кончил ты дни свои! А вот и черноглазая девушка, — не та, которую ты убил и которая тебя убила, — а другая, близкая. Она тоже ждет тебя — ведь писал же ты домой, что в плену, что работаешь у бауэра и войне скоро конец?..

Зачем ты поднимаешься со своего предсмертного ложа, смотришь на меня скорбными, безумными глазами? Позволь, я поддержу тебя!.. Молиться хочешь? Да, да, молиться надо, молиться, чтобы простил Он преступление и послал силы вывести последнего мучка... Господи, прости и пошли Твое утешение... Пошли... Пришли...

— Пришли! — явственно услышал я голос — и сразу очнулся. В камере стало светлее, чуть белело окошечко в потолок. Рассвет. Юзеф сидел на топчане и тербил меня за плечо.

— Пришли за ним — шептал он — слышите?

В коридоре был глухой шум: осторожный топот ног, приглушенные голоса... Лязгнул замок, топот усилился, звякнуло состыкнувшееся оружие... Сквозь волчок сверкнул луч карманного фонаря... Топот стал удаляться. Громыкнула выходная дверь. Стало тихо.

Стекло в потолке побелело еще заметнее... А вот окрасилось в розовый цвет,

засверкали налипшие на нём снежинки из мороза. Выходило солнце.

Увели... Но он еще раз увидит солнце! — вслух подумал я и снова улечусь. Поляка была лихорадка.

«Его уже привели... Солнце искрится на иinee, розовит окна и крыши далеких домов города. Черной дырой зияет только что отрытая могила — она ждёт. Холод пронизывает почти голое тело — через пять минут оно станет бесчувственным, мертвым... Подводят под виселицу, петля уже висит, тоже ждёт. Здесь должно произойти последнее сопротивление насилью смерти: крик, бессвязное мычание онемевшим от ужаса языком, попытка вырваться, убежать от страшной петли. Но другие люди — братья-люди — торопливо и нервно скручивают, вяжут руки, волокут, набрасывают петлю, надевают мешок...

Неожиданно вспомнились строфы из «Баллады о Реддингской тюрьме» Оскара Уайльда...

«Возлюбленных все убивают,

Кто смел — с клинком в руках,

Кто попл — с улыбочкой во взоре...»

Подпл или зол?... Не помню... Многое в плену забыл...

Возлюбленных все убивают. Все убивают... Убивают...

Когда я снова проснулся, был уже день. В коридоре слышались веселые голоса, кто-то напевал французскую песенку. Наша камера была открыта, но Юзефа в ней не было — вероятно, ушел умываться или за кофе. У печки снаружи на корточках сидел заключенный Сережа, он же истопник, белобрысый парень с изрытым остой лицом, и старательно раздувал огонь. Подошли и другие русские.

— Повесили серба? — спросил я их.

— Повесили... Вот он там был, — показали они на Сережу. — Рыл могилу и труп закапывал.

— Вы были там? — обратился я к Сереже, — и всю казнь видели?

— Был... — неохотно ответил он. — Только не смотрел... Нешто весело смотреть, как человека вешают? В могилу его положили в мешке. Мы и закопали.

— А любопытно знать, — усмехнулся один, в залихватски сдвинутой набекрень пиитке, — попользовался ли он немкой? Всё-таки не так обидно умирать...

Ему ничего не ответили.

✱

Я убежденный противник смертной казни, — но волею судеб мне пришлось несколько раз присутствовать при вынесении

смертных приговоров. Я видел важных, исполненных достоинства судей, нервничающую публику, исполнительных конвойных и тюремщиков. Видел также сумасшедшие, мученические глаза осужденных. И всегда в душе рождались страх и сомнение: кто же, в конце концов, сумасшедший? Жертвы или люди, деловито, с сознанием долга приговаривающие подобно себе к уничтожению?

Я не только видел мученические глаза — я слышал мученические крики...

В моем городе состоялся однажды показательный процесс так называемых «вредителей». Главного обвиняемого я хорошо знал (назову его Степановым). Он был старый член партии, занимал большое служебное положение. Хорошо образованный, красноречивый, самостоятельный в суждениях (не это ли его погубило?) — он заметно выделялся из общей массы руководящих работников. Обвинение было шито белыми нитками, Степанов прекрасно защищался, но судьба его была заранее предрешена...

Когда в мертвой тишине переполненного зала прозвучал смертный приговор, произошло нечто непредвиденное начальством: безмолвие зала разорвал мученический крик полнокровного сильного человека:

— Сталин! За что ты меня убиваешь?

Кричал Степанов. Вдох ужаса пронёсся в публике. Но конвойные, подталкивая, уже выводили осужденного. Он шел, закрыв лицо руками, повторяя:

— Сталин! За что ты меня убиваешь?

И я помню, что люди, — обыкновенные люди, составлявшие публику, — выходили из зала с лицами, на которых ясно читалось: Недоумение. Страдание. Страх. Омерзение.

Сложу в камере одетый, с мешком через плечо, и жду конвоира. Он отвезет меня в новую рабочую команду. Пленный путь продолжится, — но конец войны не принесет мне настоящего, желанного освобождения.

Я решил не возвращаться на родину. Не виноват перед ней, и миллионы соотечественников не обвинят меня за эмиграцию! Но вернуться, чтобы снова стать бесполезным рабом или подвергнуться попыткам смерти за то, что во вражеском плену я посмел высказать свои свободные мысли, — я не в силах. Проще кончить самоубийством.

Моя земля, мои любимые люди! Не увижу вас больше, непроходимая черта ляжет между нами. Но может быть не навсегда. Ведь не упал я еще... Не упал...

Казненные молчанием

(О судьбе некоторых русских поэтов)

Труден подвиг русского поэта,
И судьба единая ведет
Пушкина — под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.

— так говорится в известном стихотворении *) Максимилиана Волошина, посвященном памяти только что погибших тогда Блока и Гумилева.

Действительно, над русскими поэтами издавна тяготел какой-то злой рок, какое-то проклятие, и подвиг их поистине труден... Поединок, петля, неизлечимый недуг, душевная травма, пуля в висок (своя) или в затылок (чужая) — все это собралось среди них обильную и раннюю жатву. Не будет преувеличением сказать, что свыше половины русских поэтов, достойных этого имени, погибло в молодые или далеко еще не старые годы, в расцвете или даже только на заре своего таланта, не дав еще всего, что они могли дать. Вспомним: Пушкин умер 37 лет, Лермонтов — 27, Рылеев — 31 года, Дельвиг — 33 лет, Боратынский — 44, Одоевский — 37, Языков — 43, Веневитинов — 22, Кольцов — 34, Аполл. Григорьев — 42, Мей — 40, Никитин — 37, Мирра Лохвицкая — 34, Блок — 41, Гумилев — 35, Есенин — 30, Маяковский — 36, Багрицкий — 39, Марина Цветаева — 48, Хлебников — 37, Штейгер — 37, Поплавский — 32, Гронский — 25. Список не полон... Горький список, не правда ли? Длиннее, чем в какой-либо иной стране. Или в какой-либо другой области искусства в России.

Особенно много жертв среди русских поэтов было в советские годы нашей родины. Гибель Гумилева, Блока, Есенина, Клюева, Мандельштама, Маяковского, Цветаевой — и скольких еще! — в том или ином варианте на совести советского строя.

Но этими именами список жертв этого строя не исчерпывается. Были еще и многие другие, не столь явные, но не менее

*) Имею в виду первую его редакцию, впоследствии несколько измененную.

горькие. Не всегда там, где нет крови, трупа, могилы — отсутствует казнь. Советские палачи литературы нашли уже давно другой, бескровный способ казни: казнь молчанием. Она не завершается «непоправимой гибелью последней», о которой писал Гумилев, но, в сущности, легче ли она другой, «настоящей» казни? Для многих длится она уже десятилетия, и невольно думается: не была ли иная быстрая гибель милостивее того нескончаемого застенка, в котором томились и томятся многие поэты на советской земле?

Кто это такие: казненные молчанием? Это те, кто в советских условиях вынуждены творчески, полностью или частично (но в самом своем заветном!) замолчать, убить или обуздать в себе поэта. Число таких казненных молчанием велико, гораздо больше, чем мы себе представляем. К ним в свое время принадлежали и принадлежат теперь не только такие значительные поэты с именами, как Максимилиан Волошин, Клюев, Сологуб, Пастернак, Ахматова, Павел Васильев, но и многие менее известные, талант которых, однако, судя по тому, что они успели сказать, был достаточно ярок для того, чтобы в других условиях по-настоящему проявиться, оформиться и даже расцвести.

Кое о ком из числа казненных молчанием хочу я здесь вспомнить. О них и о некоторых деталях этой казни. Перенесемся для этого назад, к дням, когда определились первые жертвы этого бескровного, но оттого не менее отвратительного преступления.

✱

Годы зэпа... Словно распахнулось окно! Кто предугадывал тогда, что оно будет опять не только прикрыто, но и замуровано? Пока, что все жадно вдыхали воздух всяческих (пусть и весьма относительных...) свобод, телесных и духовных.

Не только хрустящие французские (так

они когда-то назывались) булочки в покрытых белоснежными салфетками бельевых корзинах появились на городских перекрестках. Впервые после нескольких лет молчания зазвучало, хотя и притушенное, но все же в некоторых отношениях свободное русское печатное слово, появились опять книги любимых писателей.

Да, медовые месяцы нэпа были сказочно свободным временем для русской литературы по сравнению с последующими годами доведенного до совершенства принуждения и террора. Трудно представить себе, например, что сборник стихов М. Волошина «Демоны глухонемые» был издан на советской территории и открыто продавался в государственных книжных магазинах. А ведь в книге, среди других, были такие строки:

С Россией кончено... На последних
Ее мы прогадели, проболтали,
Пролузали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик и свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падал.

Конечно, это была не сознательная поблажка, а простая оплошность неопытной еще советской литературной полиции. Книга была с иллюстрациями автора, и на одной из них, к тому же еще и первой, был изображен Петр Великий с лицом «неистового Хирурга». Демоны глухонемые и прозванный лик Петра — ясно, что речь идет о «проклятом царизме»! Дальше первых страниц недостаточно еще зоркие советские цензоры, повидавшимому, не заметили. Все же в одно прекрасное утро они спохватились, и книга мгновенно исчезла. С тех пор книг М. Волошина больше не появлялось. Отдельные стихи и отрывки из поэмы промелькнули как-то еще в толстых журналах, а затем последовало полное молчание. Волошин один из первых испытал на себе новую разновидность бескровной советской казни.

Но все-таки вольготные были еще времена! Книжки казненного Гумилева свободно продавались, стихи его читались с эстрады. Вскоре после его расстрела в нескольких городах страны местные поэты, в виде осторожного протеста, устроили художественные вечера, посвященные творчеству Гумилева и утасшего почти одновременно с ним Блока. Коротко, без всяких объяснений, конечно, делалось сообщение об их смерти. Все вставали. Затем читались стихи. Тогда это было еще возможно. Вероятно, тоже по несовершенству соответствующего аппарата.

щего аппарата.

В первые же месяцы нэпа заработали частные издательства, появлялись частные книжные лавки. В них преобладала почему-то поэзия. Никогда еще не появлялось сразу так много стихов! На прилавках лежали изящные миниатюрные томики: „Апо Domini“ Ахматовой, «Огненный столп» Гумилева, сборники стихов Блока, Андрея Белого, Мандельштама, Ходасевича, Кузмина, Всев. Рождественского, Анны Радловой, тетради «Записок мечтателей» в характерной обложке и многое другое. Изголодавшийся читатель буквально набрасывался на все эти давно не выданные литературные лакомства.

Все ждали свободной прессы. Петербургская «Летопись Дома литераторов», единственный в то время независимый орган печати, требовал вслед за нэпом (через «э» обратное) еще и «непа» (через «е» простое), т. е. независимой печати. Но каламбур был слишком смел, и наивно размечтавшуюся «Летопись» прикрыли.

✱

Вообще власти вскоре спохватились, что и куцые свободы становятся опасными, а потому начали постепенно «подкручивать гайку». Булочки еще можно было купить, но с литературой день ото дня становилось туже. Сперва исчезли свободно продававшиеся одно время заграничные издания, затем стали закрываться отечественные частные издательства. Начался организованный поход на неудобных писателей из числа «бывших». Делалось это для начала исподволь, не слишком откровенно, преимущественно через так называемую «общественность». Очень пригодились для этой цели кадры недавно созданных Пролеткультов — зеленая, «призванная в литературу» молодежь, которая принесла с собой лишь в редких случаях талант и способности, главным же образом — тщеславные аппетиты и презрение к прежним авторитетам, все это — густо поперченное самоуверенностью, а то и просто наглостью. Особенно проявляли себя эти молодцы на пользовавшихся в то время успехом вечерах авторского чтения.

Вспоминаю такой вечер в одном из бывших губернских городов Западной России. Читал Осип Мандельштам. Зал был полон. В первых, забронированных за ними, рядах разместились в самых непринужденных позах питомцы Пролеткульта. Пришли они — это было сразу видно — не для того, чтобы слушать, а чтобы продемонстрировать свое презрение к «буржуазному» поэту.

Мандельштам, взгромоздясь на нечто

вроде кафедры, читал, как и всегда, монотонно, размахивая руками и несколько комично раскачиваясь в такт стихам. Глаза его были полужакрыты и весь он как бы отсутствовал, отдавшись музыке стиха.

Не прошло и десяти минут, как началась демонстрация пролеткультовцев против неугодного поэта. Они громко зевали, ухмылялись, корчили презрительные рожи, отворачивались от эстрады. Мандельштам ничего не замечал.

Тогда, словно по команде, пролеткультовцы стали писать записки и забрасывать ими эстраду. Вскоре и кафедра и пол возле нее были ими усеяны, несколько записок попало поэту в лицо. Внезапно, будто очнувшись от забытья, Мандельштам прервал чтение, огляделся, заметил записки, начал растерянно их подбирать, попробовал, запинаясь, отвечать на какие-то нелепые, а то и просто дерзкие вопросы. В передних рядах радостно загоготали. Пытался он, как сейчас помню, ответить на записку: «Все ваши стихи такие, или есть что-нибудь порядочное?», но сбился и под хохот передних рядов и робкие протесты задних покинул эстраду, чтобы больше на нее не вернуться, хотя было обещано еще второе отделение.

Немногом отличался от мандельштамовского вечер Анны Ахматовой в том же городе. Тоже записки с наглыми вопросами, дерзкие возгласы из пролеткультовских рядов. Часть публики пыталась поддержать поэтессу, шикала. На короткое время водворился порядок. Ахматова читала волнуясь, спеша. И вообще-то она декламировала стихи невыразительно, а тут обстановка совсем её доканала, чувствовалось, что она нервничает и пересиливает себя. Поервать чтение, уйти — было невозможно, это грозило не только большим материальным ущербом, но и крупными личными неприятностями. Исполнив объявленное в программе, Ахматова поторопилась исчезнуть и не вышла на долгие вызовы части зала...

✱

В одном городе юга России, на открытой сцене летнего театра был объявлен вечер поэта Георгия Шенгели. В эмиграции мало кто слышал об этом талантливом и много обещающем в своё время поэте. Он двигался тогда с «могучей кучкой» писателей-одесситов (Олеша, Бабель, Катаев, Багрицкий, Вера Инбер и др.) с юга на север на «завоевание» литературной Москвы и по дороге, как и остальные, устраивал свои вечера. Специализировался он в жанре хорошо удававшегося ему стихотворного «портрета» — рассказывал в стихах о Денисе Давыдове, Державине, Ермолове,

Бетховене, Наташе Гончаровой... За ним числился превосходный полный перевод знаменитого сборника сонетов французского поэта Эредиа «Трофеи». И этот перевод и собственную книжечку стихов «Израец» Шенгели издал в годы гражданской войны в Одессе наикустарнейшим способом — книжечки не были даже сброшюрованы и свободно могли поместиться в жилетном кармане. Поскольку в эмиграции стихи Шенгели почти неизвестны, будет не лишним привести здесь хотя бы одно из них.

Денис Давыдов

Над выкругленным лбом взлетает
белый кок,

Задорно с бальным ветром споря,
И эта седина — как снежный островок
Среди каштанового моря.

Так было в юности. Но протекли года,
Румяные сошли загары,
Метнув на грудь звезду, умчались
без следа

Наполеоновы гусары.
Есть рассказать о чём! Но резв
мазурки звон,

Но силе юной жженки пламя,
И чувствует себя как будто старым он
Под боевыми сединами.

Закрасить эту прядь! Искусный куафёр
Варит канадские орехи.

Теперь та девочка не будет, кроя взор,
Откидываясь в звонком смехе!

Теперь та девочка... — Но в эти дни поэт
Пьян отпремевшего войною,
В пунш обмакнув перо, чертит его портрет
Всё с той же славной сединою.

С ней блещут серебром под минеем штыхи,
Березина звенит под шпорой,
И заливаются военные рожки

Сквозь ямб раскатистый и скорый.
Прославленную прядь велел он

вымить вновь,
Гордится этим пенным грузом.

Что девочкин смехок, что светских
дам любовь,

Когда он стал любезен музам!

Итак, поэт Георгий Шенгели давал свой вечер на сцене летнего театра. Появился он на эстраде в странном, каком-то колониальном одеянии: белый китель, желтые краги, на голове — пробковый тропический шлем. Может быть история этого маскарада та же, что и пресловутого есенинского цилиндра?

Читал Шенгели хорошо, с подъемом. И был в стихах смел — тогда это еще сходило с рук:

Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью,
Властиители богатств, не уберегши их,

К неумолимому идём средневековью...

Это звучало, как пророчество. Поэта не прерывали. Но чувствовалось, что местная хихикающая и перешептывающаяся пролеткультовская свора что-то затевает. Действительно, чуть только Шенгели, закончив первое отделение, ушёл за кулисы, пролеткультовцы ринулись на эстраду и, объявив вечер Шенгели «за ненадобностью» закрытым, начали явочным порядком свой собственный, который и продолжался до глубокой ночи. Фигура Шенгели в тропическом шлеме показалась раза два из-за кулис. Оценив положение и признав его, вероятно, безнадежным, поэт скрылся окончательно.

Это был первый, еще очень легкий, удар по Шенгели. Впоследствии, уже в Москве, за ним последовали другие. Казненный молчанием Шенгели печататься не мог и превратился в преподавателя стихосложения на литературном факультете Московского университета, достигнув в сей науке большой эрудиции и профессорского звания. Но к чему была ему эрудиция без собственного творчества? Лишь перед самой войной, после почти двадцатилетнего молчания, появилась тоненькая книжечка благонамеренных стихов Шенгели, но как они были далеки от его первых удач!

Перу Георгия Шенгели принадлежит между прочим стихотворение, которое можно назвать пророческим для всей подсоветской литературы. Обращено оно к «музе» поэта. Олицетворена она, эта муза, довольно своеобразно. Это не резвящаяся вакханочка юного Пушкина, не погибавшая от чахотки спутница Надсона, не мучительная наложница Блока с её «страшными ласками». Муза Шенгели это... обезьянка, с которой он ходит по дворам:

Я груб и неумыт, я на ветру дрожу
В одежде порванной, истленной.
Мне надо жить и есть, — и по
дворам хожу
С тобою, с обезьянкой пленной.

И, озираючись на раздраженный хлыст,
Ты представляешь всё, что надо:
Как служит мессу ксендз, как
плачет гимназист,
Как вьется меж ветвей дриада.

Не такова ли горькая судьба подсоветской музы: подлаживаясь под шарманку партийного соцзаказа и озираясь на «раздраженный хлыст» хозяина, проделывать «всё, что надо»?

И чахнет, конечно, муза-обезьянка от этой жизни:

...Ты слабо кашляешь и

вдавленную грудь

Ладонью узкой согреваешь.

Но поэту «надо жить и есть». Подневольная муза-обезьянка зарабатывает ему всё же на кусок хлеба. И он оправдывается:

.. Отдать бы, уступить! В тепло!

Но без тебя

Кто денег мне на бубен бросит?

И вот тебя вожу, терзая и знобя,

Пока обоих смерть не скосит!

Конечно, когда Шенгели в двадцатых годах писал это стихотворение, он просто цинично оригинальничал, а не протестовал! Но получилось не в бровь, а в глаз! Трудно подыскать в качестве эпиграфа для всей подсоветской поэзии более беспощадный и меткий образ, чем этот!

✱

Трагична судьба поэта Владимира Нарбута (брата замечательного, рано умершего, графика Георгия Нарбута).

На литературном горизонте Владимир Нарбут появился еще до революции. Он выделялся тогда, впрочем, главным образом, самоуверенностью и ориентировался преимущественно на успех скандальный: его книга стихов «Аллилуия», набранная церковным шрифтом и полная явных нестрис-тоиностей, была конфискована и уничтожена царской цензурой.

После октябрьского переворота Нарбут примкнул к большевикам и вступил в партию. Во время гражданской войны на Украине попал в руки махновцев. Те его расстреляли вместе с несколькими другими, но второпях не добились. Нарбут, раненый нашёл в себе силы выползти ночью из-под груды трупов и отделался ампутацией руки.

Отсюда началась его партийная карьера. Вскоре он очутился на руководящей работе в Отделе Печати ЦК ВКП(б). Стихов писать не перестал. Кроме одной «верноподданнической» книги, издал еще на Украине два сборника стихов: «Плоть» и «Александра Павловна», в которых советский строй не воспевал. В этих сборниках встречались отличные стихи, в которых свойственная Нарбуту грубость переплеталась с какой-то новой для него подкупающей теплотой и задушевностью. Эта «подпольная» аполитичная литературная деятельность обратила на себя внимание кого следует. Припомнили Нарбуту и его помещичье прошлое и дружбу с Гумилевым. С партийных верхов он сначала скатился вниз, а затем и совсем исчез. Перед катастрофой Нарбут, чужа недоброе и пытаясь замести следы, лихо-радочно собирав по знакомым, скупал по магазинам и уничтожал обе свои злополуч-

ные книги — это было уже, конечно, жестом отчаянья. Нельзя отказать судьбе Нарбута в своеобразной трагичности: сперва сожжение его книги царской цензурой, затем при большевиках — самосожжение.

Стихи Нарбута из сборников «Плоть» и «Александра Павловна» едва ли кому-нибудь в эмиграции известны, а потому небезинтересно будет привести здесь одно из них, мне запомнившееся:

Вы набожны, высокомерно строги,
Но разве я не помню, как давно
Из домика при городской дороге
Вы мне кивали ласково в окно?

Вас облегал, доверчиво и плотно,
Калот из кубового полотна.
О, май! Уж эти тонкие полотна!
Уж эти разговоры у окна!

А смерть не ждёт. Не стало в доме дяди,
И тети-Клеопатры долг тяжел,
Она живёт чужого счастья ради,
Нудясь: скорей бы почтальон пришёл.

И если к вечеру звонок с хрипотцей
В прихожей захлебнется раз или два —
Какая суматоха разольется
По комнатам, не вымершим едва!

Из Питера вы пишете со скуки:
Здесь, тетя-Капочка, дожди и грязь...
Дрожат очки, и сморщенные руки
Верут альбом, завернутый в атлас.

Когда-то тем, кому Вы очень близки,
В альбом портрет Ваш подарила мать,
Но трудно в этой щуплой гимназистке
Вас, Александра Павловна, признать.

*

Постепенно вечера неугодных советской власти поэтов как-то сами собой прекратились. И то: кому была охота подвергать себя и своё творчество публичным оскорблениям! Поэты попятались, ушли в себя. Имя Ахматовой перестало появляться в журналах. Выпущенные издательством „Academia“ письма Рубенса под её редакцией (или в её переводе — не помню точно) — вот то единственное, что на протяжении 15 лет напоминало о её существовании.

Кроме казни молчанием была еще и казнь забвением. Книжки Гумилева, свободно продававшиеся в начале нэпа, были впоследствии изъяты не только из книжных лавок, но и из библиотек. Имевшие их на руках не рисковали показывать их даже друзьям, опасаясь доноса. Обнаруженные при обыске они становились тяжелой уликой. Многие предпочли их сжечь. Упомянуть имя Гумилева было небезопасно.

Помню магазин Госиздата в городе Ц. Беседуя с продавщицей, чудом сохранившейся от прежних времён культурнейшей старушкой Анной Сергеевной. Вдруг за спиной громкий голос:

— Товарищ продавщица, есть у вас произведения Николая Степановича Гумилева?

Я не мог не обернуться. И «произведения», и величание по имени отчеству, как это делали в старину, говоря о любимых писателях, — от всего этого пахнуло чем-то таким хорошим! Захотелось броситься к вопрошавшему, крепко пожать ему руку, затащить к себе, показать свои заветные гумилевские томики... Но тут же мелькнула мысль: а не провокация ли это? В советской стране все всегда начеку. Не дала себя захватить врасплох и опытная Анна Сергеевна.

— Что вы, что вы, товарищ! — раздался её, словно какой-то обиженный, голос. — Гумилев — враг народа и понёс за это заслуженную кару. Книжки его не переиздаются, да и вообще не заслуживают внимания!

Покупатель тотчас же ретировался. Может быть это и не была провокация? Может быть он сам испугался?

Позже та же Анна Сергеевна предлагала мне под большим секретом книжки Гумилева; кто-то, сильно нуждаясь, их продавал. Цены на тоненькие потрепанные книжечки без переплета были во много раз выше, чем на роскошные издания советских бардов. Книжки Гумилева можно было предложить только верным людям. Несмотря на такую конспирацию и высокие цены, их быстро раскупили.

К слову. Во время германской оккупации в одном свободном от большевиков городе группа местных поэтов задумала издать избранные стихи Гумилева. По отдельным кое у кого сохранившимся книжкам и спискам составили сборник. Книга была уже набрана, но в последнюю минуту всё погубил какой-то тупоголовый зондерфюрер, которого случайно обманли, исхлопавшая разрешение. Он заартачился и наложил своё вето. Да вдобавок еще, просматривая корректуру, наткнулся на стихи о Юдифи и Олоферне (Ужас! Прославление еврейства!), а дальше — на стихи о массах (второй жупел для нацистов!) — чуть даже дела не пришлось инициаторам издания! Так, к великому их огорчению, ничего из этого начинания не получилось.

*

Одной из разновидностей пыток, которым подвергает писателей советская власть, является — «пытка редактором». Ни одна книга не может быть издана, не пройдя

тщательного контроля со стороны приставленного к автору «литератора от МВД». Эти надсмотрщики над писателями, именуемые «редакторами», считают себя авторитетами не только с политической, но и с художественной точки зрения и дают тут обязательные «советы». Мне приходилось видеть рукописи после такой редакторской правки — красный карандаш покрывал их кровавыми следами; это было похоже на свежееисполосованную кнутом спину.

К работе своей литературные надсмотрщики относятся рьяно. Еще бы! Всякая оплошность грозила бы редактору не меньшими бедами, чем автору! А то и большими... Имя его обязательно значится на обороте титульного листа проредактированной им книги. В случае разного рода «неудач» редактор подвергается экзекуции наравне с автором книги. В «разносных» рецензиях так прямо и значится: куда смотрел редактор книги, товарищ такой-то?

Политические оплошности, ускользнувшие от бдительности редактора, устраняются в новых изданиях книги. В таких случаях читатель тщетно искал бы понравившихся ему в первом издании эпизодов или высказываний. Проза иногда переделывалась до неузнаваемости, из юмористов же стихов при переиздании всё «вредное» или «несозвучное» просто выбрасывалось.

В вышедшей в конце двадцатых годов книге стихов Веры Инбер имелось стихотворение о горсти египетской пшеницы, замеченной поэтессой в каком-то музее древностей. Пшенице было несколько тысяч лет. Автор задумался над тем, с каким трудом была когда-то выращена эта пшеница и как:

пекли египетские жены
Простые, плоские хлеба
С золой на корке обожженной.

И представилось ему: а что, если спечь сейчас хлеб из этой пшеницы? Ведь:

мы узнали бы тогда
Отстой тысячелетних злаков
И вкус тяжелого труда,
Который всюду одинаков.

В следующем издании стихотворение это, естественно, из книги исчезло. Ведь согласно советской политической азбуке труд тяжел никак не «всюду», а только в «капиталистических» странах, в СССР, даже на Кольме, он является легкой и сладчайшей радостью...

В посмертном сборнике стихов Эд. Багрицкого, вышедшем перед войной в так называемой «Библиотеке поэта», отсутствует впервые одно из лучших его стихотворений, о Пушкине («И Пушкин падает...»).

Чем оно не угодило советской цензуре? Трудно себе представить... Может быть заключительные строки:

...и Пушкин отомщенный

Всё также сладостно-вольнолюбив.

— показались очередному надсмотрщику из МВД опасными? Как это, правда, так: давно уже в России советская власть, а Пушкин попрежнему вольнолюбив! вычеркнуть!

В этой же «Библиотеке поэта» после чудом проскочивших томиков Сологуба и Ин. Анненского был запланирован сборный томик поэтов-акмеистов. Его, однако, в последнюю минуту отменили, а за Сологуба и Анненского кое-кому пришлось ответить.

✱

В подобной «творческой обстановке» перед каждым честным подсоветским поэтом открывались только два пути: либо перестать писать совсем, либо писать, как говорится, «в стол», для себя, решительно ничего не опубликовав и даже не делясь написанным с друзьями, среди которых всегда могут оказаться вольные или невольные доносчики. Больше того: не только показывать стихи, но даже записывать их небезопасно. Ведь в случае обыска, например, всякая найденная рукопись возбуждает подозрение.

Был, правда, еще и третий путь, и многие, менее стойкие, его избрали: лавировать и маневрировать. Это значит: каждое, не имеющее никакого отношения к политике, стихотворение обеспечивать, по крайней мере, в десятикратном размере рифмованными дифирамбами по адресу «любимого» вождя и возглавляемого им строя, т. е. тем, для чего на советском языке существует хлесткое словцо «подхалимаж». Таким образом, можно было протащить в сборнике верноподданных стихов крупницу своего, заветного.

Многие пошли по этому третьему пути. Трудно их за это безоговорочно осудить. Но вскоре они стали жертвой этой обязательной благонамеренной нагрузки, под камнем которой подлинное творчество зеленеть не могло. Часть таких поэтов постепенно сошла со сцены, часть вегетирует еще с грехом пополам на склонах советского Парнаса. В художественном отношении эти поэты в большинстве случаев дегенерировали, и вспоминать о них можно только по их давнишним стихам, о которых сами они уже вспоминать не смеют. Такова, например, судьба Всеволода Рождественского, первая книга стихов которого «Золотое веретено», вышедшая в издательстве «Петрополис», так много обещала.

Лишь немногие обладали выдержкой и мужеством, чтобы пойти по самому трудному пути — продолжать писать тайно, без всякой, в сущности, надежды на то, что написанное когда-либо увидит свет. Это был тоже тот «подвиг русского поэта», о котором говорил М. Волошин. Так одно время писала Ахматова. Так делали и другие, безвестные. Кто знает их имена? Кто поднял и сберег их стихи? Поэты такие были, это мне доподлинно известно. Часть из них погибла, не донеся своего труда до свободного берега. Часть и сейчас еще вероятно продолжает свой безнадежный подвиг. Всё это тоже «казненные молчанием», казненные невозможностью вручить людям то, что они для них создали. К такому «казненному молчанию» обращены слова одного из поэтов эмиграции:

Мой бедный брат! Ты вдалеке,
За непреходимой пранью,
С незримой пулею в виске
Хранишь смертельное молчанье.
На милость сдавшийся врагу,
Ты тайной казнью изучен,
И даже кровью на снегу
Твой путь последний не отмечен.

Вот именно: даже кровью на снегу... После Гумилева, Блока, Клюева, Есенина, Мандельштама — и скольких еще! — остался, в том или ином облике своём, этот кровавый след. Он вопиет к небу, он жжет наши сердца. В нём некая искупительная милость судьбы к замученным и казненным поэтам с именем. Но сколько исчезло «там», исчезает, исчезнет поэтов безымянных, не оставивших после себя никакого следа, никакой памяти, никакого звучанья?

А разве не является порой их бескровная казнь столь же мучительной, как та, кровавая? И — почём знать? не потеряли ли мы иной раз в них, в этих безвестных жертвах, значительных, а то и больших поэтов?

Я знал одного поэта, который все долгие десятилетия своей подсоветской жизни тайно писал стихи. Это была самая невинная лирика, но на опубликование её в советских условиях не было решительно никакой надежды. И всё же он писал, разбил написанное на книги, что-то на пять или шесть, дал каждой название. Это было трогательно в своей наивной надежде и безнадежности. Поэт ждал дня, не представляя себе даже, в каком, собственно, облике он придет и придет ли вообще, когда можно будет опубликовать труд всей жизни. Пока что он жил и дышал только этим

трудом и находил в нём, как он сам же сказал:

Хоть на мгновение
Отдохновение...

И вот всё-таки чудо совершилось, невозможный, думалось, день настал: поэт оказался в городе, занятом немецкими войсками. Он понимал: с опубликованием книг придется, разумеется, еще немного обождать. Но это придет. Эта небольшая отсрочка — пустяк по сравнению с прежним томительным ожиданием.

Между тем положение на фронте изменилось, началось немецкое отступление. С единственным багажом — тетрадами своих стихов — поэт двинулся, спасаясь от большевиков, на запад. По пути, в каком-то советском окружении, и поэт и рукописи его погибли, так и не обретя свободы. Стихи были очень талантливые. Здесь, в эмиграции, поэт был бы замечен. Теперь же нет даже смысла называть его имени. Лишь отдельные случайные строчки из его стихотворений сохранились в памяти уцелевших его друзей.

Как хорошо, что в дни безумий
Без размышлений, без раздумий
Еще хоть что-нибудь цветет!

— писал он под благоухающими липами, в каком-то бессарабском городке, на пути к той свободе, которой ему так и не удалось обрести.

Такова была судьба этого поэта. Одного из многих несчастных.

Я знал другого поэта. Он выбрал иной путь, путь полного молчания (хотя до революции печатался и издал книгу стихов). Было ли это малодушием? Едва ли. Поэт рассказывал мне, что не только понимание полной безнадежности всякого свободного творчества на советской земле привело его к такому решению. Было еще и другое, почти физическое ощущение: не хватало дыхания. Казалось: духовная атмосфера во всей стране выжжена, выхлопчена до предела. Дышать для творчества, для стихов стало нечем. И поэт замолчал.

Проходили годы, десятилетия. Началась новая война. И этот поэт тоже очутился по сю сторону фронта, в свободном от большевиков русском городке. Он мог бы опять писать. Но этой возможности он даже словно не заметил, так он отвык от стихов. К любимой когда-то работе его больше не влекло.

Этому поэту пришлось тоже вслед за отступавшими германскими войсками покинуть Россию. В Германии, где-то в Баварии, попал он в лагерь для беженцев с востока. Лагерь этот находился далеко от городом, в здании какой-то одинокой, пустующей по

случаю войны сельскохозяйственной школы. Даже самолеты над ним не пролетали.

Приехал поэт в лагерь вечером и в первое же утро, еще на рассвете, вышел оглядеться. Крутом было тихо и просторно. Оснеженные холмы, медленно понижаясь, мягко спускались к далекому, едва угадываемому на горизонте Дунаю. Между сосульчатыми кромками льда звенел студеный ручей. Залыги следы бежали во все концы по непропущенному снегу. Воздух был упоительно чист и словно какой-то голубой. Поэт жадно его вдыхал. И вдруг настойчиво зазвенели в душе слова. Он вынул карандаш, блокнот и записал:

Как груди девушки четырнадцатилетней,
Едва крупнятся здесь пологие холмы...

Задумался... Показалось: а может быть лучше иначе, вот так:

Лежат холмы, как маленькие груди,
Под белоснежным зимним полотном.
Придем сюда — и обо всем забудем
И голубого воздуха глотнем.

С этого дня, глотнув этого голубого, чистого воздуха творческой свободы, поэт начал снова писать. Впервые после двадцатилетнего молчания. Стал опять печататься, издал две книги стихов. То, что нужно было для этих стихов, он копил в сердце «там» и привез «оттуда». Но чтобы произвести их, надо было глотнуть воздуха «здесь»; «там» — его не было.

Такова судьба этого поэта. Одного из многих счастливых...

Об источниках живой воды

«Как и всякий честный человек на его месте, он заговорил тогда о своем народе, самом справедливом и великодушном из всех, потому что нет ему равных по силе духа и размаху его истории, о его чуткости к чужим несчастьям, о медлительном и печальном строе его песен, ...о его вере в чистого и гордого человека, которую, как свечечку, пронёс сквозь непогоду этой затянувшейся ночи.» («Русский лес» Леонова).

Как и всякий честный человек на его месте, как одаренный большим талантом писатель, Леонид Леонов заговорил о своем народе, самом справедливом и великодушном из всех, потому что нет ему равных по силе духа... И написал на эту тему свой новый роман «Русский лес».

Роман прочитан нами дважды. Но очень вероятно, что его можно прочесть и еще несколько раз, находя в нем всё новые и новые мысли, открывая, как в русском лесу, всё новые прекрасные места: опушки, поляны, кисине-черные ельники, заросшие ряской зеленые пруды, и — роднички, чистые и прозрачные, возле которых часто наш народ в старину ставил простой деревянный крест, а то и часовенку, и привязывал на тоненькую цепку плавающий самодельный ковшик...

Таков он, новый роман Леонова, новый вклад в... советскую или русскую литературу?

И как Леонову презится о свободных и гордых потомках наших, умных и сильных, которые смело и бесцеремонно пытливым глазом будут заглядывать за темный занавес прошлого, так и нам примечталось на короткий миг, как наши потомки, выйдя из «непогоды этой затянувшейся ночи», распоряжаются литературным наследством своей страны, которая пребывала почти сорок лет под неолыханным духовным огом.

Не задумчивой и ласковой рукой, а решительной и нетерпеливой расставляют они

книжки наших писателей по разным полкам: одних направо, к пышно расцветшему девятнадцатому веку, а других — налево, в пыльную, трухлявую кучу. Боже, сколько книг выброшено налево! А вот молодая загорелая рука одного из потомков, нырнув в груду на полу, вытаскивает и «Русский лес»... Зоркий придирчивый глаз бежит по страницам: Ленин, Сталин, коммунизм, самая счастливая и молодая страна в мире... И рука безразлично застывает в воздухе, а затем резко размахивается налево...

Подождите! Нет! Мы не отдадим нашего Леонова, он и ваш! Не швыряйте его к остальным, присмотритесь, вчитайтесь, подумайтесь, о чём он говорит, что он показывает!

Вы только вспомните: советские критики в те времена испуганно шарахнулись в сторону от его «Русского леса»... А Марк Щеглов, единственный, кто сказал о нём слово не полной, но большой правды, был тут же предан «анафеме»... Недаром злобины кричали с пеной у рта, что это — чуждое «нам» произведение. А в кулуарах среди знаменитых советских писателей той эпохи недаром шли горячие споры...

Посмотрите: это — странная и богатая по эле угадываемой форме вещь, обернутая в дешевый полупрозрачный ситец. На ситце — хорошо знакомый нам по советским плакатам штампованный фабричный рисунок: вот мавзолей Ленина, а вон и Сталин на Октябрьском параде в Москве, тут же и добрые, нежные дяди-эвдеисты, посылающие на муки и смерть курносую московскую девчонку... Дальше — изощрённый садист-фашист с кольтом в руке, которым он дробит девичьи черепа...

Но мы повторяем, — это всего лишь ситец с фабричной набивкой. А сквозь него — видите, поблескивает что-то...

Дорогие потомки, (а кстати и современные), мы обращаемся к вам со следующей

просьбой: любите нашу советскую литературу, потому что она и есть искалеченная, оскверненная и обнищавшая русская литература. И только любовь к ней подарит вам тот ключ, который раскроет всё внутреннее богатство духовного мира в подпольи, нестерпимый страх перед жизнью, безнадежные мечты и всю страсть к свободе человеческого духа.

Леонид Максимович Леонов — бывший «попутчик», теперь полноценный советский писатель. Леонид Леонов принадлежит к тем нашим писателям, которые ценой личного слова купили право на творчество. Мы далеки от мысли обвинять наших писателей огулом, так же как далеки и от обвинения нашей церкви, поминавшей Сталина и всё правительство за литургией.

Не по этому признаку хотим мы судить. Если писатель, отдав должное необходимым советским штампам, покупает этим право раскрыть перед своим народом сокровищницу духа, а народ, читающий его, так и поймет, то сразу вспыхивает жгучий вопрос: не лучше ли говорить так, чем вообще никак?

Леонид Максимович Леонов — один из талантливейших русских писателей нашего времени. В двадцатых годах имя его было радостью и надеждой нашей литературы. Трудно встретить человека, который если не читал, то не слышал бы о леоновском «Воре». Его «Барсуки» входили в школьную программу советской литературы. Но мы хорошо помним его ранние произведения: «Бурьга», «Гибель Егорушки», «Петушицкий пролом», «Конец мелкого человека», «Записки из города Гоголева»... Между ними и «Русским лесом» — пропасть в тридцать с лишком лет. Многие могли измениться за таких четверть века. Поэтому с особым вниманием отнеслись мы к новому роману Леонова.

«Русский лес» писался в продолжение трех лет — с 1950 по 1953 год, как стоит в конце романа, т. е. еще при жизни Сталина. «Русский лес» — произведение, охватывающее по времени почти половину двадцатого века. Композиционно построено оно очень сложно, мы бы сказали, даже слишком усложненно. Действующих лиц — целая галерея, как и в жизни. Действие по времени идет зигзагом, то уходя в далекое прошлое в воспоминаниях главных героев, то возвращаясь к сороковым годам. Таким образом, в романе охвачены и все революции, и первая мировая война, и нэп, и коллективизация, и, наконец, — вторая мировая война.

Главное действующее лицо романа — Русский лес, который, являясь в действитель-

ности настоящим реальным русским лесом, в то же время представляет собой глубокий символ. Основная канва: распря двух профессоров ученых-лесоводов, которые в продолжение десятилетий спорят о правильности лесопользования. Проф. Вихров проводит в своих трудах теорию сбалансированного «лесовозобновления», при котором годовая вырубка не превышала бы, а равнялась годовому приросту древесины. Его противник проф. Грацианский считает, наоборот, что надо пользоваться богатством леса в зависимости от нужд народного строительства, не занимаясь особенно тем, что ожидает Россию в будущем. Спор, ведущийся годы с успехом для Грацианского, в конце войны оканчивается его поражением и возвышением проф. Вихрова вместе со всеми его теориями. Грацианский оканчивает жизнь самоубийством, Вихров получает телеграмму о назначении его на пост директора Лесоустроительного института.

Таков внешний контур произведения. Затем роман постепенно усложняется и углубляется входящими новыми действующими лицами и всей обстановкой первых дней войны. Вихров неудачно женат, жена оставила его, уехав с маленькой дочерью. Дочь воспитывается на родине своих родителей, не зная об отце ничего, потому что мать неохотно вспоминает прошлое. Девочке попадают в руки книги ее отца и критические статьи его противника. В душе Поли Вихровой возникает определенный образ отца, сугубо отрицательный с точки зрения провинциальной комсомолочки, верящей каждому печатному слову. Приезжая в Москву, она начинает расследование вины своего отца. Рассказами об отце ее горбатенькой тетки Таиски и воспоминаниями самого Вихрова о своём детстве, студенческих годах, женитьбе еще более пополняется основная канва, не только введенным все новых и новых героев, но и все большим углублением их духовных обликов. Оказывается, что Вихров усыновил после отъезда жены и дочери сына своего друга детства Демиды, раскулаченного в период коллективизации. Ясно очерчивается образ противника Вихрова — Грацианского.

Основные герои романа, ко всему еще, являются и представителями различных социальных групп: крестьянства, старой интеллигенции, новой советской интеллигенции, рабочих и, стоящей особняком, группы «отщепенцев».

Как только в романе раскрывается сокровенная духовная сущность каждого из них как представителя своей родины, — сразу раскрывается во всей своей полноте и

сам символ русского леса — нашей Родины — и непосредственно связанный с нею в единое целое духовный облик всего нашего народа, в прошлом, настоящем и будущем.

И наконец, центром всего произведения является лесной родничок, начало большой русской реки, таинственный источник духовной жизни всей России, вечный, прекрасный, чистый и живой, начало всех начал и правда всех правд на нашей земле.

Такова, выражаясь образно, внутренняя композиция романа.

ИДЕЯ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ

Роман «Русский лес» — это шитье на подкладке. Поэтому мы берем на себя смелость взять на вооружение критики советской литературы вообще термины «внешний» и «внутренний». Таков век в нашей стране. Сто лет назад в этом не было никакой надобности, так же, как нет никакой необходимости вводить подобные термины в статьи о литературе свободного мира. Вся жизнь нашей страны имеет тоже своё «лицо» и «подкладку», естественно, что это отражается, как в зеркале, и в литературе. Поэтому для читателей, мало знакомых с подлинной жизнью в СССР, так же, впрочем, как и для советской цензуры, будет заметна и понятна только гладко ошита лицевая сторона, для первых — по незнанию, для вторых — по формальному казенному отношению.

Итак, внешняя идея этого произведения заключается в духовной и физической победе нового — коммунистического — мира над старым, т. е. всем остальным, не охваченным еще коммунизмом.

Для того, чтобы вызвать к жизни и омыслить идею внутреннюю, требуется одно простое, но совершенно необходимое условие: знание подлинной правды о жизни и положении русского народа во все периоды советской власти. При соблюдении этого условия происходит простой, но очень эффектный «фокус» — роман обращается к читателю «подкладкой», обычно противоположной «лицевой» стороне — и всё произведение начинает звучать новой увлекательной мелодией. Конечно, формальное соблюдение внешних необходимых атрибутов советской литературы еще недостаточно. Писателю необходимо добиться двусторонней идейности и композиции в соответствии с этим. Так, чтобы получилось вроде переводных детских картинок — намачиваешь и осторожно, медленно снимаешь с листа бумаги верхний покров. На чистом белом листе вдруг появляется совсем новое, обычно яркое и красивое, изображе-

ние, после мутного сероватого налёта на купленной в магазине картинке.

Мы, конечно, не утверждаем, что Леонид Леонов занимается подобными «преступными» вещами, что он совершенно сознательно строит свой роман таким двойным образом. Отнюдь нет. Вероятно, это происходит произвольно, в подсознании каждого подлинного художника, творца, попавшего в условия несвободы.

Итак, долой раскрашенный плакатно сюжет! Что же внутри? Внутреннюю идею романа можно легко уложить в одно евангельское прекрасное изречение:

«Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух». Смысл и изречения и романа один и тот же: недостаточно человеку родиться только от плоти, т. е. просто родиться, нужно еще второе рождение — причастие от высших ценностей Духа. Только в этом случае человек обретает жизнь вечную, то есть духовное бессмертие. Одна лишь плоть смертна и тленна.

По этому изумительному признаку и делаются все герои романа на «овец» и «козлиц», на бессмертных духом и смертных, на положительных и отрицательных, на испивших живой воды из хрустального родничка, — источника духа человеческого, и на глотнувших мертвой воды и возненавидевших этот родничок дьявольской ненавистью ко всему чистому и святому. Есть еще и нейтральные герои, не испившие «живой водички», но и не возненавидевшие её. Это так называемые положительные герои коммунистической литературы, и о них речь будет впереди.

ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА

Еще со школьной скамьи нам всем известно, что такое мимикрия. Мы все помним гусениц, стоящих сухим сучком, бабочек с крыльями увядших листьев... Принцип для лобой мимикрии всегда остается неизменным — подделываться под тот основной фон, на котором ты заметен. Не удивительно, что при положении наших литераторов и им зачастую приходится продельывать «гусеничьи» эксперименты. Вероятно, можно написать целый труд по этим вопросам, но — основная окраска, которая употребляется всеми без исключения, — это, конечно, коммунизм. Причём надо отметить, что коммунизм — в деле мимикрии — является весьма удобным фоном. Можно о коммунизме написать и халтурную вещь, но можно написать с тем же успехом и очень серьезное и глубокое произведение, например, «Русский лес».

В каждое понятие можно вложить разные смыслы. Понятие коммунизм в XIX веке наполнялось совершенно другим смыслом, чем теперь. Если теперь это — синоним рабства, голода, нищеты, террора, то сто лет назад — это была светлая идея века, воплощавшая в себе наилучшие и туманнейшие стремления определенной части нашей интеллигенции: свобода, равенство, братство. Чтобы не быть многоречивыми, приведём цитату, сразу дающую понять, какой смысл вкладывает в понятие коммунизм, например, дочь Вихрова — Поля.

«Я твёрдо верю, Варя, что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть всё некрасивое, бесформенное, низменное... и, значит, коммунизм, кроме всего прочего, есть совершенная красота во всём...»

Мнение Поля о коммунизме весьма перебивается с мнением о социализме, скажем, таких незаурядных литераторов прошлого века, как Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Иначе говоря, полин «коммунизм» — это христианство, осуществленное в полной мере на земле. Наш народ христиан. И лучшим доказательством этого служит хотя бы то, как он относится к церкви и как он верит после стольких лет государственного гонения и уничтожения веры. Следовательно, вкладывая в понятие коммунизм содержание христианства — можно очень много и глубоко сказать для нашего народа. Любовь, жертвенность, братство и причастие от Святого Духа — то есть сущность христианства, вкладывается Леоновым в понятие «коммунизм». Никто не может писателю запретить понимать коммунизм именно так.

С другой же стороны, сделав простую маленькую операцию, — отбросив только слово «коммунизм», каждый, кто желает блага и мира своей Родине, не может не согласиться с идеалом, выдвигаемым Леоновым.

Подобная мимикрия под коммунизм встречается сейчас довольно часто в произведениях советских писателей послесталинского периода. То же продельывает Эренбург в своей повести «Оттепель», Вера Панова во «Временах года», и, наконец, сам Леонов. С той только разницей, что Леонов идёт дальше, глубже, проникновеннее, вводя порой даже элементы мистики.

В этом приеме есть и своя отрицательная сторона, а именно: наша молодежь, как и весь народ, уж слишком хорошо осведомлены, что на самом деле представляет из себя коммунизм. Всем ли захочется делать такую подстановку, не оттолкнёт ли многих уж одно только слово?

СВЯТОЕ СВЯТЫХ

Попытавшись установить внутреннюю идею «Русского леса», мы не можем не остановиться на том глубоком и трижды описанном символе человеческого духа, который фигурирует у Леонова в виде лесного родничка, хранителем которого поставлен верный «зеленый друг» нашего народа — Русский Лес.

Два крестьянских мальчика тайком уходят из дому, чтобы обязательно в гущине темного нелюдимого бора найти клад. Один из них — маленький Ваня Вихров, будущий профессор, горячий и верный защитник леса, сначала истребляемого русским купечеством, а затем социалистическими методами хозяйствования. Второй — сын местного трактирщика, будущий кулак, прижимистый малый, старающийся из всего извлечь для себя выгоду.

Клада — золота в сундуке — они так и не находят, зато находят «самое важное в округе сокровище, может быть, и на всей земле». В маленьком чистом овражке слышался звук журчащей воды.

«Вот оно... — торжественно и непонятно шепнул Иван. Это был всего лишь родничок. Из-под камня в пространстве не больше детской ладони роилась ключевая вода. Порой она вскипала сердитыми струйками, грозясь уйти, и тогда видно было, как вихрились песчинки в её безостановочном биении. Целого века не хватило бы наглядеться на него. Отсюда начинался ручей... То была колыбель Склани, первого притока Енги, и та, в свою очередь, приходилась старшей дочкой великой русской реке, расхлестнувшей северную низменность на две половинки, так что полстраны было окроплено живой водой из этого овражка».

И тут же, без передышки, Леонов сразу разворачивает во всю ширь значение этого сокровища:

«Без неё не рождаются ни дети, ни хлеб, ни песня, и одного глотка её хватало дедам на подвиги тысячелетней славы»*).

Это народное сокровище, источник живой воды, произвел на мальчиков, особенно на маленького Ивана Вихрова, идеалиста и поэта в душе, неизгладимое впечатление: никогда еще «он не ощущал себя таким ничтожным, как перед лицом того беззащитного, казалось, родничка, — не испытывал такого светлого, беспричинного ликования».

Мальчики напились из него, холодного и прозрачного. И этой живой воды хватило одному на всю жизнь, до старости, а другому — на великую жертву: ценой своей

* Разрядка во всех цитатах — из «Русского леса» — моя. Н. Т.

жизни купить жизнь чужого ребенка, молодой девушки, дочери Ивана Вихрова, полавшей к немцам на расправу.

Вторично родничок появляется в романе тогда, когда перед сформировавшимися духовно и физически тремя друзьями по лесному институту — Вихровым, Грацианским и Чередиловым — жизнь гостеприимно расстилается множеством разнообразных дорог. Два друга, Грацианский и Чередилов, приезжают в гости к Вихрову на его родину. И Иван ведет их в лес, чтобы показать им свое сокровище:

«Не крикнула желна, — теперь сам Вихров был хранителем святльни... И хотя солнечный луч, пробившись сквозь молодую листву, наполнял овражек рассеянным сиянием, нужно было нагнуться, чтобы рассмотреть таинственное рождение реки.

— Вот... таким образом, — отступив в сторону, сказал Вихров и оглянулся с видом человека, который показывает чужому ладонку матери или карточку невесты.

— И-да, это крайне занимательно: вода, первичная стихия... — неопределенно пробурчал Чередилов и локтем подтолкнул Грацианского в бок.

— Тебе понятно, по крайней мере, Сашко, поскольку ты у нас светоч мышления... к чему вся эта притча?

Ему пришлось повторить вопрос, но тот снова не расслышал. Какая-то смертельная борьба чувств происходила в его поблудневшем лице, как если бы перед ним билось обнаженное от покровов человеческое сердце. Словно зачарованный, опершись на свой посошок, и сквозь пенсне на шнурочке он шурко глядел туда, в узкую горловину родника, где в своеобразном ритме распахивалось и смыкалось песчаное беззащитное лонце.

— Сердитый... — обнажив зубы, протянул Грацианский и вдруг, одевая фехтовальный выпад вперед, вонзил палку в родничок и дважды самозабвенно провернул её там, в тёмном пятнышке его гортани».

В эту самую секунду — отвратительно-страшную, когда Грацианский оделал попытку исковеркать или попросту уничтожить святое святых своего товарища и друга Вихрова, а Чередилов ничего в родничке не понял — разошлись дороги троих друзей. И те, кто отказались испить живой воды, не пожелали прильнуть злым или равнодушным лбом к заветному сокровищу нашей Родины, — остались в стороне, рожденные лишь от плоти, не освященные Духом — духовно извращенные, отверженные своим народом и смертные.

Родничок, как пробный камень, стоит на пути каждого из героев романа. Большей

частью он незаметен, невидим, но незримо присутствует в трудную минуту выбора перед каждым из них. Имя ему — любовь, как и имя Бога, — любовь к ближнему, к народу, к Родине. В минуту смертельной опасности, в годы военного голода, бомбардировок, ранений и великих подвигов, каждый из них решает для себя: что дороже — моя маленькая незначительная жизнь или жизнь всего моего народа? И тот, кто решает в пользу народа и родины, сам того не замечая, горячо и беззаветно принимает лбом к прохладному дну енежского овражка и благоговейно причащается святой водой маленького беззащитного родничка. Так произошло и с восемнадцатилетней Полей, дочерью Ивана Вихрова, и с приемным его сыном Сережей, и с женой Вихрова — Еленой Ивановной. И родничок щедро одаривает каждого душевной чистотой, любовью к ближним и служением им, высоким чувством ответственности и долга за всех, как за самого себя.

Главное в жизни — не земное счастье, а душевная чистота. О ней говорят они все, причащенные из родничка.

Поля пытается в разговоре с отцом сформулировать то, что ей кажется идеалом жизни:

«Я так объясняю... Ну, к чему стремятся люди? Говорят, к счастью, а по-моему, неверно: к чистоте стремиться надо. Счастье и есть главная награда и доведоск к чистоте. А что такое чистота на земле? Это чтоб не было войны и чтоб жить без взаимной обиды, чтоб маленьких не убивали, чтоб на ослабевшего не наступил никто... каждый может ослабеть в дороге, правда? И чтоб дверей не запирали, и чтоб друг всегда за спиной стоял, а не враг, и чтоб люди даже из жизни уходили с улыбкой...»

То есть, говоря иными словами, жить по заповедям Христа. Но в полином понимании это-то и есть коммунизм. И здесь получается очень интересная вещь: в девятнадцатом веке коммунизм пришел к нам в одеждах, скроенных из христианских истин — любви, братства, равенства, свободы, — волк в овечьей шкуре. А в двадцатом веке — христианство сменяет у нас на родине коммунизм, проходя сквозь дьявольскую цензуру в страшной шкуре волка.

Это становится сразу ясным и понятным, когда попытаешься сравнить Полин идеал жизни с тем, что делается у нас на родине. Он противоположен советской действительности. Потому-то и стремится наша молодежь к нему, что жизнь оборачивается к ним с первого дня их появления на свет нестерпимо-жуткой рожей: голодом и холодом, атмосферой недоверия и вражды,

улицей, детдомами, ФЗО, победой трубой силы над ослабевшими и, наконец, неискупаемой вовек виной детей за «проступки» их отцов.

Третья встреча читателя с родничком происходит в те особенные торжко-ясные дни начавшейся победы России над смертельно раненой под Москвой и Сталинградом Германией. С первым поездом приезжает Вихров к себе на родину, только что освобожденную от оккупантов. Кругом разрушения и пепелища пожаров... Пешком обходит он свои лесные разоренные владения. Наконец добирается до знакомой чащи. С затаенным волнением вошел и «по портанному еле слышному клекоту воды понял, что добрался до места.

Перед ним был тот самый, заросший теперь отовсюду овражек с плоским валуном на дне... Иван Матвееч с обнаженной головой спустился вниз, и оттого, что некому было подглядывать за ним в такой глуши, вслух поздоровался с Калиной и тем маленьким, как ёжиком сердитым божеством, что жило здесь, под древней ледникового скалою.

— Здравствуй, добрый и вечный, — сказал он с опущенными руками, как перед начальством, выше какого не бывает. — Это я, Иван Вихров, если помнишь. Вот навесить и отчитаться пришел... здравствуй!»

И Иван Вихров отчитался за все годы перед ним, вдохнувшим в него живой и смелый дух любви к Родине, дух непримиримой борьбы за нее, за высокие идеалы человеческой жизни, и просто за русский лес. Он присмотрелся и смог «различить, как вздымался в своей норке хрустальный буторок и сплетались струйки бессонной воды.»

«Оставалось напиться на весь остаток жизни той живой воды...»

Во время своего последнего свидания с родничком Иван Матвееч встречается с маленьким крестьянским мальчиком, таким же, каким был он сам много лет назад, который за годы нашествия врагов тревожно и ревниво охранял народное сокровище...

Таким образом осуществляется передача «наследства» в самые верные, самые чистые руки — в руки представителя нового поколения нашего народа.

«Казалось, весь затихший русский лес прислушивается сейчас к знаменательному знакомству, имевшему впоследствии первостепенное значение в его судьбе.»

В этом третьем и последнем описании родничка рельефно выступает его третье и, может быть, самое значительное свойство: вечность «веселого, пенного, мудрого вещества», как такового, и его принадлежность

одному лишь народу, крестьянству, передающему его, как «ладонку матери» или чудотворную икону, из рода в род.

И никакие превратности судьбы России, будь-то татарское иго, фашистская оккупация или интернациональный коммунизм, не могут уничтожить ни национальное самосознание, ни подлинный патриотизм, ни тот светлый религиозный дух, в честь которого Достоевский окрестил наш народ «богоносцем».

Пока вздымается хрустально чистая струйка, пока стоит над ней строгим стражем непроходимый русский лес, пока склоняется над ней русая головенка крестьянского мальчика — до тех пор жив наш народ, жива наша великая Родина...

О ГЕРОЯХ...

Их много в романе. И что поражает, — самые маленькие и незначительные герои по ролям, предназначенным им в романе, — эпизодические — иногда живут куда ярче, чем герои вторых ролей. Человеческие образы — несомненная большая удача автора. Впечатление от «Русского леса», как от большого куска прожитой самим читателем жизни. Там одного встретил, приехал в Москву — другого узнал... И в минуты досуга перебираешь в памяти долгие и короткие встречи, значительных и незначительных людей, и относишься к ним, как к накопленному тобой самим жизненному опыту. И как-то не выходит делить их на положительные и отрицательные персонажи, не подходит с ними, живыми, обращаться так, будто они выдуманы. Поэтому, проявляя к ним должное уважение, мы сразу отделим живых от придуманных и остановимся на живых, лишь в конце затронув литературные манекены.

Начнем с женских образов старшего поколения. Это — жена Вихрова Елена Ивановна, сестра Вихрова по отцу — горбатенькая Таиска и, наконец, Наталия Сергеевна, всю свою жизнь любившая Прасианского, имевшая от него дочь, и под конец жизни оставшаяся одинокой, с маленькой внучкой. Дочь ее умерла.

С ней первой сталкивается Поля, приезжая в Москву. Сразу же происходит между ними, незнакомыми женщинами, очень значительный и глубокий разговор. Перед Наталией Сергеевной, старой, одинокой женщиной, у которой все уже в прошлом, стоит восемнадцатилетняя прелестная девочка, полная самых радужных надежд, светлая, радостная, влюбленная в жизнь. Она невольно любит его, вспоминая и себя в этом возрасте, — молоденькую курсыстку, горячую революционерку, ожидавшую от жизни так же много, как и Поля

Вихрова. У нее вдруг появляется нестерпимое желание поделиться с ней своей жизненной мудростью, подарить ей свой жизненный опыт, охранить ее, может быть, от того горя и разочарования, которое для каждого из нас с избытком приготовляет жизнь. Штопая чужие прязные чулки и этим зарабатывая на хлеб для себя и внучки, Наталия Сергеевна говорит Поле:

«Запомните, что я вам скажу... непонятное само разъяснилось впоследствии. Когда жизнь допирала до тла, то в пепле остается одна последняя золотинка. Она бежит, гаснет, и потом наступает холод... Так что в ней-то, в той последней искре, и заключен весь опыт пройденного пути. Вот вам моя золотинка... Люди требуют от судьбы счастья, успеха, богатства, а самые богатые из людей те, кто как раз щедрей всех других раздавал себя людям. Что касается меня самой, я выяснила эту истину слишком поздно...»

Следуя этой поздно выясненной истине, Наталия Сергеевна не уезжает с внучкой на восток, а отправляет её одну, принося в жертву людям свою последнюю привязанность, свою единственную любовь. Она остается в военной Москве, к которой все ближе подбирается фронт, стойко и неизменно исполняет она свой долг перед народом и родиной, помогает раненым, тушит зажигательные бомбы, заботится о чужих, нуждающихся в поддержке людях... И гибнет на своем посту во время очередной бомбардировки. С размохженными ногами, в предсмертном бреду, она все стремится к тем, кто нуждался в ее помощи. До последней минуты жизни она волнуется: «Это ужасно, я даже за молоком не смогу сходить, когда Зоянька вернется...»

Так ушла из жизни женщина, «побывавшая на самом вершине жизни», по ее собственному признанию, спустившаяся затем в самый «низ», и только там, в этом низу осознавшая наконец и воплотившая в свои дела евангельскую истину...

Наталия Сергеевна — представительница старой дореволюционной интеллигенции, сломанная революцией, не сумевшая или не захотевшая найти свое место в новой чуждой ей жизни. Она вошла в нее только в тот момент, когда над всей нашей страной нависла прозовая туча. И вошла в нее так, как могла бы войти с первых дней советской власти. В ее образе заключается великий смысл: каждый, совершенно независимо от его политических убеждений, может и должен помогать и служить своему народу, — так, как умела всю свою жизнь это делать горбатенькая сестра Вихрова — Таиска. Простая крестьянка, проницательная

ишая все свое детство, ходившая в юности на поденную работу, с первых лет своей жизни окунувшаяся с головой в самую страшную нищету, сразу открывает ту истину, о которой только в конце жизни узнала Наталия Сергеевна, — радость и смысл бытия в служении ближнему.

Образ Таиски — один из прекраснейших образов романа. Эта женщина, изуродованная случаем и поэтому лишенная личного счастья, уже в зрелых годах поселяется с братом, деля с ним все его горести и радости. Кропоткая и тихая, любящая и греющая каждого своей любовью, бесхитростной и ясной, Таиска входит в душу и вызывает горячую любовь у читателя. Весь ее облик монолитен, музыкально певуч, как и ее простонародная ласковая речь, духовно здоров и на редкость чист. По той беспредельной нежности, с каким очерчен этот образ, можно наверняка сказать, что Леонов не покупил своей любовью к Таиске и озарил ее. Образ Таиски переплетается с образом родничка — это образ русской крестьянской женщины, воплощающей в себе богатство и чистоту духа.

К первым двум примыкает и третий женский образ — жены Вихрова, Леночки. В раннем детстве ее подкинули в усадьбу богатых помещиков. Всю свою жизнь Леночка провела на ролях полубарышни-полуприживалки. Духовно-ущербная жизнь наложила на нее свой жестокий отпечаток. Ее неудачный брак с Выхровым заключает в себе тяжесть лжи: она вышла замуж не по любви, а из благодарности к человеку и из еще более недостойных побуждений — уйти от тех неприятностей, которые ей, по ее мнению, пролили: расплата крестьян с ней за ее принадлежность к барскому дому. В течение нескольких лет она постепенно приходит к мысли, что честнее и лучше порвать с нелюбимым, но обожавшим ее мужем и уехать, начав трудную самостоятельную жизнь. Забрав маленькую дочь, она неожиданно уезжает из Москвы к себе на родину. Работая в крестьянской больнице фельдшерницей, Леночка целиком отдает себя труду, по целым дням не возвращаясь домой и зарабатывая прощение у народа за свою минимую вину. С годами она приходит к сознанию, что «радость отдавать себя людям неизмеримо выше радости брать с них и что именно на эти две категории делаются все люди без изъятия.» Всегда суровая, замкнутая, суховатая, до предела старательная и работоспособная, Елена Ивановна к концу своей жизни обрела тот покой и душевную чистоту, о которой мечтает для всех людей ее дочь Поля.

Все три образа, абсолютно разные по чер-

там и свойствам своих характеров, связаны между собой в неразрывное целое одним: стремлением к приобретению вечных духовных ценностей и к отрицанию материальных.

Из мужских образов — два основных, противопоставляемых друг другу, как добро и зло мира, — профессор Иван Матвеевич Вихров и профессор Александр Яковлевич Грацианский.

Образ Вихрова, профессора-идеалиста, не отвлеченного теоретика, а живого страстно проповедника своих взглядов, очень нам знаком и любим нами. Русский лес — русское богатство. Но русский лес не только материальная ценность нашей страны. Он — живой верный друг нашего народа, без него и реки не текут, без него и поля не родят, без него и народу нашему придется туго. Все великое значение леса раскрывает Вихров перед студентами-первокурсниками в своей вступительной лекции. Принципиальный, честный, упорный, он, несмотря на травлю и гонения, твердо стоит на своем, плывет против течения, выступает против взятого партией курса в народном хозяйстве.

Истина для него выше любых материальных выгод, выше славы, выше своей жизни. Депутат лесов, как насмешливо величают его противники. В образе Вихрова как бы сошлись все те, кто стоял на защите русских ценностей, будь-то леса, памятников старины, произведений искусства. Достаточно только вспомнить, какое количество старинных церквей было уничтожено за эти десятилетия и сколько людей — профессоров и просто научных работников за одну только защиту их исчезло с лица земли. Вихров стоит на страже тех ценностей, которые человек, уничтожив, не в силах восстановить.

ГРАЦИАНСКИЙ И ГРАЦИАНЩИНА

Грацианского приходится выделить в особую главу. Он не только образ в романе, он носитель определенного явления, которое войдет в нашу жизнь под названием грацианщины. Грацианский абсолютно отрицательный герой, что слепка утомляет при чтении, потому что в живом, материальном нашем мире не существует ничего абсолютного. Невольно хочется увидеть в нем такие черты, за которые можно было бы его пожалеть или простить, но автор к нему жесток до чрезвычайности. Чем-то даже демоническим веет от Грацианского. Такая заостренность образа имеет свой глубокий смысл. Его, как рычагом, пытается

Леонов выкорчевать всех грацианских из нашей жизни. Грацианский — это центрик, с вытекающими из этого всеми последствиями: подлостью, трусостью, злостью, завистью и неограниченным стремлением к захвату власти. Вся его фигура очень сложна и типична для советского режима. Критику М. Щеглову как раз и досталось за то, что он посмел, добиваясь в своей статье о «Русском лесе» до корней происхождения грацианщины, выразить мысль, что «не жандармы сделали Грацианского таким, какой он есть, а ряд общественных условий, создавших пореволюционную поросль старого мещанства...», иными словами говоря — сама советская система.

Точно и просто определила Таиска роль в нашем государстве подобных грацианских. На вопрос Поли о причине распри между отцом и Грацианским она образно, по-простонародному сказала:

«Видишь, Поленька... ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Скажем, заболела ты... и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и обрехнет доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что, тьме чужая! Так ведь за такую неправду взашей гнать его надоть али даже в казенный дом сажать о сорока решетчатых окошках... не так ли?»

Продолжая совершенно верную таискину мысль, мы скажем: не только таких докторов надо гнать, но в первую очередь главных виновников, перед которыми доктора стараются, — подобных «мамаш», которых даже этим именем и называть страшно. Таискино замечание ценно тем, что оно правильно ставит акцент вины, она прямо указывает на главного виновника, ставя Грацианского на второе место по общему преступлению.

Советскому правительству скоро сорок лет неуютно знать о том, что наш народ болен. Болен голодом, нищетой, рабством. Наша родина больна: ее расхищают, грабят, увечат...

Страшным предсказанием для нашего народа звучат слова старого и мудрого лесника Калины:

«И как побьете до последнего деревца русские-то леса, тут и отправитесь, родимые, за хлебушком на чужую сторонку!»

Роль грацианских понятна каждому — недаром и Леонов, и Щеглов с такой страстной ненавистью говорят о них. «Торжество трусливой силы», как определяет эту породу сам Леонов. Изоляционной прослойкой стоят такие грацианские между правительством и народом во всех областях нашей

жизни. И члены партии, и кандидаты в академики, а то и члены Академии наук, они прилагает всю свою энергию, чтобы выдвинуться и заслужить доверие у правительства.

Это относится не только к науке, но и к литературе: «То же самое касается и литературных критиков, говорящих от имени целых коллективов, судят кто «наш», а кто «не наш». Это он-то судит, несчастный душевный карла, самгинское семья!» — горячо восклицает Марк Щеглов.

Продолжая основную мысль Щеглова о происхождении прадианщины, мы добавим, что только советский строй и мог породить такое уродливое явление. При тоталитаризме и деспотии единственной партии над всем остальным государством обязательно должна возникнуть такая прослойка прислуживающих власти за хорошую подачку. При страшной дифференциации народа на власть имущих и бесправных обязательно найдутся такие прадианские, которые, продавая всех подряд оптом и в розницу, будут удовлетворять свое сатанинское стремление, довольствуясь ролями второстепенных тиранов. При ином строе, в иных условиях, им просто не за чем появляться на свет.

Ненависть ко всему чистому и святому — эпизод у родничка, когда Прадианский символически втыкает в него палку — является характерной чертой этих людей.

Прадианщина — страшное явление в современной России потому, что прадианские с одной стороны, изолируют собой власть от народа, с другой — проводят каждое мероприятие «сверху», усиливая его преступность и очень часто доводя до полного абсурда.

Прадианские — это те, которые хлебнули «мертвой воды», по выражению Леонова. И это те, о которых сказано, что «родившийся от плоти есть плоть». А плоть смертна, не родившись вторично от духа. Именно поэтому Прадианский, чувствуя инстинктивно свою окончательную смертность, и уделяет столько времени мыслям о смерти. Недаром пишет он целую монографию о самоубийстве и в злланном состоянии, чувствуя приближение конца, животной радостью радуется продлению каждой минуты своей жизни.

Очень характерны его мысли о смерти, записанные в толстой клеенчатой тетради, куда он собирал все случаи самоубийств знаменитых людей.

«Хотение смерти есть тоска Бога о неудаче своего творения» и «Это (самоубийство. Н. Т.) есть единственное, в чем чело-

век превосходит Бога, который не смог бы упразднить себя, если бы даже пожелал...»

Таков жалкий бог Прадианского, такой же себялюбец, такой же неудачник, пожелавший бессмертной славы, как и сам Прадианский.

Каждому дано понимать Бога по отпущенным ему свыше способностям, а поэтому и творить для себя Бога по своему образу и подобию...

Старость и крушение всей жизни Прадианского почему-то не вызывают жалости к нему, хотя вероятно было бы для всего образа и выгоднее, если бы его хтелось пожалеть, ну, хоть презрительной жалостью. Не помогают даже его жалкие слова, вроде:

«— Ты большой человек, — говорит он Вихрову, впервые признавая за ним победу, — и у тебя имеется твой неиссякаемый родничок живой воды, а я... я очень несчастен, Иван.» — У читателя под конец романа возникает чувство «ненастоящести» Прадианского. Он делается слишком абстрактным. С нашей точки зрения — это художественный недостаток образа, так как к абстрактному, обычно, и чувства питаются «абстрактные».

Собственно говоря, живой Прадианский у нас в СССР — это Илья Эренбург. В погоне за личной славой, устроенностью, всяким благополучием, он продавал себя, не веря ни в чорта, ни в Бога. А теперь, на старости лет, как и Прадианский, задумался о прожитой жизни, зародились мысли о смерти, поднялись со дна души призраки прошлого, и, остановавшись над своей одряхлевшей и прязной душой, Эренбург написал «Оттепель». И благодаря этому, Эренбурга можно еще как-то представить человеком, а Прадианский, постепенно превращаясь в третьестепенного люцифера, ускользает из наших человеческих рук.

Есть и еще одна черта, свойственная и Эренбургу, и Прадианскому, и вообще всему этому изоляционному правительственному слою: это — ненависть к своим повелителям, к власти. Чувство это должно быть куда непримиримее и страшнее, чем ненависть к партии и советской власти у самого народа, потому что цена за погубленную душу — грош, а унижений, а подлости, а раболепия — хоть пруд пруди. Вряд ли прекрасная квартира Прадианского или дача Эренбурга заставят утихнуть их ненависть и презрение к самим себе и к своим господам, которым служат они «верой и правдой». Наш народ не знает ни особняков, ни центрального отопления, а

зачастую даже и электричества, зато и не знает, как и за какую цену можно продавать каждый день свою собственную душу.

Когда Грацианскому становится уж совсем неловко от своей омерзительной роли, он, исподволь, где не очень опасно, покусывает своих хозяев.

Забавно слушать его высказывание о будущем советской литературы, забавно потому, что в данном случае он и остроумен, и зол, и прав. В разговоре с комиссаром Морщишкиным, положительным манекеном, он тонко издевается:

«И все же в вашем замысле я вижу высокий прообраз будущей литературы, когда окончательно будет изгнан индивидуальный почерк автора, когда будут писать все без исключения, взаимно поправляя друг дружку, так что наборщик за линотипом будет вносить творческие поправки в сочинения своих современников. Не поймите мне как выпад против направления нашей передовой, жизнеутраченной, без всяких теней литературы: лишь по врожденному революционному скептицизму мое поколение отвергало жития святых... Впрочем, такого рода опресноками и кормятся вначале все религии мира, пока их не потянет от скуки на ветчину с горошком...»

Или, говоря о вступительной лекции Вихрова, он предупреждает его «по-дружески»: «...читал я и за голову хватался. Ну, зачем тебе снова и снова дразнить тусей, Иван? Ты сообрази только: они объявляют все это опиумом для народа, а ты...»

Трагедия грацианских заключается и в вечной неприкаянности и в вечном раздвоении: они — власть, они и народ... Сама судьба мстит им за их прехи.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ МАНЕКЕНАХ

Все перечисленные до сих пор образы являются и типичными и живыми. Самый сильный и удачный из них, конечно, образ Грацианского. Даст Бог, он войдет в нашу русскую литературу наравне с такими образами, как Чичиков, Плюшкин, Обломов, Беликов и другие, ставшие именами нарицательными. И велика заслуга Леонова не только в художественном мастерстве, а в том, что смог он своим чутьем большого писателя уловить и запечатлеть с такой остротой «грацианщину» современной России.

Но наравне с целой галереей живых людей, в романе существуют и суперположительные герои коммунизма: Крайнов, Варя, Морщишкин. На них мы и хотим корот-

ко остановиться лишь потому, что сейчас, перед Вторым съездом писателей вопрос о положительном герое снова заострился, и во-вторых, потому, что каждый раз невольно останавливаешься перед одним и тем же удивительным явлением в советской литературе: с какой жестокой методичностью изменяет писателю талант, когда ему приходится говорить не от себя. Поистине талант — это дар Божий! И в-третьих, — как несмотря на продиктованный урок «сверху», правда прорывается сквозь вынужденную ложь и талант писателя, страдая от фальши, помимо воли автора, сам вносит свои коррективы, восстанавливая художественную правду. Процесс этот очень сложен и интересен.

Леонов слишком большой писатель, чтобы у него по роману бродили примитивные схемы. Поэтому, например, подруга Поли Варя, хоть и отличается тем, что говорит исключительно прописными истинами, является пай-комсомолкой и так далее, на глазах у читателя изходящей в начале романа схемы постепенно превращается в типичную коммунистку со всеми свойственными ей неприятными чертами. То же происходит и с идеалом большевика — полпредом, «птицей большого полета», уж судя по тому, что он двадцать лет удержался на этом месте, по меткому замечанию кого-то из героев, — Крайновым. С Морщишкиным дело обстоит иначе: пока он пишет свою диссертацию, в нем еще искрится кое-что живое, но как только он получает назначение комиссаром на бронепоезд, он сразу застывает настолько, что даже как-то не замечаешь его героической гибели.

Крайнов, Варя и Морщишкин обладают целым рядом общих черт, свойственных и в жизни «стальным» большевикам: душевным холодом, подозрительностью, отвратительной бдительностью, партийной узостью, и духовной тупостью.

Приведем один из примеров: Крайнов приезжает в Москву и навещает своего товарища юности и друга Вихрова, в дни, когда Иван Матвейч и его сестра Таиска потихоньку умирают от голода. Таиска идет в очереди потереяла продовольственные карточки. Единственное, чем может угостить хозяин гостя, это — теплом, истратив последние дрова. Дело происходит в суровую зиму 41-42 года. Притащив с собой целый ворох яств — привилегия богатых полпредов, — Крайнов за все время разговора не замечает той нищеты, в которой находится его друг. Его интересует, как истинного большевика, лишь, из каких побуждений Грацианский правил Вих-

рова? Уж не вредитель ли он, или шпион, упаси Бог? На другой день он уезжает дальше, оставляя Вихровых умирать от голода и холода. Разве не типичный образ «положительного большевика»?

Таких примеров можно привести много: Морщикин, честный и принципиальный коммунист, в разговоре с Грацианским, идет на явную провокацию и ложь только потому, что ему кажется, что Грацианский что-то скрывает.

Вряд ли Леонову хотелось показать их правдиво, потому что мы не можем представить, что Леонову... не хотелось выпустить свой роман в свет.

Так правда прорывается сквозь замазанные розовой густой краской образы — только розовой, в то время, как на остальных героев прошли целые гаммы оттенков.

А эти бледны и бедны, это как раз те, кто не пил ни «живой», ни «мертвой» воды и находятся по ту сторону зла...

О ПРОБЛЕМАХ НАШЕЙ СТРАНЫ

Так же как из заданного положительного героя не удается большому писателю создать мертвую схему, так происходит и с животрепещущими проблемами в нашей стране. Если бы Леонов был не Леонов, а Галина Кузнецова, например, он бы избежал скользких тем. А при таком положении, хоть рассудок и предупреждает, да талант диктует. И к великому счастью нашей литературы на страницах романа всплывают важные и насущные вопросы.

Основное место в романе занимает проблема ответственности детей за прехи своих отцов перед партией. В алгебраическом уравнении коммунизма « $a=b$ », « a » — означает партию, а « b » — народ. И когда Леонов вводит проблему ответственности в узкие рамки ответственности перед партией и правительством, то он, исходя из данного уравнения, делает подстановку: слово «партия» заменяет словом «народ».

Поля, дочь Вихрова, и Сережа, приемный сын Вихрова, в действительности же сын раскулаченного земляка Ивана Матвевича и товарища его Демиды — оба страдают за своих отцов. Оба они являются типичными представителями современной советской молодежи. Не красной, а черной нитью через весь роман проходит душевная мука за вину их отцов. Вина Ивана Матвевича заключается в том, что он защищает русский лес от расхищения в интересах будущего своей же родины. Вина сережиного отца заключается в том, что Сталин издал приказ о раскулачивании зажиточных крестьян и середняков... Отец Сергея бе-

жит, как загнанный зверь, с маленьким сыном на руках, от своих преследователей.

Трагедия Поля и Сережи в том, что они принимают мнимые вины их отцов за настоящие. В этом, в непрерывных ощущениях своей бесконечной вины за родителей и сказывается вся изломанность детских душ, трагическая раздвоенность в отношении к партии и родителям.

Критик М. Щеглов поражается такому подчеркнутому чувству виновности и упрекает писателя в огульности красок. А напрасно, потому что именно в этом и отражается со всей жестокостью и правдивостью неумирающая по сей день у нас в стране месть детям за их родителей.

Каждому гражданину Советского Союза прекрасно известно, что означают репрессированные родственники или родственники за границей, или же подмоченное социальное происхождение.

Не даром Поля боится, что подружки, если узнают о ее отце, — затравят насмешками да допросами... Поля прямо заявляет чужой, только что попавшейся ей на пути женщине: «Я ненавижу своего отца!»

После случайного разговора с Грацианским в погреб во время налета, когда по его трезвым намекам она начинает будто бы понимать, что отец ее занимается сознательным вредительством, что у него в прошлом были какие-то темные благодетели, она идет дальше. Почти умирая от страдания и тоски, но будучи воспитанной не родителями, а комсомолом, Поля решает пойти в райком комсомола, чтобы раскрыть «преступление» отца. Даже ортодокс Варя пугается ее решения. Поля спрашивает ее с тоской:

«— Ты не прогонишь меня? — Она тотчас поправились, чтоб не обидеть Варю: — и вообще, как ты думаешь... все меня не прогонят?»

— Кто тебя прогонит, откуда?

— Ну, вообще... из народа моего, из страны.»

И затем, почти истерически:

«... я нигде отсюда не уйду... потому что я заслужу прощение всей жизнью моей! Знаешь, я буду делать самое трудное... уж когда все откажутся, а я пойду и сделаю. Я за нас обоих отработаю... как ты думаешь, хватит меня на двоих, а?»

Она отца своего имела в виду.»

До какого состояния нужно довести молодежь, чтобы она шла предавать своих родителей на смерть и муки, или в истерику билась от страха, что за неизвестную вину отца ее прогонят вон из ее страны?

Памятник Павлику Морозову стоит еще

у нас на родине, удивляться Поле, право, нечего...

Беспрестанные мысли о своей виновности, чуть ли не преступности перед партией, заставляют Полю так страдать, переживать такие горькие и страшные часы, о которых вряд ли может догадаться любой юноша или девушка свободной страны — они просто не поймут, о чем она говорит...

Недаром полин идеал сводится к любви, дружбе, душевной чистоте, помощи павшим и ослабевшим, и чтоб детей не убивали и не мучили. Эти слова она первым делом может отнести к самой себе. Поля мечтает о том, чего как раз нет в ее восемнадцатилетней жизни, чего ей недостает, как недостает кислорода для дыхания любому живому существу. Вся ее энергия, изобретательность, ум и хитрость направлены на то, чтобы раскрыть и до конца понять, в чем виноват ее отец? Она возит повсюду за собой его многочисленные и тяжеленные сочинения, чтобы добиться самой, в чем же он грешен перед советской властью?

Много надо пережить ребенку в детстве унижений, одиночества, стыда и страха, впитать в себя яд извращенных понятий для того, чтобы так реализовать на явления жизни. Ведь и на войну идет она исключительно из этих же побуждений — реабилитировать себя и отца в глазах партии.

С глубокой горечью говорит Вихров своей дочери в день первого свидания после многолетней разлуки:

« — Мы слишком часто упускаем из виду, что дети запоминают некоторые ошибочные и болезненные манипуляции с их отцами и у них же на глазах. Но в данном случае ты вполне можешь верить мне, дочка. Я не крал, не продавал Отечества, не обманывал, хотя... и должен признать себя недалеким человеком, если за целую жизнь не смог доказать самые банальные очевидности моему народу (партии. Н. Т.).»

Страшно подумать, что десятки лет травили человека лишь за то, что он хотел блага своей стране. Вихрова судьба в лице КПСС помиловала. А сколько таких вихровых во всех областях науки, искусства, строительства, сельского хозяйства, промышленности было не только загнано и затравлено, но и замучено на смерть!?

Та же история и с Сережей, который стыдится и страдает за обоих своих отцов — приемного и родного. Потому что один — известный профессор, а второй — раскулаченный. Сережа появляется в семье Вихровых вскоре после отъезда Елены Ивановны с маленькой Полей.

Сильная и тяжелая сцена, когда перед

крыльцом Вихровых появляется человек с маленьким мальчиком за руку. Он садится с ребенком на ступени, и так неподвижно сидят они под проливным дождем...

«Он не ломился в квартиру, ни в чем не настаивал и, верно, ушел бы сразу, если ему велеть постороже...»

«Когда Иван Матвейч вернулся в кабинет, Таиска раздевала мальчика, валившегося из ее рук от усталости. Через минуту он оказался в том запретном кресле с высокой спинкой и уже спал с пятныстым, отблески костра напоминавшем румянцем на подпухших от холода и утомления щеках.»

Демид, отец Сережи, и Вихров сидят долго друг перед другом за столом и тихо разговаривают. Вскользь упоминает Демид, что сторела его усадьба — постарался, дескать, напоследок, чтоб уж если не его, то чьи-то стало...

«Вскоре тость заторопился на вокзал, и лишь приниженная благодарность за гостеприимство выдавала его смятение, с каким навсегда уходил отсюда.»

«... с какой тоской напоследок коснувшись он нагретой печи, словно горстку тепла унести с собой хотел в непогоду, или как ни хлеба, ни рубля не просил в дорогу, но украдкой, ипряхчи, утаил зажатый в пальцах кусок вихровского сахара, или — как пристально, наконец, покосился на сына с таискиным пряником в кулачке...»

Обещав вернуться с вокзала через пару часов, Демид не вернулся никогда... Таково было появление Сережи в вихровской семье.

За страничками скупого текста стоит вся трагедия нашего крестьянства, а у нас, видевших воочию весь процесс коллективизации и искусственный голод на Украине, сразу возникают картины по ассоциации: вот перед нашим окном в первом этаже стоит молча оборванный опухший крестьянин. Он не просит, он стоит и ждет — подадут или не подадут... Молча берет кусок драгоценного хлеба, молча кланяется и переходит к следующему окну... Прогонят, молча идет дальше... А через несколько дней — на углу поперек протуара лежит вытянувшийся, серый, с мухами на лице...

В нашей квартире — «кулак» с семьей детьми. От каждого звонка он бежит в кухню и уходит из дому через черный ход. Он беглый, спасается от каторги...

Это все — образы нашего детства. Мы воспитывались и росли на них. Мы — современники Поли и Сережи. И нам совсем не кажется странным или выдуманым автором чувство злланности, страха, или

чувство тяжкой несмываемой «винты» перед партией и НКВД.

Пусть не удивляется Марк Щеглов и не сравнивает молодежь в романе Леонова с молодежью в повести Веры Пановой «Времена года». Между теми и другими разница в десять лет, из которых четыре года приходится на вторую мировую войну, на целую новую эпоху в жизни нашей страны. Многое с тех пор изменилось, последние надежды улетучились вместе с солидной долей страха. И то, что дети у Пановой продолжают любить своего отца-растратчика, а у Леонова Поля ненавидит своего отца, вполне оправдано и понятно, потому что наступают иные времена, иные нравы.

ОТЦЫ И ДЕТИ

И мимо этой жгучей проблемы не проходит Леонов, спасибо ему. На двух-трех страницах романа раскрывает он всю черную глубину извращенного воспитания молодежи и ставит вопрос о вине отцов.

Достаточно только послушать суждения Сережи о вечных человеческих ценностях:

«... Так, по прочтении евангелия, например, Сережа с печальным видом высказался в том смысле, что для рабовладельческой эпохи это довольно смело и даже не без социального огонька, но — «боже, кому придет в голову начинать стройку с крыши?» Он сожалел, что хоть и расположенный к галилейским рыбакам, но недостаточно изучающий окружающую действительность Христос не учел опыта Спартака. Он еще признавал с натяжкой, что книги этой хватило людям на две тысячи лет, но ведь сам же Иван Матвейч воспитывал его в мысли, что почти весь этот срок она держалась на подавлении разума и, утверждая первенство детской ясности и нищеты, помогала утвердиться деспотии тьмы и денег.»

Таким образом раскрываются во всей своей неприглядности те духовные критерии, которыми пользуется наша молодежь. А почему, например, в спорах с отцом, Сережа, как правило, загоняет Ивана Матвейча в тупик? Да потому, что в душе веря одному, Иван Матвейч не смеет учить своей вере собственного сына. Он не хочет вносить разлад в его душу, отдавая его на волю «законных» воспитателей. Он хитрит, увиливает от прямых ответов и уточнений, а когда его возмущенная и оскорбленная сережинскими наскоками душа не выдерживает и протестует и он непоследовательно пытается восстановить правду и справедливость в голове сына, Сережа естественно бьет его собственным же его оружием: — Ты же сам говорил, ты же сам

меня так воспитывал...

Проблема отцов и детей — вечная. Но у нас в СССР она принимает особую окраску — вынужденной лжи собственным детям, да еще в самом затаенном и святом — в области духовных идеалов. Потому и конфликт между отцами и детьми, века и века существовавший и существующий, в данном случае особенно обостряется.

Отцы, зачастую оставаясь в душе идеалистами со времен дореволюционной России, но невольно помогая партии формировать из своих детей духовных недорослей, сами же себе роют яму, постепенно затем превращающуюся в глубочайшую пропасть, разделяющую два противоположных мировоззрения. Тема эта уже неоднократно поднималась в последний год в целом ряде произведений: и в повести В. Пановой «Времена года», и в «Оттепели» И. Эренбурга, и в пьесе Зорина «Гости».

Приведем еще несколько характерных высказываний Сережи по поводу искусства и «старого мира».

«Еще более не повезло у Сережи творцу «Исповеди», которую он назвал биографией гениального бездельника, занявшегося вместо баррикадной борьбы с феодализмом торговлей своими сомнительными тайнами.»

Так же категоричны его представления о будущей литературе: «Все эти романы скроены на одну колодку, везде происшествия жизни нанизываются на нитку любовных отношений. Я бы заменил этот жанр чем-то вроде документальной летописи, с усилением полезно-познавательной нагрузки. Пора, пора и литературе вешать свой рабочий табель на общую доску наравне с прочими строителями будущего!»

А на вопрос отца, возмущенного его словами, — «кто же станет читать твои прогнозы?» — Сережа с партийным жутковатым хладнокровием отвечает:

«— Ничего, станут читать, если не будет ничего другого...»

От таких уверенных в своей силе слов веет застенками МВД, Бутырской тюрьмой, далекими сибирскими концлагерями...

Ничего, и зайца можно заставить спички зажигать... если бить... И даже Афродита, копия Луврской, не произвела на Сережу впечатления. Он ничего иного не находит, как выразить желание прикрыть ее наготу. И тут же вспыхивает не на шутку гневом Иван Матвейч:

«— Да ты же просто монах, Сережа! — Даже не Савонаролла, а из пятого века александрийский монах. Опомнись, не кидай камнем... Это может обидеться и на-

долго уйти из мира. Перед тобой же всечеловеческая красота...»

Думается нам, что большую горечь и глупое раскаяние должны переживать в такие минуты наши отцы! Раскаяние в том, что сам виноват, сам толкнул, сам своими руками лишил свое дитя того общечеловеческого богатства и радости, которая называется красотой...

Здесь-то и появляется вдруг Морщихин. Он вмешивается в спор отца и сына и приводит его к общему знаменателю — выступлению Ленина на третьем съезде ВЛКСМ. Авторитет немалый — особенно из уст чужого, кто его знает, откуда и кто он? Оба, склоненные, слушают Морщихина. Мы понимаем, конечно, цель Леонова: партийными авторитетными словами, чтоб критика не смогла придаться, закрепить наше право на настоящее, подлинное искусство. Потому что каждому ребенку ясно, что никакой Ленин ни на каком съезде, хоть бы это происходило в далекие времена, не сводил разошедшихся над пропастью берегов... Именно Ленин и направил нашу литературу по дорожке партийного заказа, загнал ее в тот тупик, из которого она и по сей день не может вырваться. Но мы не собираемся спорить об очевидных вещах. Мы понимаем и даже приветствуем маневр писателя: если хоть таким образом можно приблизить отцов и детей, и если хоть именем Ленина можно вернуть Сереже утраченное им чувство духовной красоты, то пусть будет так.

Но мы, поколение детей, прошедших все эти искусства одновременно с Сережей и Полей, хотим сказать от себя: все эти цитаты из Ленина и с древних съездов — не выход. Это лишь временная иезуитская уловка. Только правда и искренность могут перекинуть настоящий и крепкий мост от отцов к детям со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы не можем не восхищаться и не завидовать тем детям, отец которых совсем недавно на партийном собрании во всеуслышанье объявил о своей православной вере и о воспитании в этой вере своих детей. Это было его причинной отказ от антирелигиозной работы в народе. И он был член партии с 1942 года.

А как Поля относится ко всем этим вопросам? Поля воспитывалась без отца, поэтому она далеко уступает Сереже в образованности. Может быть именно поэтому у Поли больше свободы, несвязанности в мыслях, она думает куда самостоятельнее Сережи. В будущем, при коммунизме, она видит искусство иначе, в индивидуальном почерке каждого творца. Поля горяча, чиста, порывиста, она вся в динамике. Образ ее формируется у нас на глазах. Она в веч-

ных поисках истины. И если, приезжая в Москву, Поля сообщает между прочим об одном своем товарище, сначала «хотевшим иметь сердце из нержавеющей стали», а на проверку вышедшем из комсомола и венчавшемся в церкви, — глубоко осуждающе, то в конце войны Поля реагирует на вещи такого рода совсем иначе. Из девочки Поля превращается во взрослую женщину, страдания войны, страх смерти, решение пойти на подвиг — Поля соглашается быть заброшенной к немцам с самолета в тыл, — формируют из нее вдумчивого, много видевшего и пережившего человека.

Избежав чудом позора и смерти, — ее спасает от немецкой казни староста села, оказавшийся Демидом, отцом Сергея, — Поля бежит босиком по снегу в лес... Случайно попадает в землянку к крестьянке-старухе. Та ее припревает, кормит и дарит ей валенки умирающего за занавеской деда. А когда Поля собирается в путь, старушка наставляет ее на дорогу: «... А лучше иди все напрямиком, по автобану, на волю Божию. Эх ты, вояка наша сирая! — И оттого, что больше нечем было снабдить ее в дорогу, покрестила разочка два, а Поля приняла это благоговейно, хоть и комсомолка.»

Образ Поли в какой-то степени отражение и продолжение образа ее матери Елены Ивановны. Необходимо и о ней сказать несколько слов. Если Поля идет на фронт, чтобы искупить вину своего отца и свою собственную, потому что она его дочь, а Сережа идет искупать вину своего отца сначала простым рабочим в железнодорожном депо, а затем — на бронепоезде поже на фронт, то Елена Ивановна занимается искуплением своей вины уже десятилетия.

Если в детях это чувство ответственности и вины наполовину подсознательно, наполовину внушено определенным воспитанием, то у Елены Ивановны оно добыто опытным путем, если не ее собственным, то на примерах близких и знакомых. Елена Ивановна пережила годы революции, разделяя вполне обоснованные страхи своей помещицы, у которой росла и воспитывалась. Она как бы сидела между двумя стульями — народом — крестьянством и помещиками. Причем, если первых смертельно боялась, то вторых ненавидела.

В такой сложной и тяжелой психологической обстановке вырастает Леночка. Со временем чувство виновности за свою одну-единственную принадлежность к дворянству перерастает у нее после революции уже в страх за свое «позорное» прошлое перед партией. Этому процессу способствовал один разговор, при котором она случайно присут-

ствовала. Вихров разговаривал с другом юности, полпредом Крайновым. Говорили о Грацианском, перебирая его дореволюционное прошлое. И...

«... она ужаснулась мысли, что и попросту столько лет давняя провинность еще способна вызывать подозрения.»

Передаанный матерью «по наследству» страх и стыд за ее происхождение заставляет Полю сразу настораживаться при каждом подозрительном случае. Во время ее допроса в НКВД, перед тем, как дать ей задание пробираться в тыл для связи с партизанами, энкаведисты просят рассказать Полю ее биографию.

Волнуясь и держась за сердце, бедная девочка растерянным шопотком докладывает «подробности в своей жалкой биографии». Первое, что мелькает у нее в голове — это страх за мамину происхождение. Скрыть от этих людей ничего нельзя, они все равно все знают! И Поля будто бросается головой вниз в омут:

«... Мама моя действительно происходила из помещичьей усадьбы, но только ее подкинули туда в детском возрасте, когда она еще не понимала, как теперь... ну, наших передовых идей и вообще классового раскола. — Поля вопросительно поглядела на обих, но те слушали её, не прерывая и не подымая тлаз».

В этой сцене, как в капле, отразилась вся жизнь Леночки и Поли. С тяжким грузом неминуемой, ранней или поздней, расплаты, шла она одинокая и вела за собой маленькую дочь.

Сколько горечи, страха, боли, отчаянья заключают Полины робкие смешные слова! А сколько женщин и девочек нашей страны стоит за Полей и Леночкой?

Не таких, как они, пощаженных Леоновым, а хлебнувших в полную меру страданий и смерти...

*

Акцентируя те места в романе, в которых отображение художественной правды совпадает и с опромным значением поднятой проблемы, мы не можем пройти мимо двух сцен в произведении, которые служат как бы наглядным пособием для изучения механики дьявольских дел.

Первая сцена — это изображение собрания в Лесном институте, на котором Грацианский со своими «вертодоксами» (прекрасная находка Леонова) травят Вихрова. Ими уже заранее решено и подписано, что Вихрова лишат кафедры, а может быть им удастся добиться и еще чего-нибудь познатнее. Это своего рода, по выражению одного из «вертодоксов», гражданская пани-

хида по Вихрову.

Нет предела циничности этих людей, нет предела наглости в их словах и действиях! Уж поистине «торжество трусливой силы», торжество полноценного и законченного хама!

Вторая сцена — разговор Вихрова со своим бывшим товарищем по петербургским годам студенчества, Чередиловым. Вихров приезжает к нему на подмосковную дачу, чтобы поговорить с ним «по душам». (Накануне он дожидался у него в приемной с той же целью, но Чередилов его не оизволил принять). Чередилов — крупный чиновник, с хорошей карьерой впереди. Неожиданно появившийся бывший товарищ, а в настоящий момент — человек в опале, пугает Чередилова возможностью испортить ему карьеру. Он из осторожности не приглашает Вихрова в дом, а разговаривает с ним, стоящим во дворе, свесившимся со второго этажа своей дачи, с веранды. В доме звенят тарелки, готовятся к обеду, многочисленные гости заводят то и дело патефон, на дворе чередилковский шофер моет автомобиль... А Вихров стоит под верандой, задрав наверх голову, переминаясь от усталости с хромой ноги на здоровую... Он голоден и его мучает жажда, на дворе жара, а он шёл несколько километров пешком от станции... Он бы сто раз ушёл, но решил до конца выяснить и объясниться начистоту с бывшим товарищем; рассказать и защитить свои лесные гонимые теории... Начинается гроза. Ливень обрушивается на Вихрова, который всё еще стоит под верандой. Дождь заливают его поднятое кверху лицо. Но он до конца мужественно досказывает все, что думает и за что борется на своем поприще, а затем поворачивается и ковыляет обратно на станцию.

Эту сцену невозможно равнодушно читать... Негодование и презрение к Чередилову охватывает читателя.

Вот она, мерзость советской бюрократии! Как впрочем и всякой. Чем Чередилов отличается от Зоринского «гостя»? Та же опустошенность, та же трусость, подхалимство, подлость, бульдожья мертвая хватка в борьбе за своё жалкое материальное благополучие!

Недаром этот самый Чередилов ничего не понял в свягом вихровском родничке, когда тот показывал его ему и Грацианскому двадцать лет назад, оказывая высшее гостеприимство им обним.

Но оставив негодование и возмущение временно в стороне, скажем: если грацианские вторая по важности активная злая сила после самого правительства в нашей

стране, то чередилоры спускаются по социальной лестнице на ступень ниже — они третья по важности злая, но уже пассивная сила. Вред, который они приносят народу, огромен. Борьба с ними трудна, потому что они ничего кроме своего собственного мирка не желают видеть. Если грацианские мыслят, то эти только жуют. И их ничем и никогда не прошибешь.

Чередилоры, как и Грацианский — становятся именем нарицательным в нашей стране. Чередилоры — это второй изолационный слой вокруг КПСС, защищающий партию от народа.

Кроме того, чередилоры — точные указатели той степени дифференциации в советском современном обществе, которая в настоящий момент достигает уже своего потолка.

О НАШЕМ НАРОДЕ

Со слов о народе мы начали нашу статью, хотим ими и кончить. Русский народ, описанный Леоновым во многочисленных и разнообразных обликах, имеет свое цельное лицо. Он един в своем вечном горе, беззащитности, кротости, мудрости, трудоспособности и светлором стремлении к идеальной жизни на земле.

Под понятием народ у Леонова скрывается крестьянство. Для него он не жалеет красок, нежности, любви... Самые теплые и проникновенные слова и образы в романе принадлежат народу. Самая дифференцированная прямая речь принадлежит крестьянским героям. Совершенно неподражаем говор Таиски, в котором слышны тончайшие мелодии.

Для иных своих героев Леонов часто пользуется собственным языком, пересказывая им чужие мысли. И в таких местах невольно поражает одно чувство: чувство леоновского пилатства.

В таких местах он часто отходит в сторону и умывает руки: я вам показываю, а ваше дело решать... — будто говорит автор. Несмотря на всевозможные скидки советскому писателю, как таковому, мы не можем подавить в себе горечь и гнев, как не можем уже две тысячи лет простить Пилату его нейтралитет в деле подсудимого Христа...

— Твой же Христос, защищай его! — хочется крикнуть стоящему в позорном бездействии Пилату.

Но, в оправдание писателя, мы должны признать, что в описаниях и образах нашего народа Леонов не отходит в сторону.

За это любим мы «Русский лес», за это благодарны писателю... За старого лешаго Калину, за Таиску, побирающуюся по чу-

жим деревьям со страшной песенкой, за великана Матвея, ходившего за народной правдой в Питер, за старуху Попадюху, мать четырех ветров, за девочку на петербургском мосту, за маленького Калинку, за Демидка и даже за купца лесопромышленника Кнышова. Лес и народ переплетаются между собой так, что иной раз и не отличить: например, в эпизоде рубке леса — падающая ососна, живая, старая мать Облота, дивная в своей древней красе... Смерть ее воспринимается читателем, как человеческая. Мать Облота и старая мать четырех ветров — один и тот же образ. Так, сплетая в одно целое русскую природу и русское крестьянство, Леонов воссоздает единый прекрасный облик нашей Родины.

Каждое потрясение, переживаемое Россией, есть в первую очередь народное горе — будь то революция, будь то война...

Война 1941-1945 годов отражена в романе обстоятельно и полно: отход наших войск, военная Москва с бомбардировками, оккупированные немцами области, и наконец — освобождение от врагов.

Мы считаем, что письмо Родиона, школьного друга Поли, одно из самых острых по своей трагичности мест в романе. Оно писалось в момент отступления наших войск от западных границ в первые месяцы войны.

«Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем еще оправился: хуже любой контузии моя болезнь. Самое горькое — то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. Сожги это письмо, тебе одной на всем свете могу я рассказать про это. Происшествие случилось в одной русской деревне, которую мы проходили при отступлении. Я шел последним в роте... а может, и во всей армии последним. Меня догнала девочка лет десяти, видимо, на школьной скамье приученная любить Красную Армию... Кажется, она не очень разбиралась в стратегической обстановке. Она подбежала с цветами, которые достались мне. Я заставил себя взять букетик, потому что я не трус... матерью моей клянусь тебе, Поленька, что не трус. Закмурился, а взял у ней, покидаемой на милость врага... С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, огонь за пазухой легче носить... И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...»

Таково письмо честного русского солдата, тяжело и горько переживавшего непонятное отступление, готовившейся годы к вой-

не ценой многих народных лишений, армии.

Что же должен был переживать человек такой большой совести, как Родион, когда части военной контрразведки расправлялись в освобожденных от фашистов областях нашей родины со стариками, женщинами и вот такими девочками, оставленными в первые дни войны на милость врага?!

Во всех картинах войны заложена потрясающая трагедия нашего народа, оставшегося на произвол и расправу врага внешне-го и внутреннего... Ведь когда читаешь, например, сцену, где наши солдаты вынимают из колоды только что расстрелянных отступившими немцами русских крестьян — стариков, младенцев, девушек, то не можешь мысленно не увидеть вереницы трупов, расстрелянных НКВД перед бегством на восток. Вот лежат они, выложенные в сотенные ряды, уже полуистлевшие, неузнаваемые... Женщины и дети ходят из соседних деревень опознавать своих мужей и опцов... Немецкие фоторепортеры щелкают любопытное зрелище... Весь мир съезжается поглазеть на Винницу...

А куда в такие времена девался нашему народу? Где его защита, когда такие Винницы — все города России!

✱

О многом можно еще сказать, но и такого на всю жизнь при желании хватит... Война подходит к концу. Роман Леонова — тоже... Уже наши войска приближаются к западным границам России... Родные Вихрова, близкие и любимые им люди, все живы. Он едет на свою только что освобожденную от врага родину с первым поездом. Рядом с ним солдат. На станции оба сходят. Вихров совсем, а солдат, чтоб напиться. И здесь происходит заключительная сцена военного периода в романе, посвященная нашему народу:

«Девочка лет восьми шла по стёжке вни-зу, вдоль насыпи, прижимая к груди стек-лянную банку, такая худенькая, что и ве-тер дул там побережней, чтоб не покачнуть, не расплескать её ноши. То был клочковенный морс, прибавок к пайку военного времени. Краем глаза Иван Матвееч видел, как сол-дат спускался под откос.

«— А ну, постой, зорька... — позвал он так тихо, что Иван Матвееч и не расслы-шал бы, кабы не стоял с подветренной сто-роны. — Никак, родная, квасок у тебя.

— На, испей, — певучим местным говором отвечала та.

Обеими руками приняв склянку, солдат от-

хлебнул три мужских глотка, подумал, от-пить ли ему четвертый, обмахнул рот рука-вом и, усмехнувшись девочке, жестом благословения коснулся ее головы. А Иван Матвееч понял, что он сейчас видел свой народ настолько близко, до рези в гла-зах, как редко достается наблюдать его в условиях мирного благополучия.»

Книга закрыта... Значение ее велико. Трудно определить значение и ценность ро-мана, только что созданного... Пройдут го-ды и годы, пока «Русский лес» займет дос-тойное его место в нашей русской липе-ратуре. Интуитивно же мы чувствуем, что «Русский лес» — одно из самых больших и значительных произведений последних десятилетий, которое можно поставить на-равне только с «Тихим Доном».

Книга закрыта, а Русский лес все еще пе-ред глазами, вот он, раскинулся темный и густой, над нашей родиной. Теперь мы зна-ем, что таит он в своей чаще, какие на-родные сокровища духа... Такой Рос-сии ничего не страшно, она все победит, причащенная у источника любви и служе-ния...

И как начали мы статью словами из «Русского леса», так и кончим ими. Слова-ми мудрого древнего лесника Калины, ко-торый все на свете знал и которому мы с радостью верим:

«За долгий срок раздольной столичной жизни выяснил он с достоверностью, что черти бывают двоякие, и лишь низшие, встречаемые в местах присутственных, от-мечены смрадом и прыщами исключитель-ной неприглядности. Старшие же, малодос-тупные для всенародного обозрения, неред-ко отличаются даже чрезмерным благооб-разием, квартируют в нарядных хороммах, откуда и взимают подать с православных: жирную еду, рекрутов для сражений, девок для баловства, кормилиц для питания не окрепших пока чертенятюк. Следовательно, и опознаются они не по хвостам, не по серному дыму при дыхании, а как правило, по мягостям, причиняе-мым простым людям...»

Покончится же всё это страшным судом, где обелятся труженики, нечисть же спит-нет навеки...

Эта сцена — ответ на письмо Родиона. Эта сцена — символ глубокого и горячего единства нашего народа, того самого род-ничка, из которого черпает силу и терпение наш народ в годы тяжких бедствий...

Критическое о критиках

8. Михайловский о Достоевском

Михайловский, по меткому замечанию Бердяева, «органически не был способен понять» Достоевского. Нужно действительно быть слепым, чтобы в Достоевском не видеть ничего, кроме садизма и мазохизма: «Мы приходим к заключению, что Достоевский просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк... он нарочно травит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости — самому посмотреть и, разумеется, публике показать».

По мнению Михайловского, талант Достоевского потухал, «до совершенной бесцветности и томительной скуки»... и «если не поражает нас своей нескладностью, растянутостью, безмерностью (?), то только потому, что мы уже привыкли к его манере писанья»... «чувство меры, пишет Михайловский далее, слабо развито у Достоевского, общественного идеала нет, зато есть беспредметная игра на нервах читателей, выдумыванье картинок, чтобы доимать ими, т. е. мучить без причины, без цели, без нужды». (Вся разрядка моя. — Г.З.)

Что касается «Дневника писателя», то хоть я и сам ставлю Достоевского-публициста несравненно ниже Достоевского-романиста, психолога, — но всё же глумлением звучит для меня следующая оценка Михайловского: «Достоевский-публицист был просто путаница, которую все так и признали бы путаницей, если бы не политиканство одних и холопское умиление других».

Окончание. См. «Грани» № 21.

В номере 21-м выкралась опечатка. На стр. 142, 2-я колонка, 2-й абзац снизу следует читать: «Аполлон Пригорьев...»

Михайловский не ограничивался развенчиванием одного Достоевского. Он, по его собственному выражению, «низводит с пьедестала» всех трех кумиров: Гоголя, Достоевского и Толстого. После бесспорного, хотя и ядовитого, замечания: «в стране идолопоклонников нельзя безнаказанно посягать на кумиры», Михайловский, ничего же не сулящегося, пишет: «И Гоголь, и Достоевский, и Толстой, достигнув апогея своей художественной славы, почувствовали потребность учительства...» Какая дерзость посягать на прерогативы «плеяды»! «Давно ли, продолжает Михайловский, носились мы с Достоевским? Давно ли величали его «пророком божьим»? духовным вождем русского народа, великим учителем?» «Давно ли казалось неслыханной дерзостью сказать о нем трезвое слово? Теперь и помину нет об «учителе» и, право, кажется, если бы не отражение интереса, возбужденного Достоевским во Франции, так мы его совсем забыли бы не только как учителя, но и как высокодаровитого романиста...» Как смехотворны для наших ушей такие суждения и тот безапелляционный тон, с которым они преподносятся.

Но дальше в лес — больше дров... Михайловский восклицает: «Le roi est mort!» Поплакали, поболтали, ну и будет... «Vive le roi!» — Толстой!». И вот мы стучим лбом перед Толстым...

Михайловский надеется, что Л. Толстому не угрожает при этом то, что «подъяли и Гоголь и Достоевский, начав смирением и приглашением других к смирению и окончив ханжеским самодовольством богозванцев!»

Даже в некрологе о Достоевском, касаясь блестящей речи одного из самых выдающихся русских судебных деятелей Ф. Кони, Михайловский не постеснялся блеснуть таким перлом: «Если бы я обладал красноречием г. Кони, я сказал бы, может быть,

о Достоевском: «Вот человек, в увлекательной форме вливавший в юридическое сознание общества самые извращенные понятия».

Несколькими строками далее Михайловский утробливает и самого Кони, — выдающегося и, пожалуй, одного из самых либеральных русских судебных деятелей, сваливая его в одну кучу с «многообразными проповедниками строгих наказаний, острога и каторги».

Проповедь личного нравственного совершенствования, а вместе с нею и идеи высокой христианской морали настолько чужды Михайловскому, что он неоднократно пытается определить Достоевского в категории крепостников только за то, что тот посмел для доказательства высоты христианского идеала (не крепостного же права, в самом деле!) «прямо сказать, что помещица Коробочка и её крепостные могли бы устроить свои отношения в наивысшем нравственном виде, оставаясь помещицей и крепостными, если бы только прониклись идеями христианской морали».

Михайловский упорно повторял ошибки «плеяды» и тоже не догадывался о том, что великие произведения искусства были в большей или меньшей степени пропитаны символизмом. Наиболее яркие примеры: «Вуря» и «Гамлет» Шекспира, «Фауст» Гёте, «Дон-Кихот» Сервантеса, «Анчар» Пушкина. Таковыми без сомнения были и некоторые произведения Гоголя (не только «Нос») и Достоевского (не только «Легенда о Великом Инквизиторе»). «Плеяда», а вместе с нею и Михайловский, относят Гоголя и Достоевского к «натуралистической школе».

Что в человеке далеко не всё рационально, Михайловский не мог понять; что на дне души человеческой всегда остается нечто, не поддающееся точному учёту, и что сами демагоги — «благодетели человечества» — легко превращаются в жесточайших деспотов, как только заберут власть в свои руки, — предчувствовал и предвидел Достоевский («Бесы»), а не его критики.

Не понимали ни Михайловский, ни его предшественники философских установок Достоевского, его опровержений по поводу свободы и добра в их отношении к христианству. Между тем, Достоевский до глубины проанализировал, вернее, интуитивно прочувствовал трагедию свободы, «испытание через свободу изначальную, приближение к Богу через свободу конечную», свободу во Христе, которая, по его мнению, и является настоящей истиной не только по форме, но и по внутреннему её содержанию. Свобода по Достоевскому не есть еще

добро: принудительное добро не есть уже добро, оно неизбежно должно обратиться во зло. Только в христианстве Достоевский находит истинную свободу, свободное добро и свободную истину...

9. Михайловский о Толстом, Тургеневе и Чехове.

Однако, из неумения понять по достоинству творчество Достоевского я не делаю никаких выводов ни об уме, ни о писательском таланте Михайловского. Я считаю его блестящим публицистом, обладающим недюжинным умом, но принадлежащим к категории идущих в шорах полудогматиков — полуфанатиков определенного (по большей части материалистического) мировоззрения. У этой категории людей бывает иногда и прозрение будущего, основанное, главным образом, на том, что «дважды два есть четыре», а человечество следует гнать кнутом к выдуманному для них лучшему обществу. У этой категории людей требование эмансипации личности — чистая теория; по существу они даже мало улавливают разницу между индивидуумом и личностью и, разумеется, подчиняют их так называемому «общественному благу», оставляя при этом право определять, в чём оно состоит, неизменно и исключительно за собой и своей «партией». Люди эти подходят к человеческой личности без интуиции, без искреннего душевного стремления к красоте, которую наряду с истинной так неистово искал всю жизнь Белинский.

Для иллюстрации моей мысли я предлагаю читателю перечитать статью Михайловского «Прудон и Белинский», написанную им в 1875 году. В задачи моей работы не входит полный разбор этой, формально блестящей, статьи, в которой высказано немало бесспорного. То, что я считаю знаменательным для Михайловского, как человека, лишённого эстетического чутья, — это его выводы из сравнительных характеристик Прудона и Белинского.

«С одной стороны, читатель видит Прудона, человека по натуре своей плутающего, часто готового сфальсифицировать человека, который не брезговал буржуазными средствами: ловкостью, секретными и т. д., человека, писавшего в 1852 г. — Почему мне не 25 лет вместо 44 лет? Десяти лет довольно бы мне было, чтобы составить состояние, без которого человек с идеями всегда лишен солидности и кредита, — и однако этот плутоватый человек... остается непоколебимо верен своим убеждениям. С другой — Белинский, весь проникнутый жаждой правды, органически не способный по-

кривить душой, которого мы можем с гордостью показать всему миру, не скрывая ни одной из его святых ран... эстетического критика огромной силы... и однако этот человек всю жизнь останется только великомучеником правды... и мечется из стороны в сторону...» Для нас, людей середины двадцатого века, которые видели, куда завели нас «плутватые», с окровавленными руками, «непоколебимо верные своим убеждениям» профессиональные революционеры, как будто и сомнения быть не может. Наш герой — искренний искатель истины и красоты, с чистой душой, бескорыстными помыслами, на руках которого нет и не было ни капли невинной крови, даже если иногда неустойчивость его характера и приводила его к ошибкам. Михайловский решает вопрос иначе: «Уж лучше плутватость, чем жажда правды, приводящая к ряду не только личных мучений, но и ошибок».

Этот выбор эстетически и даже этически отвратителен и продиктован интересами «своего окологда». Михайловский и не скрывает этого, чувствуя, что любой читатель заподозрит его в пристрастности. «Этот взгляд, признает он, я понимаю и разделяю, меня при этом подкупают некоторые идеи Прудона...» (разрядка моя. Г. З.)

Если бы у Михайловского было такое прозрение в будущее, такая духовная интуиция, как у Достоевского, — он должен был бы предвидеть, куда может привести революционеров-преобразователей жизни «плутватость, корыстность, фальшь» и тому подобные методы... Он, конечно, судил бы иначе, если бы мог предвидеть такие «фальшивки», как разгон Учредительного Собрания, договор Сталина с Гитлером, показательные процессы с медицинскими знаниями и прочие логические последствия той этической нечистоплотности, которую так легко прощает Прудону столь требовательный к инакомыслящим Михайловский.

Что касается суждений о Л. Н. Толстом, то Михайловскому нельзя отказать в принципиальности. В его статье «Десница и шуйца гр. Л. Н. Толстого», которую сам автор очень высоко (и по заслугам) ценит, которую он часто выставлял на вид в своих позднейших статьях и идеи которой много раз вновь и вновь пережевывал, — мы находим много положений, против которых спорить почти невозможно. Единственно, о чём можно, всё-таки пожалеть, это о том, что промя шуйцу одного из величайших гениев, он непозволительно резок.

Говоря об исповеди, как об очищении совести правдивым показанием о себе, Михайловский приводит в образец признание Пирогова в том, что тот, будучи уже студентом, украл у своего товарища несколько кусков сахара, — своего не было. Гр. Л. Н. Толстой, по мнению Михайловского, нигде не подымается в своей «Исповеди» до такого «подлинного покаяния» (как будто Пирогову грозила тюрьма за такую кражу. Г. З.).

«Покаяться — я убивал людей» это, дескать, вызвать похвалу: «Молодец, храбрый человек, вполне заслужил те чины и ордена, которые получил». «Покаяться страшными словами», что он имел крепостных крестьян, это, дескать, было общее явление того времени, попрекать которым лично гр. Толстого ни у кого не повернется язык. Вот покаялся бы гр. Толстой в «барской пощечине» старому слуге — это имело бы, думает Михайловский, несравненно большую цену, чем «страшные, но слишком общие слова» — я владел человеческими душами. — А что делать кающемуся, если он не давал «барских пощечин»? Не может же он, в угоду критике, лгать в своей исповеди!

«Таковы все грехи, продолжает Михайловский, в которых кается гр. Толстой... будем твердо знать, что в своей «Исповеди» гр. Толстой вовсе не исповедуется, а является нам в одежде кающегося грешника, либо в таком костюме, который был тогда модным, либо в мантии проповедника, громящего грехи общества». Уместно ли выдающемуся критику и публицисту надевать на величайшего писателя Земли русскую, на нашу красу и гордость, — шутовской наряд, выставлять его притворщиком, бахвалом, чуть ли не лжецом? «Проповедуя смирение, отчего же сам проповедник не тонет в неизвестности?» — восклицает с несвойственной ему наивностью Михайловский. «Отчего, — продолжает далее он донимать Толстого ничтожными вопросами, — после того, как гр. Толстой объявил, что вся его доселешняя беллетристика — пустяки, празднословие и потворство лжи, эта новая слава не похерила предыдущей славы?» Далее идет совершенно гимназическое рассуждение о том, что плюс единица и минус единица не могут давать два... и в том же роде, в утомительно долгой и скучной форме, вплоть до апофеоза неприличия: «...так красиво блистает обаятельная и несколько кокетливая личность гр. Толстого»...

Перейдем теперь снова к спорам о Тургеневе, которых мы коснулись в главе о

Чернышевском и которых, по всей вероятности, еще коснемся впереди. Вот как отзывается о «Нови» Михайловский:

«Охлаждение русских читателей к Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех для самого Тургенева. Охладела не какая-то литературная партия, не какой-либо определенный разряд вещей, — охлаждение всеобщее...» Что бы ни изобразил Тургенев, публика, хотя и отдающая таланту должное, добавляет: «не того мы ждали от Тургенева». «Оказывается, — объясняет далее Михайловский, — от Тургенева требуется не простая отзывчивость на то, что в нас и вокруг нас делается, что нас волнует и тревожит. От г. Тургенева требуется нечто иное: что именно — трудно сказать... сказать какое-то слово, изобразить «новых людей».

Михайловский издевается над этой «спранный специальностью Тургенева».

«Дети сороковых годов уже становятся отцами и дедами: если Тургенев проживет еще двадцать лет, то народятся еще более «новые люди», для изображения которых могут потребоваться такие краски, каких нет и не было никогда на палитре Тургенева... И вдруг самоуверенно заявляет: «Достоевского мы знаем, свойства его таланта знаем (Бердяев и многие другие писатели об этом другого мнения. Г. З.), а Тургенева не только не знаем, но и знать не хотим». Ссылаясь далее на то, что Тургенев живет постоянно за границей, что наиболее интимное в русской жизни и «не знакомо и нравственно чуждо» ему, Михайловский полагает, что Тургенев должен был бы написать в редакцию «Вестника Европы» открытое письмо и довести до сведения жаждущих от него «новых людей» читателей, что он сам о них мало знает... Издевается Михайловский не только над самим Тургеневым, но и над его героями и над их хождением в народ; он возмущен тем, что Тургенев не знает и знать не хочет, «какая причина, какой общий фон всех историй этих новых людей». Словом, ни дать ни взять, Тургеневу бросается упрек в плохом исполнении «социального заказа». Самое забавное при этом то, что вначале Тургенев наперед признается некомпетентным выполнить этот «социальный заказ» и потому что живет слишком долго, да еще за границей; затем же ему вменяется в вину, что он и выполнить этот «социальный заказ» не пробует — «не знает и знать не хочет общего фона». Где же здесь логическая последовательность?

Мы не можем не остановиться на отзывах Михайловского об А. П. Чехове:

«Чехов пока единственный, действительно талантливый беллетрист из того поколения, которое может сказать о себе, что для него существует только действительность, в которой ему суждено жить... и что идеалы отцов и дедов над ними бессильны». Надо думать, что под отцами разумеются Михайловские, а под дедками Чернышевские, Добролюбовы и Писаревы, потому что настоящие предки Чехова — Л. Толстой и Тургенев — давным давно развенчаны вместе с Достоевским и... *horribile dictu* самим «великим учителем» Белинским. После более подробного уточнения своей мысли Михайловский пишет: «...я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант...»

Защищать Чехова от такого рода нападок значило бы ломиться в открытые двери!

Исключительно для того, чтобы дать самому читателю возможность оценить по достоинству «прозорливость» прославленного критика, я привожу далее еще одну выдержку:

«Во всех картинах, которые рисует мне моё воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общеной идеей или богом живого человека, — вот что могут сказать о себе многие современные писатели, в том числе и Чехов». «При всей своей талантливости, — вещает далее Михайловский, — Чехов — не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-либо общей идеи, — а какой-то почти механический аппарат... что попадает на глаза, то и изобразил он с одинаково холодной кровью...»

«Если он решительно не может признать своими идеями отцов и дедов, — о чём однако следовало бы подумать, — и также не может выработать свою собственную общую идею, — над чем поработать всё-таки стоит, — то пусть он будет хотя бы поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания своей необходимости...»

Ну как тут не вспомнить меткое замечание поэта, правда, не великого, но культурного, — Минского, который, исходя из утверждения Белинского, что «критик — только недоношенный художник», добавил: «Когда публицистика, питающаяся только крохами со стола поэзии, решается предписывать поэзии законы и даже требовать, чтобы поэты творили свои произведения по её (публицистики) образу и подобию, то поэтике приходится сказать, что яйца курицу учат...»

10. ЭМБРИОНЫ ЗАКАЗА

Когда «законодатели» нашей литературной критики восставали против «чистого» искусства, это фактически приводило их и к отрицанию свободного искусства; все они норовили подsunуть художникам слова «цели», т. е., по нынешней терминологии — «социальный заказ», точнее — партзаказ.

В середине прошлого века нигилизм настолько расцвел в русской литературе, занял столь важные командные посты, что инакомыслящим были заказаны почти все пути в крупные редакции.

В начале шестидесятых годов талантливый критик Н. Н. Страхов жалуется, что два редактора, хорошо с ним знакомые, наотрез отказались печатать его статьи о нигилизме в русской литературе. Если бы не заступничество Достоевского, открывшего ему доступ в журнал «Время», Страхов может быть унес бы с собой в могилу немало чрезвычайно интересных и метких отзyвов не только о наших поэтах и беллетристах, но и об их критиках, а также и о публицистах главенствовавшего тогда лагеря.

Удивляться, собственно говоря, нечему: все наши выдающиеся художники слова, как Тургенев, Достоевский, Гончаров, Лесков, Писемский и другие, изображали в своих романах нигилистов, и далеко не все относились к ним так критически, видели их насквозь с такой проницательностью, как Достоевский.

Даже «Время», печатая статьи Страхова, который считал нужным скрываться под псевдонимом Косица, делало это с оглядкой на «Современник» и на «Русское Слово» и позволяло себе, как жаловался сам Страхов, делать вставки в тексте и заявления от редакции, которые в корне противоречили взглядам, тенденциям и вкусам Страхова. Были даже случаи, что в таких прибавлениях к страховскому тексту редакция позволяла себе хвалить то, что Страхов сурово критиковал.

Вот в каком духе писал во «Времени» Страхов: «Какое мрачное и жестокое дело! Можно не понимать ни истории, ни философии, ни поэзии, но всё же верить, что есть на свете настоящая философия, что вокруг нас совершается история, а не только базарный гвалт..., что существует и чистая поэзия. Не верить в это значит не верить в человека, а без этого и личное счастье человеческое невозможно». Красота должна погибнуть, но ведь и истина тоже не нравится Писареву. Цицерон, Гораций, Корнель, Расин, Шиллер осыпаются бранью, вздор, нелепость, дичь, чепуха,

ерунда). Пушкина «Современник» называет поэтом «эротическим и военным».

Разумеется за олимпийцами шли «*dei minores*», а искаженная интеллигентским опытом народная поговорка гласит: «Не так страшен чорт, как его малютки». В десятой книге «Современника» за 1861-й год некий Т. З. на видном месте пишет статью «Литературные рабочие» и в ней дает рецепт борьбы с нуждой литераторов. Он предлагает: во-первых, сократить число выходящих книг и журналов, а во-вторых — уменьшить количество лиц, занимающихся литературой.

Постараюсь возможно короче изложить его аргументацию: сказать новое трудно, запас заготовленных идей велик, его хватит для популяризации на двести, триста лет; имена деятелей известны наперед — их немного; о чём же хлопоты? — вопрошает Т. З.

Так намечается не только подобострастие к вождам-хозяевам, но и олигархическое управление, по рецепту длинноухого Шиталева.

«Чернышевский сам ратовал против авторитетов, — говаривал Страхов, — чтобы тем крепче держаться за своих».

Забегая на 80 лет вперед, Т. З. говорит знакомым языком Политбюро: «Не мешало бы расстрелять наших литераторов, разъяснить таланты и знания каждого, указать его цели и направления. Пусть только и живут на свете такие литераторы, которых образ мыслей, талант и знания могут доставить действительную пользу читателям (всё утилитаризм... а судить, в чём эта польза состоит, будут, конечно, его хозяева. Г. З.). Остальные же писатели, которые без всякой пользы работают, лишь было бы им тепло, могут, конечно, существовать, но им незачем быть литераторами». — Послать их на тяжелые работы в Нарымский край, — прибавило бы Политбюро.

«Всё зло от охотников-издателей, — продолжает Т. З. — они набирают сотрудников... умножают дурных (инакомыслящих — Г. З.) литераторов...»

Что у учителей на уме, то у учеников уже на языке... Трактату об этом, Страхов за несколько десятков лет до В. Я. Брюсова впервые талантливо сравнивает позицию «Современника» с приказом известного калифа Омара сжечь Александрийскую библиотеку на том, дескать, основании, что если в этих книгах содержится то же, что и в Коране, они бесполезны; если же в них есть что-нибудь другое, они вредны.

По этому поводу небезынтересно вспомнить полемику Валерия Брюсова с Лени-

ным в «Весах» в 1907-ом году. Брюсов привел в пример тот же приказ калифа Омара: самостоятельно или подражая Страхову, — для нас неважно.

Брюсов не был опровергателем Маркса. Он полагаал, что Маркс так же приемлем, как Данте, Шопенгауэр, Достоевский, т. е., что он гений. После октября 1917 года Брюсов держал себя, по нашей теперешней терминологии, как «попутчик», однако, это не мешало ему за одиннадцать лет до захвата власти Лениным вступить с последним в ожесточенную полемику, чрезвычайно метко иллюстрирующую нашу тему. Вот выдержка из его статьи в «Весах» (1907 г.):

«От угрозы Ленина протнать из социал-демократической печати всех «внепартийных писателей» один шаг до приказа калифа Омара (идет вышеизложенный нами со слов Страхова текст. Г. З.). Ваше определение свободы слова, как возможность говорить всё, что согласно с принципами С. Д., — нас не удовлетворяет. В нашем представлении свобода слова связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего — свобода искания... где нет уважения к мнению другого, там свобода — фикция... Пока вы идете походом против неправого и некрасивого строя, мы — ваши союзники, но как только вы заносите руку на самую свободу убеждений, мы тотчас покидаем ваши знамена». (Когда пришло время, он, правда, этих знамен не покинул, что, судя по его биографии, вероятно, из страха. Г. З.). «Коран социал-демократии так же чужд нам, как и коран самодержавия, и, поскольку вы требуете веры в готовые формулы, поскольку вы считаете, что истины уже искать нечего, ибо она у вас, — вы — враги прогресса, вы — наши враги».

История повторяется, с той только разницей, что при большевиках Брюсов не посмел бы написать про «неправый и некрасивый существующий строй», а при царской цензуре — смел. В остальном обе стороны остаются верны себе: от тактики Чернышевского до тактики Ленина — один шаг; от установок Страхова до взглядов Брюсова — тоже рукой подать.

Брюсов был не один, культурнейшие его

современники думали в таком же роде. Приведем для примера одного из «зрячих», который тоже впоследствии пытался, хотя и с перерывами, сотрудничать с большевиками. Мы говорим об Андрее Белом, который в ту же эпоху (1907) отрекся от левых и от правых: «Эти два врага во всех отношениях очень близки и родственны, когда речь идет о вопросах художественного творчества, о преклонении перед мечтой и об оценке поэтов. Прочтите статью эсдеков в «Литературном распаде» и вы убедитесь еще раз, что с. д. — родной брат самого жирного буржуа в вопросах искусства... Для поэта не должно быть партий, классов, программ и параграфов. Всё это для него — только средства и объекты к достижению высших целей... Пора строителю храма взглянуть, как ему подобает... Верю, что во всесветлом прядущем граде мы встретимся лицом к лицу и с работником, и с оратором земляным, и со жнецом нивным... ангел мирен и безмятежен — хранитель душ — да будет вам послан, когда проснутся малыши сии».

Один из наших мало популярных критиков уже девяносто лет тому назад, а два выдающихся поэта, которые потом сравнительно неплохо ужились с диктатурой пролетариата, — сорок пять лет тому назад проявили в более узкой области такую же зоркость в оценке современных им «предтеч», какую проявил гениальный провидец Достоевский.

Н. Н. Страхов не только один из первых оценил Достоевского, но и остался ему верен до гроба: он признавал в нем психолога и метафизика, идеи которого совершенно самостоятельны и потому отличаются от идей славянофилов. «Достоевского, пишет он, интересует человек, его дух, его судьба... во время поездки за границу Достоевского не интересовали ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, всё внимание его было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характер. Его интересовали люди, только люди, с их душевным складом, их образом жизни, их чувствами и мыслями».

Этого-то и не заметили в Достоевском «великие критики».

О современной французской мысли

(М. Пруст — Дж. Джойс — А. Жид — Л. Ловель — Г. Марсель — Н. Бердяев)

«Пространство, Время и Число суть боги создатели форм», сказано в одном пифагорейском апокрифе. Да, но лишь тогда, когда чистый разум, пройдя сквозь них, воплощается в материю. Когда же, как мы сейчас, он уже воплощен в материю и форму, они тотчас же становятся богами абстракции и смерти. Будучи «читаемы» сверху вниз, читаемы или мыслимы духом, который им еще не подчинен, они создают материальное бытие. Будучи же «читаемы» наоборот, снизу вверх, с земли, они бытие разрушают, т. е. схематизируя, классифицируя, убивают вольную жизнь творчества. И в этом ощущении, что созидание может мгновенно переходить в развоплощение, космос в хаос, мудрость в безумие, заложены корни всякого художественного творчества, и лирической поэзии, и одновременно трагедии. В разные эпохи дух поэзии обращен был к одному из этих трех начал. Греки были обращены к Числу. Европа после Возрождения (после астрономических открытий Коперника) — к Пространству. Наша современность, особенно за последние 50 лет, к Времени, о чем мы сейчас и будем говорить. Заметим, что эта обращенность к времени, превращение времени из фона в основу поэтического творчества, совпала с известными открытиями 20-го века в области физики, хотя вряд ли кто из современных писателей и поэтов, много думает об Эйнштейне и теории относительности. Но и Шекспир может быть даже не знал о Копернике.*)

Писание о чистом времени, своем и мира, а у пантеистических натур об одном только чистом времени, человеко-божеском, есть стихия современной лирики. Об этом поэт Борис Поплавский († в 1935 г. Париж) говорил так: «Поэзия, кажется нам, есть песнь времени. Мне кажется, что область этих тихих переживаний почти полностью совпадает с ощущениями, раньше называвшимися религиозными. С этой точки зре-

ния я и пытаюсь решить вопрос о двух любимых темах лирической поэзии, т. е. стихах о любви и смерти. Любовь и смерть кажутся мне двумя основными моментами постигания чистого времени. Смерть как тема всяческого расточения и исчезновения времени, ибо душа умирает постоянно. Любовь же, как тема спасения времени для некоей качественной вечности, некоего чувства сохранения и безопасности своей жизни, наконец спасенной от исчезновения в руках любимого человека» (Из Дневников).

В период между двумя войнами, т. е. в 20-х и 30-х годах, в Европе появились две книги, давшие тон всей большей литературе нашего времени: во Франции — двадцатитомный роман Пруста: «В поисках утраченного времени» и в Англии «Улисс» Джойса.

*) До Коперника считалось, что пространство — реальность. Даже рай и ад ситуировались на нашем видимом небе и в недрах нашей земли. Астрономические открытия 15-го века заставили перестроить все сознание пространства. Это была духовная революция, которую в поэзии того времени выражал, среди других, Шекспир. Вопрос ставился так: или Христианство ошиблось, и человек только часть природы, т. е. вечной жизни для индивидуума нет, потому что где, в каком пространстве искать рай и ад? — или жизнь возможна и вне пространства. Т. е. либо моя бессмертная душа вздор, либо реальность пространства иллюзия. Впоследствии разум сумел освоиться с нереальностью пространства (но время он продолжал считать реальным), тогда же это было мучительной проблемой, которая сокращенно выражалась еще так: «где живет Бог?» Сейчас надо усвоить: время связано с пространством, где нет пространства, нет и времени. Как же возможно там бытие?..

Начало «Утраченного времени» Пруста, впрочем, появилось еще перед той войной, в 1913 году, а последний его том — «Обретенное время» — в 1926 году, после смерти автора. «Улисс» тоже был написан во время первой мировой войны и вышел в свет, сперва в оригинале, потом в замечательном французском переводе, в 20-х годах. В Россию ни та ни другая книга не попала. Первый том Пруста впрочем был переведен и издан в Москве в начале 30-х годов, но отклика не получил. «Улисс» пытались продвинуть в Россию, но попытка не имела успеха*).

Священные книги уже давно говорят об иллюзорности времени и пространства. «И будет новое небо и новая земля»... «и времени больше не будет» (Апокалипсис). Но то были видения Святых учителей, они принимались на веру и в них не вдумывались. Такие краткие высказывания не становятся вразумительными, разум не может с этим освоиться, и вечная жизнь все-таки ситуировалась во времени, т. е. в бесконечной смене дней, и в пространстве садов на берегах тихих рек. Философия, особенно после Канта, напоминала, что бытие может быть возможно и вне смены дней и веков, как бы в едином, всеобъем-

*) В 1936 г. Дмитрий Святополк-Мирский, бывший тогда профессором русской литературы в одном из английских университетов, добровольно вернулся из эмиграции в СССР, где вскоре был арестован и выслан в Караганду, там он и умер 10 лет спустя. Он предполагал знакомить русского читателя с большой литературой Запада — «не с Дос-Пассосом и Ромен-Роланом, которых и так уже довольно знают» — и начать с перевода «Улисса». Из этого плана ничего не вышло. Вероятно в Москве руководители нашли, что тема о Времени не созвучна эпохе, может быть потому, что ее нельзя подвести ни под одну из дозволенных категорий: это ни производственный роман, ни колхозный, ни исторический, ни военный. И Россия впервые за 200 лет оказалась отрезанной от самого значительного, что в последнем поколении дала Европа в области искусства. Это отразилось на стиле всей современной русской литературы, до сих пор не вышедшей из форм 19-го века, как если бы в эпоху Пушкина был наложен запрет на романтизм и было бы предписано не отходить от «пасторалей», от «Телемахид» и «Россиад». Романтизм, кстати, был переходом от интуиции пространства к интуиции времени и, следовательно, от эпохи, когда в искусстве доминировала живопись, к эпохе музыки.

лющем и неисчезающем мгновении, но это оставалось совсем неясно. Но вот как об этом, в художественной форме и более вразумительно, заговорил в своей книге Марсель Пруст.

Ему 14 лет и он пьет чай с «мадленами» (печенье на орехах) у тетки. Когда он обмакнул в чай «мадлен» и откусил, случилось что-то невероятное, неожиданное и совершенно непонятное. Какое-то радостное торжество, никогда не испытанное, опромной интенсивности, мгновенно явилось откуда-то, заполнило все его существо и залило весь мир. Это был полный мир, успокоение всех тревог, разрешение всех сомнений и очевидность общего спасения. Откуда пришло это чудо? Было ли оно колдовством, заложеном в печеньи? или в чае?

Когда, секунду спустя, явление стало проходить, он обмакнул «мадлен» и откусил еще раз. Явление повторилось, но в ослабленной форме. На третий раз чудо еще более ослабело и стало очевидно, что сейчас все опять запутается и станет на свое место в серой будничной мгле. Тогда, с предельной силой внимания, на которую человек иногда способен, Марсель стал размышлять и вспоминать, и вот какое объяснение он нашел.

Из глубины подсознания ему удалось извлечь воспоминание из своего раннего детства, когда он точно так же сидел у этой тетки и пил чай с «мадленами». Между тем случаем и этим была аналогия — но чай, печенье, вкусовые ощущения, обстановка, все это оказалось лишь тем механизмом, который, завершившись, помог ему сделать открытие большой важности: что для него, Марселя, для глубочайшей его метафизической сущности времени не существует, там оно не властно. Для настоящего «Я» времени нет, и следовательно нет ни перемен, ни забвенья, ни смерти, ни уничтожения. Что все там собрано в одном свободном творческом переживании, интенсивность коего длится столь короткий промежуток времени, что разум не успевает начать свой анализ. В обычном состоянии, будучи погруженным в поток или потоп времени, человек этого не помнит и даже не должен ничего про это знать: с таким знанием нельзя жить и, продлившись, это состояние могло бы вызвать прекращение его «Я», как Марселя. Но «французский мальчик Марсель в таком-то городе под Парижем» — это не его настоящее «Я». Еще несколько раз в жизни с ним будут происходить такие мгновенные выходы из сна времени в явь бытия, подтверждающие

на опыте, что жизнь сверхсознания возможна лишь вне «реки времён». Там «всё во всем» и там соединены разрозненные части текучего миража нашей пространственно-временной системы. Этой теме посвящены все 20 томов, все творчество Пруста. Многие испытали такое переживание, хоть и не так интенсивно, как 14-летний Марсель, во многих книгах оно описано, в том числе у Толстого, в женских разговорах: «Тебе не кажется, Соня, что все это уже было когда-то?» — спрашивает Наташа. Но Пруст первый увидел в этом мистическое озарение или иллюминацию, объяснение бытия, начало освобождения, полноту творческого мгновения, и, исходя из этого явления, воссоздал весь свой жизненный опыт «Утраченного и Обретенного Времени».

Такие моменты освобождения из оков времени происходят неожиданно и даются как бы даром, случайно, на самом же деле, как всякая иллюминация, это дается в результате страдания и как бы в награду за трудную тренировку внимания. В этом моральная сторона творчества Пруста, которая очень завуалирована в его книгах. Человек входит в состояние пассивно-активного творческого экстаза, которое длится ноль времени (который на самом деле есть не ноль, а полнота). Это состояние пассивно, потому что пребывающий в нем видит себя лишь внимающим медитумом, и оно активно, потому что это мгновенье чистого творчества: впоследствии, по возвращении во время, будут создаваться 20 томов, воспанивливающих то, что было получено в это мгновенье, когда человек коснулся своей истинной родины, начнут годы ослабленного творчества, сопряженного с борьбой, и не в полной свободе. Об этом яснее всего Пруст говорит за несколько месяцев перед смертью, на последних страницах «Обретенного Времени». А после Пруста — многие поэты и прозаики современной Франции.

Другая руководящая книга периода «между двумя войнами», «Улисс» Джойса, писалась в Триесте, одновременно и независимо от Пруста. Она тоже посвящена проблеме Времени, но подходит к этому по-иному. Современный Улисс (Одиссей) — ничем не примечательный обыватель города Дублина, 40-летний Леопольд Блюм, еврейского происхождения, по профессии сборщик объявлений для газет. На 800 страницах описывается, как он провел один день своей жизни, длинный, буднично-летний день в нескольких кварталах Дуб-

лина. В этот день, 16-го июня 1904 года, ничего особенного не произошло. Утром герой был на чьих-то похоронах, потом в газетной редакции прислушивался к непонятным для него разговорам молодых сотрудников о Шекспире, много ходил по пыльным улицам, обедал в дешевом ресторане, вечером забрел в подозрительный переулок, где гуляли солдаты и студенты, под утро вернулся к жене домой. Автор ведет свое повествование, как будто сам не зная, зачем он описывает все эти мало-значительные встречи, разговоры и размышления своего героя, но внимание читателя настораживается с первых же строк. Читателю начинает казаться, что все это очень важно, важнее войн и революций, крушения империй и даже сотворения мира. За буднями Л. Блюма скоро начинает вырисовываться задний план, на котором (как «первая мадлен») развертываются странствия Гомеровского Одиссея (имя коего упоминается мимходом и всего три раза), за ним еще один фон, где мерещится вся история Европы от первой ее гражданской войны («Троя») до короля Эдуарда VII... А там что-то совсем уж доисторическое, с экскурсом на древнюю родину героя, Ханаан, и еще раньше, в леса и пещеры, и еще много, много разных планов и фонов, о коих сознание героя ничего не знает. Л. Блюм обо всем этом давно забыл или никогда не знал, все его внимание обращено к жизни окружающей его, лишь иногда он как бы задремлет наяву и случайно услышанное слово или выражение лица собеседника заставит вспомнить что-то из другой жизни, но он стряхнет навоеждение — не как Марсель — и будет продолжать свои скитания. То, что в глубинах подсознания мы все храним тысячелетние наслоения, — неизвестно, думал ли об этом автор, во всяком случае, нигде, ни прямо, ни намеками, он об этом не говорит. Но читателю в какой-то момент становится очевидным, что все, что случилось в веках, случилось в день 16-го июня 1904 года в Дублине. И Леопольд Блюм — это действительно Одиссей, сын Лаерта. Не возрожденная душа того «дешевый оккультизм с разреженным индуизмом 19-го века Джойс давно перерос», а неразделенность с тем, по ту сторону времени. В конце книги, на последнем слове новой Пенелопы: «да» — читателя озаряет понимание, что Л. Блюму, как и первому Одиссею, удалось, вопреки всем видимостям, соединить «прекрасного разрозненные части» и победить

время, смерть, разделение, забвение и даже боль. *)

В отличие от Марселя, Леопольд не знает мгновений экстаза, потому что вся его жизнь проходит вне страдания, в некоей обывательской гармонии удовлетворенности. Он успокоен и с благодарностью (о чем сам не подозревает) принимает жизнь. Он не знает ни религии, ни молитвы, но зато дружески обращен ко всем людям. Давно забыл о своих еврейских корнях и не замечает, что именно отличает его от других обитателей города. С точки зрения других евреев, которых в Дублине мало, он жизненный неудачник и вероятно дурак. Для своих католических друзей (Дублин — самый католический город в мире) он «славный малый». Для читателя «Улисса» — праведник, но не героического типа и поэтому не могущий стать учителем жизни. На лотерее жизни он выгащил довольно удачный билет, тот же, что и старый Одиссей: благодать. Почему? Нипочему, просто так. И поэтому Л. Блюм — ответ и объяснение первому Одиссею, и одновременно ответ и оправдание всей истории цивилизации, от Гомера до наших дней. Обо всем этом автор не говорит, и однако это не вызывает сомнений и до читателя начинают доноситься из глубины веков песни сирен:

«Кто же нас слышал, тот в дом
возвращается, многое сведав,
«Знаем мы все, что случилось
в троянской земле и какая
«Участь, по воле бессмертных, постигла
Троян и Ахейн»...

Эта книга вызвала бесчисленное множество комментариев, ее влияние на европейскую и американскую литературу большого стиля всё увеличивается. И это — несмотря на то, что в Англии и Америке «Улисс» был долго запрещен в продаже, из-за одной эротической сцены, всего несколько строк, которые автор отказывался изъять. Джойс покинул свою родину перед первой войной и умер в добровольном

*) У греков та же проблема воссоединения разрозненного ставилась, исходя из тайны числа, это яснее всего проявилось в конце греческой философии у Платона: «если есть «я» (моя вечная, божественная сущность), то нет «чисел». В творческом экстазе человек иногда видит, что есть одно Я, сам Платон испытал это лишь два раза за свою длинную жизнь, по свидетельству его ученика в предисловии к ЭННЕАДАМ. Надпись на академии философов: «сюда входят лишь математики» означала, помимо многого другого, и эту одержимость числом или загадкой разделения.

изгнании в 1943 году. Замечено, что в начале на него влиял Чехов, который в Англии уже давно котируется наравне с Толстым и Достоевским. Его внимание было с первой его книги («Люди Дублина») обращено к тусклым, серым, невыдающимся людям провинции. Постепенно он отходил от чеховского пессимизма к просветленному оптимизму оправдания жизни: «все во всем» живет и сохраняется, и жизнь полна смысла. И — что не менее важно — каждый человек это знает, хотя бы на поверхности сознания он спорил и протестовал.

Хотелось бы еще короче и, если можно, янее, но не искажая и не снижая темы, о Времени выяснить, откуда черпали свой пафос разбираемые писатели. Что, какую тайну хотели они нам передать? Книга Пруста это почти автобиография. Книга Джойса отчасти тоже, с тем различием, что сам он не был «Улиссом», но хотел им стать (его «Я» это «Телемак», духовный сын Блюма, молодой мудрец, сперва готовившийся стать священником, как и Джойс, Стефан Дедалос). Сами того не сознавая, эти писатели доказали или сделали возможным принять разумом тайну о бесконечной значительности каждой человеческой личности, или тайну бессмертия души. И оба они, вопреки несходству стиля, музыки, расы, исходят из одинаковой установки: если время реальность, то меня нет. Но если время иллюзия, то я есмь, и притом не после смерти войду в бессмертие, а сейчас, в этот всеобъемлющий миг моего сверхсознания, где ничто не угрожает моему бытию. Пруст пишет о чистом времени своем и мира. Джойс только о чистом времени (пантеизм). У первого — Я и Нечто. У второго одно Я. Над Прустом веяние Иерусалима, над Джойсом — Афин и за ними в глубине мерещатся индусские влияния. Джойс, после тягостных для него годов обучения в католическом колледже, формально отошел от церкви, Пруст никогда в ней не был. И тот и другой пребывают вне церковных стен, или, как мог бы сказать Андре Жид, они отказались от кощунственной монополии на Христа. В этом важная особенность современной французской мысли: она глубоко религиозна, но не церковна. Единство, к которому она стремится, соткано из предельного разнообразия как бы упраздняющих друг друга противоположных верований и воззрений, что не мешает видеть в ближнем своего брата. Тогда как церковное единение есть обычно замкнутый круг, а внутри — разделение: церковник видит ересь и вне своей церкви, и подозревает внутри. Кроме

того, церковник — аристократ, считающий, что истина получается как привилегия рождения. Церковность, с этой точки зрения, противоположна религиозности, особенно христианской, по которой истину можно лишь выстрадать «сораспятием» себя Христу. Этой теме посвящена переписка между А. Жидом и католическим писателем Клоделем. Клодель 25 лет уговаривал Жида (по рождению протестанта) войти в ряды католической церкви. Жид, относившийся к церкви с гораздо большим уважением, чем Толстой, не может сделать этого шаг, его возражения Клоделю резюмируются в его последней фразе переписки: «Я предпочитаю быть извергнутым, чем сам кого бы то ни было извергнуть» (в оригинале сильнее: „quant à moi, je préfère être vomé que vomir.“

Вероятно, эта несовместимость церковности и религиозности — одно из знамений нашего времени и эта внедогматичность больших писателей — гарантия серьезности их размышлений о времени (О А. Жиде см. интересную статью В. Маркова в 13 и 14 номерах «Граней»).

За последнее поколение мысль на Западе далеко ушла от 19-го века с его наивными вопрошаниями: «как можно верить в Бога?» или «не абсурд ли, с точки зрения логики, бессмертие души?» Если определить в одном слове достижения 20-го века, то слово это будет «интуиция». Вообще, основной стихией логики является пожалуй интуиция числа. Основной стихией науки — интуиция пространства и основной стихией понимания искусства и этики — вероятно интуиция становления (времени), но никакая из них не действует без двух других.

Может показаться, что я неправильно подхожу к ответу на вопрос, что является основным в современной французской мысли: «интуиция времени» — ведь это область для специалистов, философия. Но надо учесть, что в 20-м веке вся французская мысль, в том числе художественная, скорее проявляет себя не в романе и стихах, а в *essai*, в очерке на философскую тему. У других народов чистая литература ещё в полном расцвете. Франция старше этих других народов, может быть, она мудрее, но её творческая фантазия ослабела, она от «притч» переходит к «завещанию». Она начинает говорить прямо, а не намеками. Так все Евангелие говорит об основном, о любви, иносказательно, в притчах, и лишь на Тайной Вечере, в завещании — прямо, что удивило учеников, не знавших, что это предсмертная беседа, т. е. когда уже не осталось времени, считаюсь со свободой слу-

шателей, предоставлять им самим разгадывать загадку иносказаний.

И Пруст и Жид — полуэссеисты. После них самое показательное, что дала французская мысль, это очерки на философские темы.

Выделим трех авторов (в живых остался лишь последний): Луи Ловель, Николай Бердяев и Габриэль Марсель (христианский экзистенциалист. Но и оба других — тоже, хотя так себя не называли).

Тема их — свобода, которая в метафизическом ее восприятии аналогична творческому акту и в полном ее своей осуществляется не во времени, а в мгновении: «акт — мгновенен, активность, или реализованный акт — в становлении постепенности» (Бердяев) Остановимся на этом, теория о свободе и акте бросит новый свет на сказанное выше.

Если человек со всей серьезностью спросит себя, в чем та предельная глубина его существа, от которой он не может откаться, без того, чтобы отречься от самого себя, и лишение чего сделало бы его неспособным оценить ни единое благо, он принужден ответить, что это свобода. Нет для человека состояния более печального, деградирующего, чем несвобода, о чем говорится еще в «Одиссее»:

«Горькую участь печального рабства
придав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину
Зевес умерщвляет».

Бывает, что неуглубленный ум хочет доказать себе, что «покой» (который представляется ему «счастьем») предпочтительнее свободы. Потому что свобода всегда связана с усилием, ее нужно до конца выстрадать и в чистом виде она не совместима с условиями пространства, времени и числа. Откуда пришла свобода? Никоткуда, она сама начало: одновременно и начало мира, и меня. Она тайна, и она же есть акт творения (Бердяев). Лишь в творческом акте человек сопричащается ей. Умом свободы не понять. Можно сказать, что ум со свободой борется, в том смысле, что он стремится проникнуть в ее тайну, такова его роль. Ум борется с интуицией и хочет увидеть понятную, раскрытую вселенную форм, где все объяснено и успокоено, где творческий акт завершился. «Свобода же есть обратное успокоению, она постоянный переход от небытия сна или автоматизма в бытие творчества» (Л. Ловель). Спрашивать свободу о ее происхождении или значении, чего не может не делать ум, значит уже сомневаться в ней или ее отрицать. Она сама всему дает смысл, всегда новый и непредвиденный. Любой читатель любой книги сразу видит, какие страницы написаны

в состоянии большей или меньшей степени свободы, какие в несвободе (по заказу). Ум познает, т. е. дает объяснения вещам уже существующим. Свобода ничего не объясняет, она творит новое. И потому она не может стать объектом изучения, чтобы прикоснуться к ней, есть только один способ: ее осуществлять — всегда по-новому. Она не терпит повторения старых форм и вообще форм. В ней открывается вечность (в мгновении) творчески действенная, всегда непредвиденная, постоянно возрождающая все вокруг. Это наша настоящая молодость и метафизическая демократичность. Некоторые живут и умирают без того, чтобы узнать ее, потому что она связана с риском храбрости, с болью, которую нужно принять добровольно. Ведь и на самых своих больших высотах она продолжает оставаться трудной, потому что она и есть как раз то единственное, что не может быть дано в подарок или по завещанию: лишь тот, кто в некоем жертвенном акте соприкоснулся с ней, знает в чем дело, но один только он. «Она каждому предлагается, но не всеми берется» (Бердяев). И нужно принять ее сегодня, сейчас, а не завтра и не через миллион перевоплощений. Поэтому проблема времени есть главный объект наших размышлений и тревог. С нее начинается философия, с тревожного удивления перед фактом моего рождения в таком-то году и перед предстоящей смертью. Как и все в мире, я стремлюсь к непрекращающемуся существованию и сперва, погруженный в поток, ошибочно вижу жизнь в бесконечности дней. И конечно, живя во времени, трудно мыслить иначе, — но не невозможно.

Ноль времени не есть абсолютный ноль бытия. И если это пустота, то она больше, чем всякая полнота. Творческое мгновение, и лишь оно, дает нам возможность войти в контакт с сущностью мира. Это и есть прорыв в бесконечность. Память и пассивное ожидание, т. е. неверное ощущение, что чего-то ценного больше нет или еще нет, суть цепи, приковывающие нас к прошедшему и будущему, они отрывают нас от настоящего (в обоих смыслах этого слова) и превращают нашу активность в горько-сладкие сны романтизма. Кто видит реальность в длительности, тот любит вспоминать или ожидать, и он не деятель, а наблюдатель.

Мгновение во времени не подобно точке на линии, которой действительно не существует. В мгновении абсолютное начало и чистое рождение. Настоящая реальность не выходит никогда из мгновения. В нем мы соприкасаемся к чистому акту, который в богословии большого стиля называется «со-

творением мира». Моя жизнь живет своими творческими точками, а не Бергсоновской линией длительности, которая их соединяет, т. е. не пассивными воспоминаниями. И не эволюцией, а мутациями. Интенсивность нашей активности определяется тем, насколько мы способны не жалеть прошлого и не ждать того, что произойдет помимо нас. Да, конечно, активность во времени, но она есть лишь ослабленное следствие акта, его проекция, как бы светящийся хвост метеора или 20 томов Пруста, вышедшие из мгновения «мадлен». Акт, как свобода, есть всегда чудо и не может быть объяснен. Проявленная форма акта есть, между прочим, момент понимания, который не занимает никакого промежутка времени (это страшно важно): «все, что мы поняли, мы поняли в мгновенном озарении — или никогда» (Л. Ловель). Вопреки Бергсону, кульминационный пункт активного внимания сосредоточен в одной точке. Внимание, т. е. способность вслушиваться (внимать) внутренним слухом, возобновляется непрерывно, оно — постоянное возрождение нашей духовности. В периоды, когда мы живем насыщенной жизнью, воля к вниманию не ослабевает.

Потом из полноты мгновения мы спускаемся в длительность дней... Начинается развертывание цепи причин и следствий (что в богословии большого стиля называется «Сон Адама», т. е. проявленная история человечества). «Что-то сковывает душу, и это что-то есть объективация» (Бердяев) или начало несвободы. Душа выпадает в печаль «объективного» мира. Поэтому экстаз иллюминации не дает одну лишь радость освобождения (что Пруст анализирует в иллюминации, связанной с музыкой), он одновременно несет печаль от рождения в объективирующуюся вселенную. Печаль оттого, что надо возвращаться в текущее время. Здесь ткань всякого искусства.

Человеческая жизнь тем значительнее и богаче, чем больше таких точек включает она в себя. «Один Бог их реализует всех: Он есть абсолютное действие и вечное мгновение» (Л. Ловель). «И нам никогда не следует содрогаться перед представлением бесконечности пространства и времени, перед всеми этими миллиардами световых лет, возведенных в миллиардную степень (явная нелепость и насмешка разума над самим собой), — эти числа кажутся такими огромными именно потому, что не существуют. Они лишь условие, иллюзия для нашей деятельности» (Габриэль Марсель).

Мгновение, вырванное из времени, становится актом вечности. В этом основа современного сознания. Впрочем, интуиция об

этом началась давно, загоралась то в Индии, то в Европе, то в Китае, но стала явно распространяться во Франции XX-го века. Время в своей текучести больше не кажется той реальностью, на которую не обращаешь внимания, оно начинает представляться нынешним людям как тусклый, затуманенный сон, как препятствие, как стена. В этом отличие нового «Улисса». Старый не спорил с реальностью восходов и закатов и каждый свой день он начинал и кончал утверждением времени:

«Вышла из мрака младая, с перстами
пурпурными Эос»
и: «Солнце тем временем село, и все
потемнели дороги».

Для Улисса современного много дней — иллюзия. Поэтому для него падение во время не представляется окончательным.

Вот что можно сказать в заключение. Французская современная мысль имеет много аспектов, я выделил тот, который мне ближе и который меня больше интересует: мыслить Время можно не только в первом его измерении, в длину, но, поскольку каждый человек хоть раз в жизни прикоснулся к выходу из длительности в глубину мгновенья, каждому по-иному может открыться тайна бытия. Опыт иллюминации не обязательно воспринимается каждым, кто его переживает, как прорыв в бессмертие. У некоторых он делает осязаемым другое, например, моральную связанность всех людей — «все за всех виноваты», как у Достоевского. Или является откровением о божественной гармонии мира, вопреки всему, как у Гомера в конце «Одиссеи» («Добрые боги! Какой вы мне день даровали, о радость!»). Мне кажется, эту гомеровскую гармонию испытал Твардовский, и

потому ему есть что сказать, не только в «Тёркине», но даже и в «Стране Муравии» — к тому же это единственно серьезное, о чем можно хотя бы намеком говорить в советской литературе *).

Очень вероятно, что это прикосновение к вечному происходит с каждым в момент смерти. И отсюда выражение успокоения на лицах многих умерших. Для разума главная задача — хранить опыт вечности во времени, что он и осуществляет, всегда несколько искажая то, что ему поручено передать, как рассеянный, хоть и преисполненный добрых намерений посол невольно искажает поручение пославшего его. Интуиция же знает все, подобно неграмотной старушке, которая иногда мудрее ученого профессора, но ей не хватает слов, чтобы передать свое знание.

*) Леонов, кажется, знает еще одну разновидность мистического озарения — темную «иллюминацию» небытия, и все его книги напоминают некоторые классические, в том числе индусские поэмы, заквашенные на антиномии эротизм-небытие. Маяковский как будто совсем не знал мистических озарений, свойство коих идти против природы, — он же мог идти только «по солнцу», утверждая время, пространство и число и правду вечно возрождающейся жизни на земле. Такое хождение «посольн», нормальное для школьного возраста, если оно затянывается, приводит к бездне разочарования. Из современных русских писателей ближе всего к Достоевскому неврастенический Зощенко, откровенно терзаемый проблемой покаяния. К Джойсу отдаленно подходит ранний Шолохов.

П а р и ж, 1954.

Книга о Чехове

Хорошо названа книга — и биография, и литература, высокохудожественное повествование о делах и днях, о сердце и душе большого писателя. А прежде всего это уловление и отражение сокровенного, того загадочного в Чехове, мимо которого прошла большая часть критики, не заметив чеховского «общения с великим и святым».

В книге прекрасна ее «собранность»: пятнадцать кратких глав; вся архитектура очень стройная, легкая; «внутри» много воздуха, света, блеска сдерживаемой, задушевной певучести и печали. После всякой главы жалко, что кончилась, а как бы хорошо еще!..

Большой мастер слова и писатель-биограф говорит о писателе, рассказывает о том, кого видел и полюбил. С «Дали времен» — воспоминания о крестьянских предках Чехова — до «Последнего путешествия» — похороны — всё пронизано светом вдумчивого, словно закатного, любования. И даль есть. Есть перспектива в глубь минувшего — всё это было...

В книге раз пять упомянуто и подчеркнуто слово «пронзительный», «пронзает». И есть что-то в прохладном, словно осеннем, тоне повести, нечто, действительно «пронзающее сердце навеки» (слова Достоевского), «В душе холода тонка», пронзающее красотой и грустью. Ведь всякое настоящее искусство и есть тоска по бессмертию в смертных обликах тварного мира.

Местами в книге зарисовки быстры и слова кратки, как в описании встречи Чехова с его «Рахилью», а врезаются, и с какой-то радостной болью думаешь о них, вспоминаешь. Порою язык книги приближается к стихотворению в прозе: «...Все шло медленно, но выходило и торжественнее. Солнце сияло, набегали потоки туч».

Борис Зайцев. Чехов. (Литературная биография. Изд-во им. А. П. Чехова, Нью-Йорк, 1954 г., стр. 260.

ки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зеленым блеснула, переливались колокола».

«Уходящая туча, капли с деревьев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа — это и был уход от нас Чехова»... Большого дыхания, длинная фраза (я ее не кончил, а вся хороша), а вместе с тем легкая по постройке; «Павлиньи узоры» радуги так расцветают и радуют «небесным в земном» (Жуковский).

Во всей книге мне чужда житийная тиховейность, она не выпирает: юмористика, мелочи, суета жизни отводится, а не замалчивается. Хороши замечания о «Степи», ее разбор, подчеркивание ю. Христофора; верно и метко: «Она («Степь») выпустила его в большую литературу». Верно и о «капле отравы, без которой редко живет художество. Это — печаль. Мир и жизнь — и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то уже одно то, что быстролетны, не ранить не может».

Письма Чехова использованы Зайцевым «скупно», а вместе с тем из них взято всегда самое существенное, яркое, вроде той фразы о кровохаркании в письме к Суворину: «В крови, текущей из рта, есть что-то злое, как в зареве». Чехов «был сдержан», «разнообразен и сложен». Нежен и замкнут. Прелестно и трогательно о весне: «В природе происходит нечто изумительное, трогательное... Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай».

Да, у Чехова сложная натура, «ум с сердцем не в ладу». Он печалится о себе, что не зовет никуда — «Нет общих идей». Он знает: плохо тому, «кто ничего не хочет, не надеется, не боится». Верю вместе с Зайцевым, что была и «тоска Чехова по

Божеству». Недаром же Чехов стал запечатывать письма старой, еще отцовской, печатью с надписью: «Одинокому везде пустыня». Действительно, русская интеллигенция конца 90-х годов была «мягкой, легкоплавной, возбудимой и чувствительной», и ей совсем по мерке и «Чайка», и «Дядя Ваня», и «Три сестры».

Все о Чеховском театре, как и о любви Чехова и трех значимых женщинах его жизни; дано ясновидяще и исторически правильно. Особенно меня пленила «перспектива» книги, голоса из прошлого — «Даль времен». Разве не чудесно замечание Зайцева, с легкой усмешкой прошлому, об охоте? — «Трудно похвалить их (Чехова и Левитана), однако, за охоту с гончими в мае. Это нигде не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уже в могиле»...

Все, что я сказал до сих пор, скажет всякий интеллигентный читатель-критик. Мне бы хотелось сказать кое-что и как историку литературы. Делаю я это потому, что и автор биографии не раз роняет интересные замечания, намеки и дает в конце книги прекрасные примечания (Чехов о Толстом, кто послужил прототипом для «Архиерея» и т. п.). Три вопроса возникли у меня при чтении: Если «вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил» (друзья), то было ли не писательское, а внутреннее устремление к Богу любви действительно так же сильно и растуще-развивавшееся, как и позитивизм? Не то же ли часто с Чеховым, что было и с Тургеневым («Стук», «Призраки», «Клара Милитч» и т. д.) и Мопассаном («Орля» и др.)? «Касания мил-

рам иным», но каким? И вот тут мне показалось странным исключение «Черного монаха» из той цепи «прозрений» в мир иной, о которой лишь с христианско-житийной стороны говорит автор монографии. «Архиерей» лучше написан, но (согласен) значительней, но и «Черный монах» вещь не совсем «чеховская», как и «Драма на охоте» — кое в чем особенное в Чехове. Чехов редко резонер, но ряд страниц «Моей жизни» и других его рассказов, сам стиль, думается, стоит под непосредственным влиянием Л. Толстого...

Второй вопрос касается юмора. Вещь ли юмор Чехова только эпизод, писания Антоши Чехонте? Не входит ли яд остроумия, смех и насмешка с улыбкой прощения и в зрелое творчество? Я думаю, что входит в преображенном виде и в ряд драм Чехова. И при мысли об анекдотах-рассказах я вспоминаю южно-русскую стихию. «Лошадина фамилия» уж очень близка к записи Кулиша («Хиба ж птах на верби не сидить»). Истоки юмора и его преображение в зрелые годы — вещь для историка литературы важная и занимательная.

И тут всплывает и третий вопрос — символика. У больших писателей многие имена героев, их прозвища не случайны, глубокозначущи. Есть и в связи с Чеховым юмористом, и с Чеховым позитивистом ряд имен многозвучных и символических. Прав ли я?

Здесь лучше всего ответил бы тот, кто с такой любовью, тактом и художническим чутьем рассказал нам жизнь и раскрыл сердце Чехова, — Б. К. Зайцев.

Р. Плетнев

Лесные глаза

«Здесь отдохну — на солнечном пороге
Чужой избушки, и пойду опять
Во мшистом сумраке лесной дороги
Мои прибы и песни собирать».

Дорога не короткая и не легкая. Привалы редкие, и то на порогах чужих домов. А что за отдых на чужом пороге?

Дорога эта — наша общая, эмигрантская. Мы тоже идем, охаем, сбиваем ноги в кровь. Но мы не умеем, как умеет замечательный поэт зарубежья Лидия Алексеева, смотреть по сторонам жадно-внимательны-

ми глазами. Всё примечать и прятать в кладовую памяти. Мы не умеем, как она, собирать по дороге песни, завязывать в платочек эти драгоценные находки и идти с ними дальше и дальше, все приумножая их, чтоб полны были ими руки и сердце. С такой покладшей и чужое становится нечужим, и все запертые двери отмыкаются, и все звери, и все вещи доверчиво приоткрывают наглухо закрытую скорлупу своей отъединенности.

И поэт, легко переступая за надоевший порог своего «я», радостно ощущает себя то лесной тлёт:

Лидия Алексеева. Лесное солнце.
Стихи. «Русская зарубежная поэзия», 3,
изд-во «Посев», 1954, стр. 64 + 2.

«И как она, в лесу я тоже дома,
И как она, одно с тобой, земля!»
то звенящим сверчком:

«Мне кажется — звено и я,
И я — сверчок сегодня...»

то швыряющейся шишкой белкой:

«И — по веткам, комочком,
вприпрыжку...»

И я быть этой белкой хочу...»

Да что — белкой! Даже неживые вещи показывают Алексеевой свое нутро, свою тайную молчащую сердцевину. Она умеет входить и в них, чувствовать за них:

«Там, где лодки на причале

Чуть поводят сонным дном...»

С таким даром, с такими глазами и по чужим перекупьям идти не тягостно. Там, где мы только скользнем равнодушным взглядом и ничего не увидим, — Лидия Алексеева смотрит, и под живой водой ее взгляда каждая прожилка на кленовом листе выделяется и выпукло оветится радостью бытия, каждая травинка от другой травинки разнствует. От этого взгляда не ускользнет, что выплеснувшаяся из ведер вода оставляет на пыли сельской улицы именно звездчатые следы, или что потревоженный муравейник «вскипает как бисер черный».

И не только свой любимый горный, лесной Тироль сумела она так увидеть. Так же безошибочно-верно увидела она и Нью-Йорк: «пыльный мороз» зимнего Нью-Йорка, «поземку черной копоти»; весь Нью-Йорк — его безрадостные дома, на-

искось «перечеркнутые» грязными пожарными лестницами, его бродяг, мертво спящих на скамейках скверов, и «одичалых котов» на дне дворов-колодцев.

С такой же резкостью зрения, — как будто даже безжалостной, но на самом деле подспудно несущей в себе и понимание, и жалость, и любовь, — увидела Алексеева и войну: срезанную бомбой стену дома, квадратный детский башмачок под грудой кирпичика.

С таким зрением и одиночество не страшна — а она есть, конечно, у Лидии Алексеевой: не все ведь поймут и поверят ей, что подберезовик в щелке — не просто подберезовик, а вставший на цыпочки лесной пном, или что когда из лесу слышится топот, то это может быть бегут козы, а может быть и горные духи. Вот она и стонит, дичится. Лучше подальше от людей: со зверями и деревьями куда веселее и проще. Это совсем не значит, что Лидия Алексеева людей не любит, или смотрит на них сверху вниз. Она так же проникающе-зорко видит и их. И потому жалеет:

«Кто-то вьет свой человеческий кокон,

Кто-то плачет, курит и поет...»

А если в нашем пути, в нашей цепочке карабкающихся по перевалам людей есть хоть один по-настоящему зрячий, хоть один такой зоркий, как Лидия Алексеева, то и нам, остальным, уже не так страшно ощутить двигаться вперед.

О. Анстэй

Время веры

Распад средневекового мировоззрения характеризовался явлением секуляризации — расцерковлением как индивидуальной, так и социальной жизни. Внецерковный гуманизм, реформация, век просвещения, позитивизм, Великая французская революция, индивидуализм и либерализм, марксизм и воинствующий фашизм — все это звенья единой цепи. Результатом этого процесса является тот кризис современности (в религиозном, культурном, социальном, политическом и экономическом аспектах), который ныне переживается человечеством.

Человечество мучается этим кризисом и ищет из него выхода. Преодоление же кризиса обрисовывается, в значительной мере, в плане возвращения к духовным первоисточникам христианства. Это позволяет

Еп. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). «Время веры». Изд. им. Чехова. Нью-Йорк 1954 г. 405 стр.

Н. А. Бердяеву говорить о грядущем «новом средневековьи» (разумеется, тут мыслился не механическое возвращение к старому, а его обновление и преображение).

Интересно положение того же Н. А. Бердяева, согласно которому если раньше «народ» был верующим, а интеллигенция атеистична, то в настоящее время намечается обратная тенденция — интеллигенция возвращается к религии, а народ от нее отходит.* Подтверждения первой части этого тезиса можно найти в биографии самого Бердяева и таких русских мыслителей, как С. Л. Франк, П. Б. Струве и пр. Другая же часть тезиса как будто опровергается настоящим положением в СССР, где мы наблюдаем стихийную народную религиозность, в которой ковенно и прямо вынуждена признаться безбожная власть.

Таким образом мы наблюдаем в настоящее время возврат к религии, хотя, быть

* Речь тут идет о России — В. А.

может, недостаточно решительный и радикальный.

Однако возрождение религиозного сознания наталкивается на известную трудность. Так, сознание современного российского человека мало восприимчиво к стандартам религиозного восприятия, укорененным в прошлом. Нашему времени мало свойственна наивность (в средневековье, например, ее было значительно больше). Вместе с тем нашему времени нехватает и религиозной культуры. Эти проблемы довольно ясно обрисовываются, в частности, в вопросах языка. И язык первохристианства, и язык святоотеческой литературы, и язык несколько казенного православия 19-го века мало приспособлен для интенсивного религиозного воздействия на душу современно-го человека.

Замысел книги, которой посвящена эта краткая аннотация, носит преимущественно проповеднический характер.

Эта нелегкая задача в значительной мере удачно разрешена Владыкой Иоанном.

✱

Первая часть книги озаглавлена «Беседы с русским народом» — в ней собрана значительная часть выступлений преосвященного Иоанна по радиостанции «Голос Америки», обращенных по ту сторону «железного занавеса». Это действительно беседы в смысле и непосредственности и непринужденности. В их языке есть моменты богословские (в частности, много цитат из Писания), научные, но преобладают человеческие — наиболее адекватные восприятию современного русского человека.

Темы бесед могут показаться случайными. Но в этой антисистематичности есть прелесть непосредственности. Есть в них и глубокая внутренняя связь — Христос, вера, любовь.

Гипноз «научности» (увы, подчас дурной) немало давит на современного человека. Поэтому в «Беседах» сильно звучит апологетическая нота («Случаен ли мир? Тайна творения»; «Смирение высокой науки»; «Истоки материализма» и др.).

В современной России очень остро переживается родина. Поэтому беседы обращаются к ее прошлому, к фигурам, близким современному россиянину — Кулзуову, к де-

кабристу Рылееву, к хирургу и педагогу Пирогову, и через их образы ведут к вере и к Христу.

✱

Следующая часть книги озаглавлена «Спутники дамасской дороги». Это по существу комментарии к Деяниям Апостолов. Большинство из этих заметок чрезвычайно кратки. Некоторые занимают лишь несколько строк. Но это не за счет их глупины.

Вечное всегда актуально. Это видно, например, из заметки о Сосфене. Сосфен — начальник синагоги, противник апостола Павла, которого побили его же единомышленники: «Бесы часто имеют власть бить своих слуг... Жалкие люди эти сосфены, не любящие добра и неудачники во зле. В сущности, все злые люди становятся похожими на Сосфена. Зло, творимое ими, находит их самих, рано или поздно». Обращаясь к недавнему прошлому, невольно вспоминается недоброй памяти цепь «злых и побитых» — Ягода, Ежов, Берия... Воистину зло саморазрушается.

✱

Третья часть — «Странствия» — описание путешествий автора (Скандинавия, Южная Америка, Корея), пожалуй, самая слабая часть книги. Несколько корбит смиренное, или больше — положительно, отношение к ассимиляции. Удивляет признание, что автор американец. Но и тут есть неплохие места: «Есть в Перу одно животное, лама, горный небольшой верблюд, почти козочка... Если трубу обратиться с ней и ударить ее, — слезы начинают катиться из ее прекрасных глаз, лама плачет, трудно сказать о ком: о себе или о человеке; если же ее еще раз ударить, она ложится и умирает... Мне так рассказывали в Перу».

Заключительная часть «Время веры» носит афористический характер. Это наброски размышлений. Некоторые из них удачны: «Защищая правду, не дай мне никогда, Господи, присваивать ее. Даруй защищать не как свою и не как отвлеченную правду, а как — Твою». Это следовало бы, в частности, помнить и нашим политикам.

В. Арсеньев

О книге Л. Аллена

Труд Фредерика Л. Аллена не похож на (Фредерик Люис Аллен. Большие перемены. В переводе Владимира Петрова. Издательство им. Чехова, 1954 г., 344 стр.

обычный учебник истории. Нет, автор рисует большие перемены, происходившие в результате приспособления капитализма к идеалам демократии. Книга даёт четкую

картину формирования сознания среднего американца под влиянием перемен экономической, социальной и политической сторон жизни.

Железный закон зарплаты времён «капиталистического капитализма» сменился автоматическим перераспределением дохода. Большая часть национального дохода была обращена на действительное улучшение положения людей с небольшими заработками. Притом рост покупательной способности последних пошёл всем на пользу: им самим, бизнесу и государству.

Правительство регулирует бизнес многими путями. Оно вмешивается в действия куда-то всемогущего экономического закона спроса и предложения. Правительство осознаёт, что главнейшие его обязанности — помогать субсидиями, гарантиями и др. средствами тем, кто находится в тяжёлом положении, и следить за тем, чтобы экономическая система в целом исключала бы возможность кризиса. Именно поэтому правительство держит в своих руках контроль над национальной экономикой в целом.

Чепраков *) определяет современный нам строй США как строй государственно-монополистического капитализма, при этом он ссылается на высший для коммунистов авторитет, на Ленина: «...государственно-монополистический капитализм есть пол-

*) См. статью в № 17 журнала «Коммунист» за 1953 г.

нейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» (Соч. Л. Т. 25, стр. 333).

Колоритное полотно Фредерика Л. Аллена изображает происшедшие за 50 лет большие перемены в США, полностью опровергающие пророчества Ленина: Америка не пошла и не идёт к социализму.

И прав автор, когда он пишет: «...когда московские ораторы поносят американский капитализм и нападают на Уолл-стрит, они сильно отстают от событий; можно сказать, что типичный коммунистический агитатор 1950 года звучит совершенно так, как если бы он откликнулся на сообщения в утренних газетах от 3 марта 1901 года».

Мы не намерены превозносить капитализм, мы видим и иные пути, однако мы не считаем себя вправе не заметить стремлений американского народа к снятию противоречий и улучшению народного благосостояния. Во всяком случае, американский путь — один из реальных путей к этому, советский же путь — путь преступных экспериментов, отмеченный на протяжении всего существования коммунистического режима придорожными пирамидами черепов, — путь народной нищеты и подавления человеческого духа.

М. Самойлов

Настоящие книги

Я не хочу сказать, что прочие книги Издательства им. Чехова «ненастоящие», но только — что сборник «На перевале», составленный Глебом Глинкой, и «Полное собрание сочинений» Н. Клюева под редакцией Б. Филиппова — чрезвычайно верная и ценная линия прекрасной деятельности Издательства.

Сборник «На перевале». И вводная статья, и краткие биографические справки, и заключение (всё это — работа составителя и редактора книги Г. Глинки), а главное — собранные в книге творческие страницы перевальцев — очень нужны и интересны. Чего стоит одна только пыльниковская «Повесть непогашенной луны»! Легко пред-

Глеб Глинка. На перевале. Изд-во им. Чехова. 1954.

Николай Клюев. Полное собрание сочинений. Т. I и II. Редакция Б. Филиппова. Изд-во им. Чехова. 1954.

ставить, какое это откровение — эти «запечатленные» страницы и имена, для читателей там. Но и иным читателям здесь сборник поможет освободиться от «обезлички» в отношении к советской литературе, которая ведь на раннем этапе отнюдь не была бездуховна и безрадостна и лишь в позднейшие годы — партийной опеки — постепенно умирала. Жаль, что имен и отрывков маловато. Но об этом пожалел наперед уже сам составитель.

Николай Клюев. Полное собрание сочинений. Тома I и II. «Полное» или «неполное», как об этом спорят теперь, — не так уж важно. Несомненно самое полное из всех существующих и пока возможных. Другие толки вокруг этих двух томов: нужно ли было издавать «всё» или только «избранное». Кто прав из спорящих на эту тему сторон? Обе правы. Потому что тот, кто настаивает на «избранном», имеет

в виду широкого одиночного потребителя, которому на что же «неизбранное» — грубое, либо революционное, либо даже кощунственное, — словом, чего он не хочет читать. Те же, кто за «полного» Клюева, имеют в виду не столько салонно-потребительскую, сколько научную ценность издания. В СССР Клюев «табу», его не переиздают и не изучают (открыто по крайней мере), так как же не приветствовать такой работы здесь!

Но обе стороны одинаково неправы, когда, толкуя о стихотворениях Клюева, забывают, что к ним, с позволения сказать, приложена интереснейшая, в 105 страниц работа Б. Филиппова — «Николай Клюев, материалы к биографии». Кроме того — «Библиография» большой полноты; затем «Примечания», т. е. 75 страниц петитом обстоятельнейших комментариев; и наконец — составленный О. Анстей «Словарь». Всё это — работа безусловно исследовательско-литературной ценности и

до того необъятная, что автор этого краткого отзыва, работающий сам медленно, просто в толк не возьмет, где нашел Б. Филиппов время и силы (про любовь к делу и эрудицию не говорю — это было всему предпослано) для такого труда. Словом: как бы ни судить об отборе стихов, — не заметить такой работы, не сказать автору спасибо — совестно.

Возражения? Они есть, конечно. Но не капитальные. Так, раздел «Что писали о поэтическом языке Клюева» (размером чуть побольше страницы) неожиданно для своего заголовка мал: писали, вероятно, больше. И еще — к Словарю: вряд ли надо было так полно цитировать Даля, который к слову дает обычно целый синонимический толковательный набор. Лучше было бы выбрать толкование наиболее подходящее и точное для данного клюевского употребления.

Л. Р.

О журнале «Возрождение»

Первое, бросающееся в глаза, — усовершенствование за последнее время отдела поэзии. Если раньше, среди большого количества стихотворений, только изредка попадались заслуживающие внимания вроде, напр., «Цветы на подоконнике» К. Петрова (т. 24) или «Это сердце» М. Колычева (т. 21), то теперь этот отдел перестал быть любительским. Наряду с неплохими стихотворениями Г. Касимовой и А. Дара встречаются прекрасные стихи В. Гальского и В. Смоленского. Гальской — настоящий поэт, обладающий и поэтическим мировосприятием, и умением в красивых, четких формах представить его читателю. Смоленскому иной раз попадает в «Кубок, поднесенный Богом» вместе с эдельвейсами «коровий навоз», но простим ему эту дурно пахнущую дань реализму за другие его произведения, из которых приведем хотя бы это, так прекрасно опозитизировавшее последний, смертный час:

Быть может скоро, на закате дня,
Иль на рассвете, на одно мгновенье,
Увижу я, что все вокруг меня
Нездешнее имеет выраженье...

Второе усовершенствование — расширение отдела беллетристики и литературной критики за счёт исторического материала,

Возрождение, литературно-политические тетради №№ 32-35

не лишнее для журнала, не имеющего специальных исторических заданий.

За невозможностью в кратком обзоре дать отчет о всех помещенных произведениях остановимся лишь на более заслуживающих внимания.

Во всех четырех отчетных тетрадях большое место занимает Ю. Мейер, автор талантливый и своеобразный. Кроме интересного отчета о книге Б. Зайцева «Чехов. Литературная биография», он дал три больших статьи: «Жалто в душе», «Достоевский и всероссийская катастрофа» и «Поруганное чудо».

В первой из них, трактующей, главным образом, о Тютчеве, Ю. Мейер выписывается сам как поэт, и это можно поставить ему в упрек, т. к. поэзия, как и всякое искусство, искусственна, т. е. распет лишь в чертах преобразженных, критик же должен быть связан до конца обсуждаемым материалом. Мейер опозитизировал Тютчева, приписав ему такое значение в русской поэзии, которого тол, несмотря на всю свою талантливость и на всю свою значительность, все-таки не имеет. Зависимость поэзии Тютчева от влияний Жуковского, Фета и Лермонтова, которой автор отводит много места, тема большая и спорная, о которой надо говорить особо. Нельзя также оставить без возражения и то, что в статье много и упорно говорится о богоборчестве

и демонизме Лермонтова. К демонизму Лермонтова правильнее подходить не с точки зрения рассудочно-философской, но с точки зрения житейско-извинительной, приняв во внимание, что все творчество Лермонтова целиком в той же мере молодое, в какой был молодым и он сам. Его демонизм не что иное, как юношеский избыток сил, когда кажется, что ничто не может противостоять ему, когда замахиваешься на все без исключения, даже на самое несокрушимое. Ошибочно считать демонизм основой лермонтовского творчества после того, как мы находим у него такие строки:

«О Боге великом он пел и хвала
Его непритворна была».

И еще:

«Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе.
И участь я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога».

И именно эти скупые, но исполненные классической красоты строки говорят неотразимо о самых глубоких глубинах лермонтовского творчества, столь далеких от юношеского показного богоборчества и демонизма.

Так же, как Тютчева, Ю. Мейер противопоставил Достоевского, «Художника мышления». Только поэтической фантазией можно объяснить рискованное сопоставление Достоевского с Пушкиным в трактовке ими обоими бунта, подмены подлинной свободы личным или коллективным своеволием, самообожествления. Идеальный, общественный и политический интервал между Пушкиным и Достоевским чрезвычайно велик. Нельзя представить себе, чтобы Пушкина посетила идея «если нет Бога, то я бог», занимавшая такое большое место в творчестве Достоевского.

Во всем, что касается непосредственно темы катастрофы, нами переживаемой, и пророческих предвидений Достоевского, автор стоит на высоте задачи...

Все статьи Ю. Мейера читаются с неослабевающим интересом. Подкупает также его прекрасная начитанность.

Несколько статей дала А. Тыркова-Вильямс. Наиболее удачная — «Тени минувшего». В «Парижских встречах» времен пред-революционных она вспоминает А. Гольд-

штейн, старую эмигрантку, и Максимилиана Волошина, веселого чудака в те годы. Яркое повествование о ярких фигурах!

В тетр. 34 Ю. Трубецкой кончает свое повествование о «Нищем Принце» панорамой Петербурга, Москвы и Киева первых революционных годов. Вся эта вереница таких знакомых лиц и вечеров, когда собирались вместе «внутренние эмигранты», тревожит нашу, подлинных эмигрантов, застарелую боль. Что поделаешь! Мы сами не хотим забыть ее и рассказ о ней — новое напоминание об этом до сих пор еще живом в нашей памяти потонувшем мире.

Петр Иванов, «Законоучитель Имп. Александра II и митр. Филарет» (тетр. 35). Статья посвящена обрисовке личности о. Гerasима Павского, законоучителя, и борьбы против него митр. Филарета. В ней умело подобран исторический материал, обрисовывающий эти две выдающихся личности, одну из которых знали все и другую, о. Павского, всегда остававшегося и навсегда остававшегося в тени, несмотря на свои огромные заслуги. Лишний раз эта статья показывает, в какой мере современники лишены способности правильно оценивать своих выдающихся людей.

Раневский в статье «О Чехове» (тетр. 35) рассказывает о личной жизни писателя, начиная с его раннего детства. Две хорошие статьи (тетр. 33) посвящены — одна адм. Макарову К. Соловским, другая, Е. Яконовским — художнику Георгию Пожедаеву.

Отдел «Дела и люди» под новой редакцией стал полнокровнее и злободневнее. Маленькая заметка о Чехове в этом отделе подала повод к частной полемике. В № 700 «Русской Мысли» * П. Ковалевский ошел Чехова оскорбленным его и выступил «В защиту Чехова», а в № 702 той же газеты Е. Яконовский, приводя подлинные тексты заметки, указал на несправедливость выставленных этой статье обвинений. Разбор этого спора по существу завел бы нас слишком далеко. Нельзя не указать лишь на то, что в деле литературных оценок не должно существовать табу ни для каких тем, ни для каких имен и что каждый имеет законное право, не боясь никаких окриков, во всеуслышанье выразить свои мнения.

Н. Майер

Отзывы читателей

Начнем с писем, возражающих против некоторых читательских суждений, помещенных в № 21-ом «Грани». Таких писем не много. «Совершенно не согласен с отзывом о книгах Алексеева, особенно первой», — пишет читатель С. из Калифорнии. Читатель К. П., живущий в Германии, весьма энергично протестует против низкой оценки, данной читателем Ф. Антологией русской поэзии, составленной Ю. П. Иваском. «Общезвестно, — пишет он, — что отбор в антологиях всегда индивидуален и, следовательно, не может угодить на каждый вкус. Однако, чем собственно попрешил составитель против норм объективно хорошего вкуса? Разве только тем, что был несколько либерален, дав место в Антологии и иным «не сильным» мастерам? Но таких мало, и неужели не вполне понятна и оправдана эта деликатная либеральность в условиях эмиграции? Заслуживает ли она столь резкого «ярлыка», так готовно помещенного редакцией?»*)

*

По полученным письмам трудно установить, какая из книжных новинок встретила особенно теплый читательский прием (как это отмечалось, например, в прошлом номере по поводу воспоминаний А. Л. Толстой). Книгой же, вызвавшей наибольшее количество непримиренных читательских откликов, оказывается на этот раз роман Ирины Одоевцевой «Оставь надежду навсегда». «Как можно хвалить эту книгу? — восклицает читательница Н. Б. из Германии. — Зачем хватается человек за то, чего не знает? Эти прищипки писателю не дано преступать. Начала читать — и бросила. Терпеть не могу фальши!» «Нет ничего удивительного в том, что И. Одоевцева состреляла это бульварное чтиво — род литературного салата из 30-пенниговых детективных романов, стенограмм крачекенковского процесса и подражаний Кестлеру, — пишет другой читатель, из Мюнхена, — каждый автор выбирает жанр по плечу своим возможностям. — Удивительно, как Издательство имени Чехова принимает к печати халтуру! Разве отбор правдивых отображений современной России не входит в

его задачу? Но о какой же правдивости может идти речь в издании Одоевцевой? В какой мере подлинные несчастья нашей родины, подлинные трагедии её замечательных писателей и людей искусства отвечают лубочным выдумкам о Лутановых и «хрупких балеринах»? И какой всё-таки цинизм избрать «сырьем» для бульварно-литературного сюсюканья тему, в которой не смыслишь, тему о самой несчастной в мире стране, и предлагать этот свой творческий *Missgebur* читателям, для многих из которых тема эта еще вся в слезах, еще — вчерашний, нет, даже сегодняшний, их день!

*

Высокую оценку даёт читатель и сотрудник «Грани» Лев Дувинг книге Б. Н. Олышанского «Мы приходим с Востока». «Следующая канве событий, умный, наблюдательный и культурный автор показывает людей войны, маленьких, хороших и дурных, русских людей. Война! Кажется, мы успели её забыть. Почти все раны залечены, почти все слёзы высохли. Уже идут новые малые войны, уже ожидается новая большая война. Но прочтите внимательно глазами книгу Олышанского — и страшный лик отпремевшей войны встанет вновь перед вами во всей своей жестокости. О себе автор говорит очень мало, он почти холоден, бесстрастен в описаниях. Но сквозит видимость бесстрастия сквозит взволнованность пережитым, боль за родную страну и людей и — надежда на воскресение родины. Очень хочется рекомендовать эту книгу землякам в изгнании. Думаю, что потребуются второе издание, в котором автор исправит некоторые стилистические недочеты (например, излишнее и утомляющее применение кавычек для отдельных слов и предложений и неудобоваримость таких выражений, как например, «расовый автоматизм», «потенциальная критичность» и т. п.).

Читатель Т. пишет о книге Джона Гюнтера «По Соединенным Штатам»: «При чтении этой хорошей книги действительно ощущаешь Америку. Иногда и личная поездка не сможет дать такого яркого представления об особенностях отдельных штатов, их быте, политической и общественной жизни, — как эта книга. Читал с удовольствием и друзьям советовал».

Тот же читатель высказывается и о книге Конрада Рихтера «Дебри»: «Написано это очень правдиво. Особенно мне было приятно читать книгу потому, что она свободна от трескучей пропаганды «дикого Запада»

*) Редакция напоминает К. П., что, открывая отдел читательских отзывов, предупреждала уже о своей «нейтральности»; не будучи солидарна с тем или иным отзывом, она, тем не менее, не находит возможным подвергать их цензуре — исправлять, «припудривать» или комментировать, — это лишило бы значения весь начин. Ред.

голливудскими кинофильмами. Именно так, в лишениях и самоутверждении человека, должна была проходить американская колонизация Запада»...

Более подробно по поводу книг об США говорит следующее письмо нашего нью-йоркского читателя К.:

«История США слишком (на наш тысячелетний масштаб) коротка и поэтому, в общих чертах, известна нам еще со школьной скамьи. Но теперь, когда основной поток эмиграции взял направление на США и русская речь звучит под сенью небоскребов и фарм, мы видим Америку изнутри, исследуем её на месте. Литература о ней совершенно необходима и — на нашем языке, так как для многих из нас английский остается и до сих пор неразгаданной клинописью. Мы доверялись романтическому реализму незабвенного Кожаного Чулка, а позже, с той же доверчивостью, влюблялись в Генри Форда Первого. Куперовская и фордовская Америки — две разных Америки. Виллим же мы и ощущаем — третью, и в ней находим много загадочного.

Находить загадочное — это значит: чего-то не находить, а это «что-то» оказывается нужным. Между тем, ответы на наши вопросы к США и разгадки кажущихся загадок великая страна имеет в готовом виде, но на своём языке, не на русском. Чеховское издательство попыталось помочь нам.

Всех «американских» книг Чеховского издательства прочесть не удалось, но вот ряд уже знакомых книг: **Адамс — Американская эпопея, Бок — Как Эдуард Бок стал американцем, Крейн — Алый шеврон мужества, Пейдж — Утро свободы, Пупин — От эмигранта к изобретателю, Катэр — Моя Антония.** Две из этих книг как бы соприкасаются: Бока и Пупина, — обе автобиографии рассказывают об иммигрантах, ставших на ноги, начав с ничего. Поэтому не шесть, а пять секторов интеллектуального интереса удовлетворяют (или не удовлетворяют) эти прочитанные нами книги.

Книга Адамса — исторический обзор, написанный человеком, у которого есть что сказать. Автор то обращается к читателю от имени США, то обращается к США от имени пристрастного в благородном смысле слова, т. е. доброжелательного, но прямолинейного исследователя. Такой прием сближает автора с нами, жаждущими свободы и объективности, — может быть, даже теснее сближает, чем с прирожденными американцами, на которых автор рассчитывал. Прекрасная книга.

Столь же «доходчиво» была бы и кни-

га Пейджка, если бы не чувствовалась некоторая тенденциозность, нескрываемая печалью о неосуществленных ультра-демократических исканиях Джеферсона. Ценность книги в том, что в ней художественно развернут один из самых критических конфликтов истории США.

Книга Бока написана живо, по определенному плану, и тоже кажется рассчитанной именно на иммиграцию последних пяти-шести лет: американские возможности, персональные требования к иммигранту, что в США хорошо и что пока еще плоховато. Такой оценки (положительной) никак нельзя дать книге Пупина: в ней, просто говоря, ничего нет. Даже изобретателя читатель не находит в этой книге, в заглавии которой так странно противопоставляются понятия: иммигрант и изобретатель. Запоминается только юноша-здоровяк, а все последующее как-то разветвляется.

«Алый шеврон мужества» — Крейна когда-то произвел впечатление на американских читателей-современников, но это обстоятельство не убеждает нас в ценности книги. Трус становится героем — эта тема разработана схематично, но главное — ни разу никто из действующих лиц не смутится мыслью: так ли уж священна война, да еще междоусобная? О книге Катэр — «Моя Антония» тоже сказать нечего.

Таким образом, не все книги «американского разряда» Чеховских изданий равноценны, не все удовлетворяют нас, к Америке придиричьих и Америку интуитивно приемлющих, к ней всею душой прислонившихся. Счастливы (молодежь, конечно), знающие английский язык, слава Богу, читают не детективные или сексуальные романы, а серьезные книги. Читают пылливо. От них-то и узнаешь о замечательных книгах, — о замечательных вообще и очень нужных нам. В «устном изложении» книги эти только дразнят. Назову некоторые:

Robert A. Taft — A foreign policy for americans.
Gen. Heinz Guderian — Panzer leader.
A. Veale — Advance to barbarism.
Erich v. Kuhnert — Lidlhn — Liberty or Equality.
Gen. Dwight D. Eisenhower — Crusade in Europe.
Kelley and Ryan — MacArthur: Man of action.

Само собой разумеется, что эти книги — случайные, но как характерно: именно они привлекли внимание, именно о них говорят!.. Кроме того, мы имели бы возможность узнать, что привлекает внимание американского читателя, а это — лучший случай познания США.

В заключение — о переводах. Никакой литературной правки нет. Образцы:... «ма-

хая рубашкой»... «оказавшись спиной к полю сражения, страх его еще усилился»... (Флевицкий). ... «мы скажем ей написать ему письмо»... «опрадать от нападков»... (Конский). У этого же переводчика неженатый Флитвуд имеет шурина!

✱

«Дань прошлому», — пишет читатель Т. о книге М. Вишняка, — спокойное, без вычур и тенденций автобиографическое повествование, почти величественной значительности; в этом смысле книга — богатая дань также и настоящему. Говорить о ней нужно или очень много, или ограничиться вот таким краткостовным признанием, что я и делаю. Но трудно умолчать о предпосланных редакцией страницах. О их языке. Образцы: ... «книга, — которая покрывает почти всю жизнь М. В. в России». Или: «В событиях 1917 г. Вишняк вложился полностью». Что это, по-русски? Есть ли в редакции Чеховского издательства редакторы?»

✱

Читательница из Франкфурта на Майне пишет о последнем романе М. Алданова «Живи, как хочешь»: «Мои личные впечатления настолько резко разошлись с мнениями иных моих знакомых, что я решила написать вам. — Меня книга совершенно покорила своей хрустально-прозрачной мудростью человека, прошедшего сквозь жизненные бури к светлой и тихой пристани. В этой книге столько пастельной прелести, естественности, нет даже самых незначительных эффектов, она течет тихой, полной и прозрачной рекой... Очень приятно было встретиться со старичком Дюмлером, которого прекрасно помню мальчишкой в «Истоках». Обрадовалась ему, как хорошему знакомому. Обе пьесы, особенно первая, очаровательны... И как смело автор вплетает их в сюжет... Эту книгу полюбила и хочу об этом заявить всем, кто думает иначе... Автор вправе его гордиться так же, как и остальными своими произведениями...»

Та же читательница — о последней книге А. Ремизова: «Все ближе становится Алексей Ремизов, гоголя в руки мне его новая книга «Огонь вещей». Застряла на снах: ну и ну! не смогла оторваться от сопоставлений — удивительных и глубоких — снов Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского... Прекрасный анализ: никогда не предполагала такой переключки...»

В заключение — еще одно обзорное заокеанское письмо читателя П., озаглавленное «О литературе, скуке и прочем».

«Не много людей читают нашу эмигрантскую литературу. И это совершенно понят-

но. Безнадёжно скучно читать эти в большинстве случаев никому ненужные романы, повести, псевдороманы и псевдоповести. У парижкан — провинциальные потуги подражать прустодройсам, у новых эмигрантов — отсутствие провинциализма даже: просто «на родине и я был сенбернаром». Разумеется, и старики-эмигранты не отстают: если не был академиком по разряду изящной словесности, то только, мол, по злобе, из-за зависти и интриг... Таков общий тон. И на этом фоне не все различают, что кое-что все-таки есть, кое-что шевелится, живое, хочет вырваться на свежий воздух из затхлой атмосферы иных журналов и старого реквизита царовокошайского или монпарнаасского эстетизма.

Прежде всего — мемуары и документальная проза. Здесь почти все интересно и многое хорошо. Интересна и объемистая книга Юрия Елагина «Укрощение искусств», и «Путешествие в страну зе-ка» талантливой Юлии Марголина, и плохо названные, но хорошо написанные воспоминания Льва Васильева «Пути советского империализма». В первой книге, обличающей недоожинный талант новеллиста у музыканта-скрипача, Юрий Елагин должен был бы кое-что проверить, кое-что подчистить. Но ряд эпизодов привлекают внимание читателя большим умением рассказа, занимательностью — свойством, почти утраченным в русской литературе и немецкого характера. Превосходны воспоминания Юлии Марголина: человечность, большая внутренняя сопереживаемость повествования, живописность языка, полное отсутствие претензий, хорошая и достойная простота. Эти же достоинства присущи воспоминаниям Васильева. Как запоминается образ Сталина, со слезами на глазах лобызавшего молодого персидского шаха — в темечко! Хороши картинки советского студенческого быта, чистка студенчества, туркестанские зарисовки заставляют искренне сожалеть о скупости автора воспоминаний: чувствуется, что он мог бы и больше рассказать. Хорошая книга. И чувствуется, что это не воспоминания «с чужих слов», не перечень всем известных имен и событий, не сборище анекдотов и не мюнхгаузенщина, а подлинно увиденное, пережитое лично.

Интересны и симпатичны воспоминания Владимира Зензинова («Пережитое»), были бы интересны, но тягуче скучны по изложению воспоминания Виктора Чернова. Многословие всегда было пороком покойного лидера наших эсеров. Тусклы «Тюрьмы и ссылки» Иванова-Разумника. Но всякие мемуары интересны уже тем, что это

— человеческий документ. И некоторая тусклость Иванова-Разумника, и водолейность Чернова в этом смысле даже хороши: первый — характерный представитель той народнической промогласно-пустотелой критики, которая заполняла страницы «Заветов», «Скифов», «Русского Богатства»; второй — заставляет невольно вспомнить советскую злую карикатуру: матрос Железняк тащит председательствовавшего в Учредительном Собрании Чернова за шиворот, а Чернов так и не может остановиться: говорит, говорит, продолжает изливаться в речах... Может быть, так и надо, чтобы мемуары отображали не только события, но и характер описывающего их, его пошиб, его характерный тон. Но совсем неловко поступило Издательство имени Чехова с блестящими по форме, остроумными и содержательными «Петербургскими зимами» Георгия Иванова. Отрезать концы нескольких глав, а вместо этого прибавить маханически к книге, в качестве заключительных глав, статью о Блоке и вступительную статью к книге стихов Есенина, — зачем это делать? Ведь каждая книга — живое, органическое целое, нельзя же отрезать у нее пальцы рук и пришивать к ней чужие ноги...

С большим интересом читаются «Путь русского офицера» Деникина, воспоминания сестры о кн. С. Н. Трубецком, воспоминания дочери (Вок) о Столыпине. Все книги нужные, ценные. А вот и полный курбес — книжка К. Криптона — «Осада Ленинграда». Зачем издательство выпустило такое в свет? Язык... Описать его нельзя. Можно только продемонстрировать: «Поборник советского правительства после женитбы и приобретения детей, а зачастую и до женитбы, мог очень легко охладиться в своих политических симпатиях, по вине самой советской системы, для которой человеческая личность только объект социально-политического эксперимента» (стр. 58). И это — еще не самое выдающееся безграмотностью языка место...

Соревнуются с Криптоном — и не без успеха — чудовищные «романы» Василия Алексеева: «Невидимая Россия» и «Россия солдатская». Рассматривать их в качестве художественной прозы не может, конечно, никто. Это — явление сугубо внелитературное. Но и само содержание этих мюнхгаузениад достаточно говорит за себя. Рокабольистская сеть подпольных кружков, руководимых часто православному духовенством, какие-то кочевые князьки, ожидающие от невразумительного героя-рассказчика только кивка головы, чтобы вести

своих потомков. Чингиз-хана на кремль... Бррр! Не выдумашь такого... «Россия солдатская» чуточку скромнее по части фантазии...

Превосходны беллетризованные мемуары Романа Гуля «Конь рыжий». Вот название, конечно, ни к чему. Конь рыжий и не стукнул копытом об эту хорошо написанную автобиографическую не то повесть, не то семейную хронику — с привнесением в нее элементов «музыки дней». Но апокалиптический конь — это из другого департамента.

Одна из интереснейших книг — «Встречи с Лениным» Валентинова. Не только Ленин, обрисованный талантливо и метко, но и другие вожди и герои РСДРП — Плеханов, например, — выглядят такими умственно плотоядными, такими отвратительными, что диву даешься, как могли подобные люди буквально гипнотизировать своих последователей. Скучен, безнадежно скучен только растянутый конец этой интересной и надобной книги: ну, на кой чорт так пространно критиковать так называемую «философию» Ленина! Для людей, хотя отчасти знакомых с философией, совершенно ясно и без критики невежество Ленина-философа. А для просто читателя — очень нудно.

Сносны книги К. Петруса «Узники коммунизма» и П. Пирогова «За курс!», очень талантлива и интересна книга воспоминаний А. В. Тырковой-Вильямс «На путях к свободе». Ценными являются воспоминания Бурышкина «Москва купеческая». Небезынтересны воспоминания Дон Аминадо и — совсем из другой оперы — «Мы приходим с Востока» Бориса Ольшанского. Но досадно безвкусие в последней книге! Интересный материал кстати и нехотати уснащен «катаклизмами», чужими стихами типа «жесточких» романсов (Симоновы и К°), фотографиями с невозможными подтекстовками: «последний взгляд на дом, в котором жил автор», «автор на могиле первой жены» и т. д. А жаль: Ольшанскому есть о чем сказать...

Хочется закончить весь этот перечень тем, что бесспорно: можно любить, можно почти ненавидеть Ремизова. Но нельзя не сказать: вот самый крупный прозаик нашего русского зарубежья. Вот это — настоящий, ядреный, гибкий, меткий русский язык! «В розовом блеске», как часто у Алексея Михайловича Ремизова, — документальная проза. Почти семейная хрони-

ка. Но нет дела ни до чего мне — как это ни называй, а шалку сними. Вот это язык!

А роман, видимо, умиляет: всех, кто поумнее и покрупнее, тянет на мемуары, на документальную прозу. Вот и читатель тоже: первым делом тянется, получив жур-

нал, не к беллетристике, а к воспоминаниям.

Ну, записался! Простите. В следующем письме — о беллетристике, о стихах, о наших толстых журналах...»

Н. Тарасова

«Г р а н и». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли.

Июль - сентябрь 1954 года.

Редакционная коллегия: Л. Ржевский (главный редактор), Е. Романов, Н. Тарасова (секретарь редакции).

К печати принимаются только произведения, ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в переписку не вступает. Желающие получить рукописи обратно должны указать свой адрес. Перепечатка без разрешения издательства воспрещается.

Адрес редакции: Verlag „Possev“. Frankfurt/Main, Merianstraße 24 a.

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Башилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — Суриков, как художник-историк; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

(РАСПРОДАН)

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, В. Тополев, А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Питирим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. В.-в. — Древнерусская икона; — Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 3

(РАСПРОДАН)

В номере:

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Гагарин — Белые ночи; Н. Табурин — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, В. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); В. Филиппов — Чудодей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

№ 4

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Зава-

лишин, В. Тополев, В. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаева — Музыкальная жизнь Америки. В Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

Цена 3 марки

заграницей — 0,75 доллара

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршен и О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Предвоенная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Шугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; библиография; В. Стремлев — «Размышления о ювелирах». ювелирах».

Цена 3 марки

заграницей — 0,75 доллара

№ 6-7

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

Цена 8 марок

заграницей — 2,50 доллара

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршен — Стихи: Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина. В. Мерцалов — Сталин.

Цена 3 марки

заграницей — 1.00 доллар

№ 9 *

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Филиппов — Монастырь; Святое Паозерье; А. Шишкова — Стихи: Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

Цена 3 марки

заграницей — 1.00 доллар

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; Б. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

Цена 3 марки

за границей — 1.00 доллар

На складе издательства есть небольшое количество старых (4 - 10) номеров.

Цена отдельного номера: 3 марки (за границей 1 доллар с пересылкой).

Цена номера 6-7 — 8 марок (за границей 2.50 дол.)

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Непринятая жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — И Т К; Жак Сорель — Запад и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927-1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 12

В номере:

С. Юрасов — «Враг народа»; О. Ильинский — Стихи; Г. Андреев — Л. Ржевский — Награда; Н. Моршен — Стихи; В. Филиппов — О многом; А. Шишкова — Стихи; Н. Верберова — Владислав Ходасевич; А. Трушнович — Берлин — окно в Россию; Э. Ройтер — Речь на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы»; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 13

В номере:

Л. Ржевский — Между двух звезд (роман); Н. Соколов — Пути-дороги (роман); Г. Андреев — При взятии Берлина (рассказ); Стихи эмигрантского рассеяния; В. Мартов — Угасшие звезды (роман); В. Вышеславцев — Вольность Пушкина; В. Марков — Творческий облик А. Жида; Н. Рутыч — Декабристы; Н. Тарасова — Поединок генералиссимусов; Л. Осипова — Стахановский миф; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 14

В номере:

Е. Гагарин — Возвращение корнета; В. Свен — Певчая пещка; О Анстей, А. Лисицкая — Стихи; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Марков — Творческий облик Андре Жида; С. Левицкий — Достоевский и кризис гуманизма; М. Валмашев — М. Н. Ермолова, великая русская актриса; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 15

В номере:

А. Ремизов — Стекольщик; А. Неймирок — В поисках; Б. Филиппов — Два рассказа; Л. Алексеева — Стихи; А. Кашин — Желтая Волга; О. Ильинский — Стихи; В. Свен — Канал пяти морей; О. Емельянова — По следам тоголевского юбилея; В. Вейдле — Старость Шекспира; Документы нашего времени: Годы армии 1945-49; Р. Редлих — Актив — социальная опора советской власти; Н. Д. Добровольская-Завадская — Явления жизни в научном освещении. Библиография.

Цена 4 марки

За границей — 1,25 доллара

№ 16

В номере:

Н. А. Тэффи — Анюта. Русь; Л. Ржевский — У Тэффи; В. Ширяев — Овечья лужа; А. Неймирок, О. Можайская, А. Шишкова — Стихи; Г. Андреев — После концлагеря; В. Мерцалов — По Голландии; Г. Алексинский — Воспоминания о Н. А. Тэффи. Критика — Публицистика — Наука: Л. Р-ский — Когда Илья Эренбург молился; Н. Донец — Проблемы истины и ее решение Лениным; С. Левицкий — Безумие рационализма; Н. Рутыч — Казань. Библиография.

Цена 4 марки

За границей — 1,25 доллара

№ 17

В номере:

Л. Алексеева — Весенний цикл; И. Сургучев — Кающийся бес; Н. Тарасова — У границы; А. Кашин — Ожидание; В. Свен — Припшвинское; С. Орлов — Из лирического блокнота (стихи); Н. Соколов — Пути-дороги; В. Свен, А. Искандер — Охотничьи рассказы; Н. Кошеватый — Встречи с А. Бельм; А. Трушнович — Кембридж; В. Самарин — Фронт в тылу; Н. Арсеньев — Русские просторы и народная душа; Р. Редлих — Работники большевистского аппарата; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

За границей — 1,25 доллара

№ 18

В номере:

И. Бунин — Сны; В. Филиппов — Счастье; Г. Андреев — Будет хорошо; Г. Петров — Ленинградский Петербург; Ф. Барков — Строители Петербурга; А. Касим, А. Лисицкая — Стихи; В. Гроссман — За правое дело (главы из романа); Н. Анатольева — В неравном бою; В. Самарин — Фронт в тылу (из опыта минувшей войны); В. Ильин — Сергей Прокофьев. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 19

В номере:

А. Кашин — Мои знакомые. Повесть первая. Мишка и другие; А. Дар, Олег Ильинский, Александр Неймирок, Екатерина Таубер, Игорь Чиннов — Стихи; В. Свен — Каламбай; Алексей Ремизов — Статуетка; Ирина Сабурова — Вара; Документальная проза: Лев Дувинг — Великая скорбь; Критика и публицистика: Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Гр. Забежинский — Н. Г. Чернышевский и его «эстетика»; С. Левицкий — Об одной забытой полемике; В. Марков — Человек в джунглях; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 20

В номере:

Л. Ржевский — Памяти И. А. Бунина; И. Сургучев — «За чахохбили» (сцена из пьесы «Вождь»); А. Кашин — Мои знакомые. Повесть вторая. Чоротово колесо; Л. Алексеева — Маленькие рассказы: Тедди из Стокгольма. Экватор. Падение Семена Семеновича. Как мы были артистами. Золотые туфельки; К. Гершельман — Стихи; Б. Ширяев — Горка Голгофа; В. Самарин — Город контрастов — Нью-Йорк; Ф. Барков — Художник Ф. Я. Алексеев, родоначальник русского городского пейзажа (1753-1953); Алексей Ремизов — «Потихоньку, скоморохи, играйте»; Н. А. Горчаков — Евреинов; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Д. Кленовский — Окультистские мотивы в русской поэзии нашего века; Н. Арсеньев — О духовной традиции и о «разрывах» в истории культуры; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 21

В номере:

Л. Ржевский — Сентиментальная повесть; Д. Кленовский — Два стихотворения; Анатолий Дар — Солнце все же светит; О. Анстей, Борис Нарциссов — Стихи; В. Свен — Селигер; В. Унковский, Т. Алексинская — О Куприне; В. Самарин — За спинами героев; Л. Осипова — Дневник коллаборантки; Борис Филиппов — Глухие времена стenanья; Гр. Забежинский — Критическое о критиках. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

Находится в печати № 23

№ 22

В номере:

Георгий Петров — Её не будет больше никогда; Л. Алексеева — Мой осколок; Н. Неймирок — Товарищ баронесса; А. Кашин — За жизнюю жизнь!; А. Ремизов — Три сказки; В. Свен — Серка; И. Сургучев — Письмо Периколы; Б. Филиппов — Стена; А. Лисицкая — Сонеты; Анатолий Дар — Солнце всё же светит; А. П. ЧЕХОВ. Этторе Ло Гатто — Чехов в Италии; Николай Татищев — А. П. Чехов и французы; К. Фитц-лайон — Чехов в английской литературе; Грета Йельм — Чехов-драматург в Швеции; Виллиам Йенсен — «Вишнёвый сад» в Дании; А. Н. — Чехов у сербов; Глеб Струве — Чехов, Мейерхольд и фальсификаторы; В. Марков — О Хлебникове; С. Левицкий — С. Л. Франк и его учение; Е. Двойченко-Маркова — Пулково и американские астрономы; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

Г. АНДРЕЕВ

Горькие воды

Очерки и рассказы

«Горькие воды»... Подзаголовок: «На стыке двух эпох»... Известный зарубежный очеркист Г. Андреев этим как бы подчеркивает символичность своей книги. Да, это стык двух эпох не только исторических, но и психологических... Автор, отбыв заключение в концентрационном лагере, возвращается к народу. Прошлое — позади... Автор в спокойно-правдивом повествовании показывает свою жизнь, раскрывая в ней жизнь народа в преддверии Второй мировой войны, приведшей к прощанию с Москвой...

Стр. 326

Цена 13 дм.

С заказами обращаться по адресу издательства «Посев»

Verlag „P o s s e v“ - Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

или к представителям во всех главнейших странах мира.

Выходит из печати книга

А. Д. БИЛИМОВИЧ

КООПЕРАЦИЯ В РОССИИ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИКОВ

Книга проф. А. Д. Билимовича является ценным пособием для лиц, занимающихся экономическими проблемами. В книге пять частей:

1. Кооперация до революции 1917 г.; 2. Кооперация при Временном правительстве; 3. Кооперация и большевики; 4. Международный кооперативный союз и советская кооперация; 5. Кооперация в после-большевистской России.

Verlag „P o s s e v“ - Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

С заказами обращаться в издательство «Посев»:

Цена 4 марки